

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ДОСТОЕВСКИЙ

—

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

6



ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Ленинградское отделение
1985

О Т РЕДАКТОРА

Шестой том «Достоевский. Материалы и исследования» состоит из трех отделов: «Тексты Достоевского», «Статьи» и «Сообщения и заметки».

Ссылки на произведения Достоевского даются по изданиям: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1972—1984. Т. 1—27 (при цитатах указываются арабскими цифрами и том, и страницы); Достоевский Ф. М. Полн. собр. художественных произведений. М.; Л., т. 13. Статьи. 1930 (при цитатах указываются римскими цифрами том, арабскими — страницы). Письма цитируются по изданию: Достоевский Ф. М. Письма. М.; Л., 1928—1959. Т. 1—4 (при цитатах: П., том — римская цифра, страница — арабская).

Редакционно-техническая подготовка рукописи настоящего тома осуществлена Г. В. Степановой.

Редактор 6-го тома

Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Рецензенты: Т. П. Голованова, Г. В. Степанова

ДОСТОЕВСКИЙ

МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Вып. 6

Утверждена к печати

Институтом русской литературы (Пушкинский Дом)

АН СССР

Редактор издательства *Е. А. Смирнова*, Технический редактор *Ф. А. Юлиш*

Корректоры *Н. Г. Каценко*, *И. А. Корзинина* и *А. Х. Салтанова*

ИБ № 21110

Сдано в набор 01.07.85. Подписано к печати 27.11.85. М-18477. Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 19. Усл. кр.-от. 20. Уч.-изд. л. 22,48. Тираж 8000 (1-й завод 1—1000 экз.). Тип. вак. 610.

Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука». Ленинградское отделение, 199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.

Д 4603010101-759
042 (02)-85 -343-86-1.

© Издательство «Наука», 1985 г.



РУКОЮ ДОСТОЕВСКОГО (Публикация Т. И. Орнатской)

Ниже печатаются дошедшие до нас инскрипты Достоевского. Их число невелико: 21 надпись на книгах и 14 — на фотографиях. Разумеется, это лишь незначительная часть существовавших изначально инскриптов. У них оказалась судьба, общая с судьбой маргиналий писателя, утраченных почти полностью.¹

Об отдельных инскриптах сохранились сведения (так, известно, что надписанный экземпляр «Униженных и оскорбленных» получил в 1861—1862 гг. литератор В. Я. Смирнов (см.: *Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского*. М.; Л., 1935, с. 107); что надписанный экземпляр «Идиота» был у корректора «Гражданина» В. В. Тимофеевой (О. Починковской); что с 1873 г. почти все выходявшие в свет издания писатель дарил метранпажу М. А. Александрову (см.: *Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников*. М., 1964, т. 2, с. 172, 224, 251, 252); что в 1877 г. московский корреспондент писателя Юрий Вишпер получил от него испрашиваемую в письме книгу «Записки из Мертвого дома» с «дорогой» для него «надписью» (ГБЛ, ф. 93, II.2.37); что цензор Н. А. Ратынский в 1880 г. получил от писателя экземпляр «Братьев Карамазовых» с «автографической надписью» (ГБЛ, ф. 93.III.8.16); что такой же экземпляр получил издатель «Русской мысли» В. М. Лавров (ГБЛ, ф. 93.II.6.1)); некоторые пропали, очевидно, безвозвратно, некоторые могут еще отыскаться.

Данная публикация является первой попыткой собрать вместе все сохранившиеся инскрипты (они в свое время публиковались или воспроизводились в изданиях: *Описание рукописей Ф. М. Достоевского*. М., 1957; *Литературное наследство*, 1971, т. 83; 1973, т. 86; в журналах, газетах и сборниках).

Почти все надписи посвящены близким Достоевскому лицам и, может быть, именно потому предельно просты и лаконичны. Правда, зачастую простота эта лишь кажущаяся. В этом смысле

¹ Сохранился лишь экземпляр Евангелия, подаренного Достоевскому в Сибири женами ссыльных декабристов (ГБЛ, ф. 93.I.5.v.1; см.: 9, 396).

очень убедителен случай, рассказанный В. В. Тимофеевой, получившей в подарок от писателя роман «Идиот». «Не помню в точности, — пишет мемуаристка, — что именно он мне тогда написал <...> но помню, что надпись эта неприятно поразила меня своею шаблонностью. От такого человека, как Достоевский, невольно ждалось всегда чего-то особенного, необыкновенного, не похожего на других <...> я вместе с благодарностью откровенно высказала ему мои впечатления от его подарка.

— Но что же вам показалось неприятно и оскорбительно? — с напускным изумлением спросил он <...>

— А то, что вы написали мне „фразу“. А вы ведь никогда не говорите и не пишете фраз. За что вы можете *меня* „глубоко уважать“? Вы меня вовсе не знаете. Написали бы просто: „В. Т. — Достоевский“, — я бы осталась больше довольна.

Федор Михайлович молча смотрел на меня — точно впервые заметил, что я сижу перед ним.

Во-от гордость-то! Не ожидал! — проговорил он с улыбкой скорее одобрения, чем порицания, и начал доказывать, почему это вовсе не фраза.

— Вы женщина-труженица, вы живете, ни от кого не завися, на свой собственный труд, — как же я могу вас не уважать, и даже именно „глубоко уважать“...²

За каждым инскриптом, как правило, стоит не только близкий или симпатичный писателю человек, но и какой-то факт биографии самого Достоевского: встреча с данным лицом, напоминание о себе, благодарность за что-то, указание на существовавшие или существующие отношения и т. д. и т. п. Правда, в последние годы жизни Достоевского с ростом его популярности количество инскриптов увеличилось — и лишь тогда среди них появились надписи «по случаю», но, тем не менее, и они характерны: среди получавших такие автографы преобладали студенты и курсистки, благодарные слушатели — посетители многочисленных литературных чтений и вечеров.

1. Дарственные надписи на книгах

В. Ф. Одоевскому

Его сиятельству

Князю Владимиру Федоровичу Одоевскому,

в знак глубочайшего уважения

от автора.

Надпись на шмуцтитule книги: Бедные люди. Роман Федора Достоевского. С.-Петербург, в типографии Эдуарда Праца, 1847. (ГБЛ, Отдел редких книг).

² Тимофеева В. В. (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем. — В кн.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964, т. 2, с. 172—173.

Князь Владимир Федорович Одоевский (1803—1869), с 1846 г. директор Публичной библиотеки и Румянцевского музея, был одним из восторженных почитателей «Бедных людей» (открывающихся, кстати, эпиграфом из его рассказа «Живой мертвец»). Знакомство Достоевского с ним относится к 1840-м гг. (II, II, 486). Продолжалось оно в 1860-х гг. (см. запись адреса Одоевского, сделанную в 1863—1864 гг., — с. 17).

С. Д. Яновскому

Степану Дмитриевичу

Яновскому

от автора.

Надпись на титульном листе книги: Сочинения Ф. М. Достоевского. Изд. Н. Основского. Москва, в типографии Лазаревского института восточных языков, 1860, т. 1. (ЦГАЛИ, Библиотека).

С врачом С. Д. Яновским (1817—1897) Достоевский познакомился в 1842 г., а с 1846 г. стал его пациентом. В 1859 г. Яновский, по его собственным словам, первым «из близких <...> знакомых посетил писателя в Твери» (Нов. время, 1881, 24 февр., № 1793).

С. Д. Яновскому

Яновскому от автора.

Надпись на титульном листе книги: Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом Ф. М. Достоевского. Исправленное издание. СПб., типография Э. Праца, 1861. Т. 1—2. (Частное собрание Ю. М. Вальтера. Москва).

А. И. Герцену

Александрю Ивановичу Герцену в знак глубочайшего уважения

от автора.

Надпись на книге: «Записки из Мертвого дома», переплетенной из оттисков журнала «Время» (Библиотека Женевского университета).

Вероятно, Достоевскому стало известно как высокое мнение Герцена о книге, так и то, что он хочет ее иметь (см. об этом в письмах Герцена к Тургеневу от 19 (7) и 21 (9) мая 1862 г.: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1963, т. 27, кн. 1, с. 221, 222). Книга могла быть подарена Герцену лично, во время встречи писателей в 1863 г., и скорее всего во время второго их свидания в Генуе 14 ноября — об обеде в этот день в семье Герцена Достоевский вспоминал в черновом отрывке, набросанном по поводу самоубийства дочери Герцена (23, 324).

А. Г. Сниткиной

Ане от меня в память о том, как мы

вместе сочиняли и до чего досочинялись.

Надпись на титульном листе, вырезанном из одного из томов издания: Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений. Новое,

дополненное издание. Издание и собственность Ф. Стелловского. СПб., 1866. (ГБЛ).

О работе Достоевского с его будущей женой А. Г. Сниткиной в 1866—1867 гг. см.: *Достоевская А. Г. Воспоминания*. М., 1971, с. 48—67.

В. С. Соловьеву

Всеволоду Сергеевичу

Соловьеву

в знак памяти

от автора.

Надпись на титульном листе книги: Идиот. Роман в четырех частях Федора Достоевского. СПб., 1874, т. 1, ч. 1 и 2. (ГПБ).

Достоевский познакомился с писателем В. С. Соловьевым (1849—1903) в начале января 1873 г. (см. об этом в его «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском»: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 2, с. 187—209). Книга же была ему подарена, вероятно, после посещения им Достоевского на гауптвахте в марте 1874 г. (см.: там же, с. 190—201).

А. Г. Достоевской

От автора.

Подпись на части титульного листа, вырезанного из книги: Дневник писателя за 1876 г. (Гос. Лит. музей).

Подпись является частью дарственной надписи, утраченной вместе с книгой. По свидетельству А. И. Крамского, «при посылке вдовой сочинений ее мужа И. Н. Крамскому, написавшему портрет великого писателя, изображенного покойником, лежащим на смертном одре (1881 г.), вдова отрезала верх страницы, где была надпись Ф. М. Достоевского о том, что он подарил эту книгу жене» (запись эта находится на листке с публикуемым автографом).

А. Ф. Кони

Анатолию Федоровичу

Кони

в знак глубочайшего уважения

От автора.

Надпись на обложке книги: Дневник писателя за 1876 г. СПб., 1877. (ИРЛИ, Библиотека).

Знакомство Достоевского с А. Ф. Кони (1844—1927) произошло в 1873 г. в связи с судом над писателем за статью кн. В. П. Мещерского «Киргизские депутаты в С.-Петербурге», напечатанную в № 5 «Гражданина» от 29 января 1873 г. (см.: *Достоевская А. Г. Воспоминания*, с. 253). В дальнейшем это знакомство переросло в тесные дружеские отношения. В 1870-х гг. при содействии Кони, бывшего в это время председателем петербургского суда присяжных, Достоевский получил возможность присутствовать на нескольких судебных процессах, а в 1875 г. познакомиться

с жизнью колонии для малолетних преступников. В период работы над главами с изображением следствия и суда над Митей («Братья Карамазовы») он пользовался указаниями Кони (см.: 15, 458).

Я. П. Полонскому

Якову Петровичу
Полонскому
дорогому поэту
от автора.

Надпись на первой странице книги: Дневник писателя за 1876 г. С.-Петербург, 1877. (ИРЛИ, Библиотека).

Знакомство Достоевского с поэтом Я. П. Полонским (1819—1898) состоялось в 1859 г. и сразу же перешло в дружеские отношения; в 1861—1864 гг. Полонский печатает свои стихи и поэмы во «Времени» и «Эпохе»; в 1870-х гг. они продолжают встречаться в доме Е. А. Штакеншнейдер. В 1876 г. Полонский восторженно отозвался о «Дневнике писателя» за 1876 г. (П., I, 356).

А. М. Достоевскому

Любимому и Многоуважаемому брату
Андрею Михайловичу на память
от автора.

Надпись на титульном листе книги: Ф. М. Достоевский. Под-росток. Роман. С.-Петербург. Издание книгопродавца Платона Евгеньевича Кехрибарджи, 1876, ч. 1. (Гос. Лит. музей).

Книга была подарена младшему брату писателя А. М. Достоевскому (1825—1897) 10 марта 1876 г. и 11 марта отправлена ему А. Г. Достоевской вместе с ее письмом (см.: Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 446—447).

И. И. Румянцеву

Дорогому другу
Отцу Иоанну
от автора.

Надпись на титульном листе книги: Ф. М. Достоевский. Под-росток. Роман. С.-Петербург. Издание книгопродавца Платона Евгеньевича Кехрибарджи, 1876, ч. 1. (Ленинградский Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского).

Со священником И. И. Румянцевым Достоевский познакомился летом 1872 г. в Старой Руссе. В его доме Достоевские жили летом этого года; здесь же шла работа над романом «Бесы». В 1875 г. Румянцев помог писателю в хлопотах по получению заграничного паспорта. «Батюшка Румянцев есть мой давний и истинный друг...», — писал Достоевский К. П. Победоносцеву 25 июля 1880 г. (П., IV, 187; подробнее см. в кн.: Рейнус Л. М. Достоевский в Старой Руссе. Л., 1969, с. 18—20).

А. Г. Достоевской (?)

От автора.

Подпись на вырезанной части титульного листа книги: Дневник писателя за 1877 г. С.-Петербург, 1878. (Гос. Лит. музей).

Возможно, эта подпись стояла под дарственной надписью писателя А. Г. Достоевской, подарившей позднее этот листок какому-то лицу (ср. с автографом, подаренным ею И. Н. Крамскому, — с. 6).

А. А. Достоевскому

Любезному племяннику

Александру Андреевичу

от любящего его дяди.

Надпись на титульном листе книги: Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом Ф. М. Достоевского. Пятое издание. С.-Петербург, 1879. (Гос. Лит. музей).

А. А. Достоевский (1857—1894), сын А. М. Достоевского, впоследствии доктор медицины, приват-доцент по кафедре гистологии и эмбриологии в петербургской Военно-медицинской академии, сообщил родителям 13 декабря 1879 г.: «Сейчас только вернулся от Федора Михайловича <...> Между прочим, он подарил мне новое издание книги „Униженные и оскорбленные“» (Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 492).

О. А. Новиковой

Многоуважаемой Ольге Алексеевне

от преданнейшего ей автора.

Надпись на титульном листе книги: Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом Ф. М. Достоевского. Издание исправленное. Пб., Издание А. Базунова, Э. Праца и Я. Вейденштрауха, 1867, т. 1. (Частное собрание В. Г. Лидина. Москва).

Знакомство Достоевского с О. А. Новиковой (1840—1925) состоялось, по-видимому, не ранее 1878 г. (22 июня 1878 г. ее имя впервые упоминается в письме Достоевского к жене) и продолжалось до смерти Достоевского. О. А. Новикова, дочь хозяйки московского литературного салона А. В. Киреевой и жена генерала И. П. Новикова, была близка к славянофильским кругам. Она является автором нескольких книг и статей, посвященных вопросу об англо-русских отношениях (значительную часть жизни она провела в Англии).

Книга была подарена ей скорее всего в 1879 г., к которому относятся и переписка Достоевского с Новиковой, и их встречи (см.: Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 473).

И. И. Румянцеву

Дорогому человеку

Ивану Ивановичу

Румянцеву

от автора.

Надпись на экземпляре издания: Дневник писателя. Ежемесячное издание. Единственный выпуск на 1880 г. Август (Ленин-

градский Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского).

О И. И. Румянцеве см. выше, с. 7.

Ю. Ф. Абаза

Глубокоуважаемой

Юлии Федоровне Абаза на память

от автора.

Надпись на книге: Братья Карамазовы. СПб., 1881, т. 1, ч. I и 2. (Частное собрание М. А. Сапарова. Ленинград).

С певицей и композитором Ю. Ф. Абаза, женой министра финансов А. А. Абазы, Достоевский познакомился, вероятно, в 1880 г. в салоне вдовы А. К. Толстого С. А. Толстой и потом неоднократно встречался с ней (см. ее письмо к Достоевскому — ГБЛ, ф. 93.11.1.4).

И. С. Аксакову

Глубокоуважаемому

Ивану Сергеевичу

Аксакову

на память

от автора.

Надпись на шмуцтитule книги: Братья Карамазовы. СПб., 1881, т. 1. (Музей-квартира Ф. М. Достоевского. Москва).

С И. С. Аксаковым (1823—1886) Достоевский познакомился в 1862 г., но особенно сблизился в 70—80-х гг. (об отношении Аксакова к роману «Братья Карамазовы» см.: 15, 499).

А. М. Достоевскому

Дорогому и глубокоуважаемому брату

Андрею Михайловичу

на память

от автора.

Надпись на шмуцтитule книги: Братья Карамазовы. СПб., 1881, т. 1. (Музей-квартира Ф. М. Достоевского. Москва).

Об А. М. Достоевском см. также на с. 7.

В. В. Самойлову

Великому художнику

Василию Васильевичу

Самойлову

в знак глубочайшего уважения

и на добрую память

от автора.

Надпись на шмуцтитуле книги: Братья Карамазовы. СПб., 1881, т. 1. (ИРЛИ, Библиотека).

Книга была подарена знаменитому артисту Александринского театра В. В. Самойлову (1813—1887) после его письма Достоевскому от 15 декабря 1879 г. В нем артист, обращаясь к «величайшему психологу», просил его написать для театра «драму, равную по достоинству его романам» (ГБЛ, ф. 93.П.8.75).

Вскоре после этого, 30 декабря, Достоевский и Самойлов встретились на Литературном утре в пользу студентов, где Самойлов читал «Мальчика у Христа на елке», а Достоевский — главу «Великий инквизитор» из «Братьев Карамазовых» (см.: Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 493). По указанию А. Г. Достоевской, знакомство писателя с Самойловым относится к 1875 г. (см.: *Достоевская А. Г.* Библиографический указатель... Пб., 1906, с. 264).

С. П. Хитрово

Глубокоуважаемой

Софье Петровне

Хитрово

на память

от автора.

Надпись на шмуцтитуле книги: Братья Карамазовы. СПб., 1881, т. 1. (ИРЛИ, Библиотека).

С С. П. Хитрово, племянницей вдовы А. К. Толстого С. А. Толстой, Достоевский познакомился в 1879—1880 гг. в салоне Толстой (по словам А. Г. Достоевской, ее муж «любил посещать графиню С. А. Толстую еще и потому, что ее окружала очень милая семья: ее племянница, Софья Петровна Хитрово, необыкновенно приветливая молодая женщина и трое ее детей...»). — *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971, с. 356). Писатель посещал и салон самой Хитрово и бывал с детьми у нее в гостях (подробнее см.: Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 295, 530).

А. Н. Энгельгардт

Глубокоуважаемой

Анне Николаевне Энгельгардт

на память

от автора.

Надпись на шмуцтитуле книги: Братья Карамазовы. СПб., 1881, т. 1. (Научная библиотека Ленинградского гос. университета).

Анна Николаевна Энгельгардт (урожд. Макарова; 1835—1903), переводчица и журналистка, автор неопубликованного критического очерка о Достоевском (1882 г. — ЦГАЛИ, ф. 572, оп. 1, ед. хр. 212), жена профессора химии Петербургского университета А. Н. Энгельгардта. По свидетельству Е. А. Штакенштейндер, Достоевский познакомился с ней в 70-х гг., и установившиеся дружеские отношения не прерывались до смерти писателя: (подробнее см.: *Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. М., 1979, с. 467—468*).

2. Дарственные надписи на фотографиях

Е. Н. Голеновской

Кате, милой моей крестнице и племяннице

От дяди Феди.

Надпись на оборотной стороне фотографической карточки Ф. М. Достоевского. Фотография Н. Досса. Петербург. 1876. (ИРЛИ, Музей).

Екатерина Николаевна Голеновская (в замужестве Трушлевич; 1860—1915), дочь сестры писателя А. М. Голеновской.

С. И. Сазоновой

Софье Ивановне

Сазоновой

от Ф. М. Достоевского

на память.

Надпись на оборотной стороне фотографической карточки Ф. М. Достоевского. Фотография Н. Досса. 1876. (ИРЛИ, Музей).

С писательницей С. И. Сазоновой (урожд. Смирновой; 1852—1921), женой актера Александринского театра Н. Ф. Сазонова, Достоевский познакомился в начале 1870-х гг. Он был доброжелательным читателем ее первых литературных сочинений (подробнее см.: *Мостовская Н. Н. Достоевский в дневниках С. И. Смирновой (Сазоновой). — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1979, т. 4, с. 271—278*).

В. С. Соловьеву

Дорогому

Всеволоду Сергеевичу

от Ф. Достоевского.

Надпись на оборотной стороне фотографической карточки Ф. М. Достоевского. Фотография Н. Досса. 1876. (ЦГИА. Ленинград).

О В. С. Соловьеве см. выше, с. 6.

В. К. Абазе

Многоуважаемому

Василию Константиновичу

Абазе

на память

от Ф. М. Достоевского.

18 февраля/78.

*Надпись на оборотной стороне фотографической карточки
Ф. М. Достоевского. Фотография Н. Досса. 1876. (ИРЛИ, Музей).*

С В. К. Абазой, братом военного писателя и педагога К. К. Абазы, Достоевский был мало знаком (сохранилось одно его письмо к Абазе от 3 февраля 1876 г. — П., III, 203).

М. М. Достоевскому

Дорогому и милейшему племяннику.

Михаилу Михайловичу

от дяди.

*Надпись на оборотной стороне фотографической карточки
Ф. М. Достоевского. (Музей-квартира Ф. М. Достоевского. Москва).*

М. М. Достоевский (1846—1896), второй сын М. М. Достоевского, с 1869 г. служил в банке, с 1875 г. — в Обществе взаимного кредита. В 1870 г. Достоевский, узнав о его свадьбе, писал П. А. Исаеву: «... мне Миша дорог. (Напиши, чем живет? Какие средства?)» — письмо от 10—22 января. — (П., II, 245). А в письме к А. Г. Достоевской от 23 июля 1873 г. писатель сокрушается о бедствующем племяннике (П., II, 67). В последующие годы Достоевский часто давал ему различного рода поручения и поддерживал материально.

С. В. Карчевской

Г-же Карчевской на память

от Ф. М. Достоевского.

*Надпись на оборотной стороне фотографической карточки
Ф. М. Достоевского. Фотография К. Шапиро. 1879. (Мемориальный музей-квартира И. П. Павлова при Институте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР. Ленинград).*

Серафима (Сарра) Васильевна Карчевская (в замужестве Павлова, 1859—1947), с 1877 г. слушательница Высших женских курсов в Петербурге. Присутствовала на одном из литературно-музыкальных чтений 1879—1880 гг. В эти годы Достоевский часто выступал с чтением отрывков из своих произведений; не раз он читал также пушкинского «Пророка». Неоднократно участвовал он и в вечерах для слушательниц Высших женских курсов (см.: *Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 319—367*).

После одного из таких чтений несколько курсисток, и в их числе Карчевская, поехали к Достоевскому домой, чтобы поблагодарить его за участие в вечере. Достоевский подарил им свои фотографии с дарственными

надписями (см. об этом: Павлова С. В. Из воспоминаний. — Новый мир, 1946, № 3, с. 116—117; Подробнее о С. В. Карчевской см.: Чернова Н. Подарок Достоевского. — Лит. Россия, 1979 г., 15 июня, с. 20. Однако предложенная в публикации дата литературного вечера — конец декабря 1879 г. — начало января 1880 г. неверна, так как участвовавший в вечере И. С. Тургенев в этот период в Россию не приезжал. Предположение И. С. Зильберштейна о том, что в воспоминаниях А. А. фон Бретцель и С. В. Карчевской речь идет об одном и том же вечере — 21 марта 1880 г. — сомнительно: по словам первой, Достоевский читал «эпизод из своего романа „Подросток“», а вторая свидетельствует, что писатель прочел пушкинского «Пророка» (см. Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 315—321). Очевидно, речь идет о разных вечерах.

В. К. Савостьянову

Владимиру Константиновичу

Савостьянову

от любящего его

Ф. Достоевского.

Надпись на лицевой стороне фотографической карточки Ф. М. Достоевского. Фотография К. Шапиро. Петербург. 1879. (Музей-квартира Ф. М. Достоевского. Москва).

Фотография была подарена мужу племянницы писателя Варвары Андреевны В. К. Савостьянову (1853—1899). В. А. Савостьянова пишет об этом в своих воспоминаниях: «Еще помню, как я была у него с мужем, которого он очень полюбил, обласкал, подарил свою фотографическую карточку, сам же ее подписал, и это тем более было трогательно, что с чужими он был и недобезен, и недюдим. Раз он был муж его племянницы, этого было достаточно, чтобы он полюбил его» (*Савостьянова В. Достоевский в кругу родных.* — Сов. культура, 1980, 26 сент., № 78).

С. Д. Яновскому

Яновскому от Ф. М. Достоевского.

Надпись на фотографической карточке Ф. М. Достоевского. Фотография К. Шапиро. Петербург. 1879. (Частное собрание Ю. М. Вальтера. Москва).

О С. Д. Яновском см. выше, с. 5.

Я. Б. Бретцелю

Глубокоуважаемому Якову Богдановичу

от Ф. М. Достоевского.

Надпись на фотографической карточке Ф. М. Достоевского. Фотография К. Шапиро. Петербург. 1880 (Местонахождение неизвестно).

Петербургский врач Я. Б. Бретцель (1842—1918), специалист по внутренним и инфекционным болезням, а также известный педиатр, с 1873 г. был домашним врачом в семье Достоевских; опубликованы его воспоминания о писателе (Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 309—314).

Б. В. Штакеншнейдеру
Боре Штакеншнейдеру
от Ф. М. Достоевского.
4 мая/80

Надпись на фотографической карточке Ф. М. Достоевского.
Фотография Н. Досса. 1876. (Музей-квартира Ф. М. Достоевского. Москва).

Фотография была подарена писателем сыну В. А. Штакеншнейдера, вероятно, в одно из посещений дома Штакеншнейдеров (см. с. 25).

А. Г. Достоевской
Моей доброй Ане
от меня
Ф. Достоевский.
14 июня/80 г.

Надпись на фотографической карточке Ф. М. Достоевского.
Фотография Н. Досса. 1876. (Местонахождение неизвестно).

Я. Ф. Сахару
16 декабря/80 г.
Якову Фаддеевичу
Сахар
на память
от Ф. М. Достоевского.

Надпись на фотографической карточке Ф. М. Достоевского.
Фотография Шапиро. 1879. (Местонахождение неизвестно).

14 декабря 1880 г. Достоевский выступал на благотворительном вечере в пользу студентов Петербургского университета. 16 декабря двое студентов юридического факультета — Я. Ф. Сахар (1858—1911), впоследствии известный петербургский нотариус, и Е. С. Федоров (см. ниже) — были у писателя дома и получили в дар фотографии. Подробнее о Сахаре и собранной им коллекции фотографий см.: *Зильберштейн И. С.* Новонайденные и забытые письма Достоевского. — Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 144—146.

Е. С. Федорову
16 декабря/80 год. Евстафию Савельевичу
Федорову
на память
от Ф. М. Достоевского.

Надпись на фотографической карточке Ф. М. Достоевского.
Фотография Шапиро. 1879. (Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Ленинград).

Е. С. Федоров-Чмыхов (род. 1861), студент, а впоследствии литератор (печатался под псевдонимами Фита, Нета, Тэта и Джек и др.), 16 декабря 1880 г. был у Достоевского вместе с Я. Ф. Сахаром.

Е. А. Цертелевой
Княгине Елисавете Андреевне
Цертелевой

на память
от Ф. М. Достоевского
в знак глубочайшего¹ уважения.

Надпись на фотографической карточке Ф. М. Достоевского.
Фотография К. Шапиро. 1880. (ЦГАЛИ).

С Е. А. Цертелевой (урожд. Лавровской, 1845—1919), известной певицей, женой кн. Д. Н. Цертелева, Достоевский познакомился в 1880 г., и между ними установились дружеские отношения. Сохранилась записка Цертелевой, в которой она благодарит писателя за подаренную фотографию (Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 542).

¹ В настоящее время это слово на фотографии полностью повреждено.

3. Записи адресов
(из записных книжек и тетрадей)

Настоящая публикация является первым сводом адресов, содержащихся на страницах сохранившихся записных книжек и тетрадей Достоевского 1860—1881 гг. и среди других его бумаг: 1860—1862 гг. — ГБЛ, ф. 93.1.2.6; 1863—1864 гг. — ГБЛ, ф. 93.1.2.7; 1864 г. — ИРЛИ, ф. 100, № 29651; 1864—1865 гг. <1> — ГБЛ, ф. 93.1.2.8; <2> — ЦГАЛИ, ф. 212.1.3; 1866 г. <1> — ЦГАЛИ, ф. 212.1.5; <2> — ИРЛИ, ф. 100, № 29491; 1867 г. — ИРЛИ, ф. 100, № 29516; 1871—1872 гг. — ГБЛ, ф. 93.1.1.5; 1872—1873 гг. — ЦГАЛИ, ф. 212.1.9; 1872—1875 гг. — ЦГАЛИ, ф. 212.1.11; 1875—1876 гг. — ЦГАЛИ, ф. 212.1.15; 1875—1877 гг. — ЦГАЛИ, ф. 212.1.16; 1876 г. — ИРЛИ, ф. 100, № 29708; 1878 г. — ГБЛ, ф. 93.11.7.93; на конверте письма К. П. Победоносца Достоевскому от 30 ноября 1878 г.; 1874—1881 гг. — ЦГАЛИ, ф. 212.1.16; 1880—1881 гг. — ЦГАЛИ, ф. 212.1.17.

Адреса печатались (выборочно) в изд.: Описание рукописей Ф. М. Достоевского. М., 1957, с. 286—291; Лит. наследство, 1971, т. 83 в составе записных книжек и тетрадей.

За этим сводом адресов скрываются многие факты биографии писателя, начиная с возвращения его в Петербург после ссылки и кончая посещением гр. А. А. Толстой за три дня до смерти. Здесь просматриваются и факты первых встреч с бывшими петрашевцами и постоянной работы в качестве редактора журналов «Время», «Эпоха», «Гражданин», и активной деятельности писателя как члена Литературного фонда, а позднее — Славянского благотворительного общества. Очень характерна запись одного адреса периода подготовки «Дневника писателя» за 1877 г.: «Студентка Долганова <...> (NB, просит работы, на руках маленький брат и сестра)» — с. 27. Известно большое количество писем к писателю, в которых содержались разного рода просьбы, и известно, с какой готовностью откликался на них Достоевский. Вероятно, и в этом случае он или побывал у неизвестной студентки, или написал ей письмо — во всяком случае, обязательно помочь ей — как он это обычно делал. Список адресов дает также возможность уточнить даты некоторых писем Достоевского (см., например, запись адреса Н. Будаевского, позволяющую как точно датировать известное письмо

Достоевского «Корректору» — П., IV, 271, так и установить фамилию этого безымянного «корректора»), расширить список его несохранившихся писем, а также позволит учесть ряд биографических моментов при составлении Летописи жизни и творчества писателя.

⟨1860—1862⟩

Дебу. Дом Полуектова у Пустого рынка.

Адрес одного из своих давних знакомых, братьев-петрашевцев Дебу — Константина Матвеевича (1810—1868) или Ипполита Матвеевича (1828—1890) — Достоевский записал в связи с предстоящим посещением его (см. в этой же записной книжке: «Быть: у Дебу...» — 27, 91).

Около Владимирской церкви. Дмитровск⟨ий⟩ (Поварской) переулочек, дом Скобельцына, № 9, Лев Алек⟨сандрович⟩ Мей.

Поэт и драматург Л. А. Мей (1822—1862), знакомый Достоевского с конца 1840-х гг., в 1860—1862 гг. один из постоянных посетителей кружка М. М. и Ф. М. Достоевских; в 1861 г. помещал в журнале «Время» свои стихи: в № 2 — «Спишь ты и не слышишь...» (с. 356); в № 3 — «Время» (с. 191); № 5 — «Над гробом» (с. 60).

Серпухов⟨ской⟩ переулочек, № 8, квартира № 7 с. 1 об.⟩.

На Гагаринской улице у Пустого рынка в доме Полуектова, квартира № 10. Дебу.

Николай Львович Тиблен, на Васильевск⟨ом⟩ острове в 8-й линии № 25 с. 2⟩.

Ближайший знакомый Достоевского петербургский издатель Н. Л. Тиблен был в это время так же, как и Достоевский, членом Комитета Литературного фонда. 3 октября 1861 г. он послал писателю записку с приложением Заявления членов комитета по расширению прав Комитета Литературного фонда в деле обеспечения студентов и «всей пишущей и ученой братии» в тот момент, «когда половина литературы и университета сидит в крепости» (Рус. лит., 1975, № 3, с. 161—162). Там же он сообщал свой адрес, который Достоевский и перенес в записную книжку, отправив по нему ответную (несохранившуюся) записку Тиблену.

У Кокушкина моста дом Пестринова, № квартиры 7, № дома 16 с. 2 об.⟩.

На углу Фонарного; дом Зиберта, Смирнов с. 12⟩.

С литератором В. Я. Смирновым Достоевский был знаком по Литературному фонду; вероятно, по делам фонда он и собирался побывать у него (27, 91).

Кварт⟨ира⟩ 27, дом. 24. Раусен с. 23⟩.

Предложенное составителем «Описания рукописей Ф. М. Достоевского» прочтение «Разин (?)» неприемлемо. Никаких сведений о личности Раусена отыскать не удалось (ниже подобные случаи не оговариваются).

В Загибенином переулочке Григорьев с. 50⟩.

А. А. Григорьев (1822—1864) был ведущим критиком «Времени»: так, уже 24 декабря 1860 г. он получил в редакции журнала аванс в 20 руб., а с февраля по июнь 1862 г. поместил в нем 10 статей (см.: *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». М., 1972, с. 56—67).

Харьковской губернии по Чугуевскому тракту, на станцию Теплинку, Надежде Степановне Соханской (Кохановской) ⟨с. 3⟩.

Достоевский собирался пригласить писательницу Н. С. Соханскую (псевд. Кохановская, 1825—1884) участвовать в журнале «Время» (20, 359).

В Москве на Живодерке дом Глаголевой, Алексею Андреяновичу Головачеву ⟨с. 4⟩.

Общественный деятель и публицист А. А. Головачев (1819—1903) принимал деятельное участие в журнале «Эпоха» и переписывался с писателем (см.: 20, 345—346).

Близь Таврического сада, в улице NN,¹ пересекающей Сергиевскую,² дом Бажанова и его канцелярия ⟨с. 5⟩.

В связи с чем записан адрес дома главного священника двора и гвардии В. Б. Бажанова (1800—1883), неясно.

¹ *Вместо:* в улице NN — было начато: на углу Сергиевской

² *Далее было:* где

Литейная, Захарьевская улица, дом Попова № 7 (дома) П. Ф. Фермор ⟨с. 13⟩.

С военным инженером Павлом Федоровичем Фермором (подробнее о нем см.: Лит. наследство, 1946, т. 49—50, с. 211—212) Достоевский неоднократно встречался (см., например, в записной книжке 1860—1862 гг.: «Быть: ... у Фермора» — 27, 91).

Rue Faussé S. Victor, 39, chez m-me Stuard.*

Адрес этого дома записан во время заграничного путешествия летом 1863 г. Возможно, что здесь жила в это время А. П. Сулова (1839—1918), ожидавшая Достоевского в Париже.

* Улица Faussé S. Victor, 39, у г-жи Стюар (*франц.*).

На углу Ковенского переулка и Лиговки дом Селезнева, № 33 — квартира № 7, спросить г. Будаевского ⟨с. 20 обр. номер.⟩.

28 августа 1864 г. Достоевский получил письмо от корректора «Эпохи» Н. Будаевского, в котором содержалась просьба доплатить к 30 руб. еще 10 руб. за чтение корректур на основании того, что другие корректоры журнала получают за «каждую книжку» по 40 руб. Письмо заканчивалось просьбой: «Дорожа временем и боясь не вовремя прийти в редакцию, я посылаю при сем конверт с моим адресом и почтовой маркой...» (ИРЛИ, ф. 100, № 29652). Первоначально Достоевский собирался ответить Будаевскому письмом, потому и записал его адрес в книжку. Сохранились два черновика и записка некоему «корректору» (по определению А. С. Долинина, — см.: П., IV, 271—272). Они и адресовались Будаевскому.

У Егорья на Всполье.

На Зубовском бульваре дом кн. Волконского, Одоевский ⟨с. 30 обр. номер.⟩.

Запись московского адреса кн. В. Ф. Одоевского (о нем см. с. 55)

У Поцелуева моста дом Воронина квартира» № 14, двор-
«ник» Евграф Данилыч «с. 37».

У Казанского моста по каналу дом № 24 Соболевой
в 1-м этаже, и в 4-м, г. Нейшеллер «с. 92 обр. нумер.».

Адрес Нейшеллера внесен в книжку в связи с должными ему 200 руб.
(см.: Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 278).

Черенин.

Дом Рогова на углу Невского и Михайловск^{ой} улиц «с. 93».

Московскому книготорговцу Михаилу Михайловичу Черенину Достоев-
ский был должен 120 руб. (см.: Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 178).

На Аптекарском проспекте на даче Миллера № 16 «с. 95».

Б. Подъяческая, дом Бурдо № 36, Маша.

Вероятно, это адрес племянницы писателя Марии Михайловны Достоев-
ской (в замужестве Владиславовой, 1843—1888).

Б. Подъяческая, дом Ащ, № 1, Марья Петровна «с. 99».

В Лесном корпусе дача Симоновского,¹ г-жа Коломенцова.

Вероятно, Достоевский ошибочно записал фамилию А. К. Каломийце-
вой, с которой переписывался еще в 1861 г. Он познакомился с ней через
А. У. Порецкого, который был мужем ее сестры.

¹ *Далее было:* дом

У Синего моста Мин^{истерство} госуд^{арственных} имуществ.
Порецкий, в канцелярии министра — от 12 до 3 «с. 101».

Адрес Александра Устиновича Порецкого (1819—1879) записан здесь
в связи со срочностью «Внутреннего обозрения» для очередного, очень
задержавшегося 11-го номера «Эпохи» за 1864 г. (дата его выхода — 1 ян-
варя 1865 г.).

На углу Фредерицынской улицы на даче Урусова, Капнист
Петр Иванович «с. 106».

П. И. Капнист (1830—1898) был одним из составителей выпедшего
в 1865 г. в С.-Петербурге служебного сборника «Собрание материалов
о направлении различных отраслей русской словесности за последнее деся-
тилетие и отечественной журналистики за 1863 и 1864 годы», в котором
содержались характеристики «Времени» и «Эпохи» (подробнее см.: Лит.
наследство, 1971, т. 83, с. 196).

Порецкий. В Стрельне, на речке дача Бобрикова «с. 121».

Belgique. Spa, Rue Hôtel de Ville 90.

A. Souslova * «с. 133».

В июне 1864 г. А. П. Сулова лечилась на этом бельгийском курорте.

* Бельгия. Спа, ул. Hôtel de Ville 90. А. Сулова (*франц.*).

⟨1864⟩

На большом Царскосельском проспекте, против 3-й роты, дом Латышева, квар. № 19. Горский.

Адрес писателя Петра Никитича Горского (1826—1877) записан Достоевским на обороте письма к нему Марфы Браун, написанного, вероятно, в начале осени 1864 г. В октябре 1864 г. Достоевский выхлопотал в Литературном фонде 30 руб. в помощь Горскому (см. публикацию Р. Б. Забровой: Рус. лит., 1977, № 3, с. 168).

⟨1864—1865⟩

1

Адресы.

Зименко в Москву.

Адрес писателя А. В. Зименко записан после получения письма от него от 19 декабря 1861 г., где содержалась просьба выплатить долг за повесть, напечатанную еще в журнале «Время» (ИРЛИ, ф. 100, № 29719).

Его в<ысокоро>дию Николаю Павловичу Горбунову. Г-ну помощнику управляющего Удельной конторы.

На Пречистенском бульваре, в доме Удельной конторы с передачей Ардалбону Васильевичу Зименко.

Балюра.

На Николаевской улице дом Мартьяновой. Близ Старообрядческой церкви. Тимофей Иванович Балюра (в этом доме гостиница Петрова) <с. 131>.

Вероятно, благодаря хлопотам Достоевского студент из крестьян Т. И. Балюра, сотрудничавший в петербургских и московских газетах, получал пособие из Литературного фонда (см. об этом в публикации Р. Б. Забровой: Рус. лит., 1977, № 3, с. 165).

На Васильевском остр., 2-я линия дом Буха <с. 1 обр. номер>.

За Египетским мостом к Измайловскому полку в аптеке Нормана — № 7 квартира <с. 17>.

На Петербургской стороне, дом 1-й Военной гимназии. 1-й подъезд от Большого проспекта. Воспитанник Федорченко <с. 147>.

Вероятно, в Кадетском корпусе учился кто-то из родственников Д. И. Достоевской (до замужества — Федорченко), жены А. М. Достоевского.

2

Лаздовский по Бассейной улице, дом Мясникова (?) 14, квартира № 27. Светецкий <с. 1 обр. номер>.

На Острове в 13-й линии, в доме Шредера. Минина <с. 16>.

Адрес Александры Ивановны Мининой, вдовы преподавателя русского языка и словесности в военно-учебных заведениях Н. Г. Минина (ум. 1861), записан в связи с тем, что Достоевский, получив ее письмо с просьбой о денежной помощи (см.: ИРЛИ, ф. 100, № 29781), пересылал ей выхлопотанное в Литературном фонде пособие (см. его расписку И. Н. Березину от 18 марта 1863 г. — ГБЛ, ф. 93.I.3.41).

По Гребецкой улице, дом Саловой, кв. № 7 <с. 17 обр. номер.>.

Сергиевская № 32 Рейнеке. Соловьев <с. 18>.

Возможно, это адрес Николая Ивановича Соловьева (1831—1874), сотрудника Достоевского по журналу «Эпоха» и члену литературного кружка братьев Достоевских.

2 Адмиралтейской <части> 4 квартал дом Форш № 19 по Офицерской улице <с. 21 обр. номер.>.

В Московский почтамт Степану Дмитриевичу Кожухову для передачи Николаю Александровичу Чаеву <с. 28>.

С драматургом Н. А. Чаевым (1824—1914) Достоевского связывали дела по печатанию в «Эпохе» его драмы «Сват Фадееч» (1864, № 11). Возможно также, что адрес Чаева попал в книжку в связи с устраивавшимся Достоевским и Некрасовым литературным вечером 7 декабря 1864 г., в котором принимали участие Чаев и артист П. В. Васильев (см.: Рус. лит., 1977, № 3, с. 169).

Студент Духовной Академии Троицкий, за Александро-Невской Лаврой, в здании Духовной Академии (9 июля, срок 2 недели) <с. 37>.

В портфеле редакции «Эпоха» осталась рукопись И. И. Троицкого «„Упрек“ и совет духовным журналам» (см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». М., 1975, с. 281).

Дом № 80 по Невскому 3-го квартала Литейной части, Семен Матвейч Пушкин, крестьянин <с. 29 обр. номер.>.

Адрес С. М. Пушкина вписан в книжку в связи с назначенной на 5 июня 1865 г. описью имущества Достоевского за неплатеж по векселям Пушкину (в 249 руб.) и Н. Лыжину (в 450 руб.); в этот день Достоевский получил повестку от квартального надзирателя 3-го квартала Казанской части об описи, назначенной на 6 июня (см.: Описание рукописей Достоевского, с. 534).

Итальянская, дом Салтыкова, 27 № квартиры. Ар. Мих.

Столярный, Головинского И. Ст.

Фабрициус, Большая Конюшенная, Финская церковь, кварт. № 10.

Адрес автора статьи «Записки о начале почты в России. (В память 200-летия почтового ведомства в России)». (Эпоха, 1864, окт., № 10). Достоевский был должен ему за эту статью гонорар.

Дом Вейнерта, Офицерская № дома 20, кварт. № 6 с. 3 обр. номер. > .

На углу Колокольной и Дмитриевского переулка, дом № 16, Благосветлов.

Редактор журнала «Русское слово» Г. Е. Благосветлов (1824—1880) принимал участие в делах «Эпохи»: он содействовал подписке на журнал, присылал в «Эпоху» материалы (см.: *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». М., 1975, с. 284); вместе с Достоевским он был членом Комитета Литературного фонда.

Филиппов. В Боровой у Николаевского рынка, дом Ворониных — кв. № 4.

Вероятно, это адрес юриста Осипа Авраамовича Филиппова, сотрудничавшего во «Времени» и «Эпохе» и выступавшего со статьями юридического характера. Он же выполнял разные поручения редакции, например осуществлял сношения с типографией и т. д. Не исключено, что это и адрес его брата, тоже юриста, Михаила Авраамовича, также сотрудничавшего во «Времени» и «Эпохе».

В 11-й линии дом Клеменса у Среднего проспекта, кварт. № 13 во дворе. Порецкий.

Во 2-й линии в д. *Буха* у Среднего проспекта. Лебедев Степан Сидорович.

Малая Итальянская 43 № дома 27 квартира с. 38>.

На Мурзинке № дома 20 (За Александровской мануфактурой на 2-й версте), пустырь проехать (кладбище), 3-й дом на правой руке. Спросить о билете <нрзб.> 14 сент<ября>, в понедельник, в 8 часов вечера.

На углу Николаевской улицы и Свечного переулка, дом Дементьевой, № дома 10, № квартиры 7-й, вход с Свечного переулка. Филиппов с. 22>.

На Гороховой у Адмиралтейской площади № 6 в 3 этаже с. 22 обр. номер. >.

Спасский переулок, дом Зайцева, № кв. 31, спросить Надю.

Марсия> Николаевна
У Синего моста, дом Гаврилова по набережной, Максимова.

В Коломне, у Покрова, дом бывший> Муравьевский> 13, Каролину (польку?) Доротея Антоновна с. 42>.

Baden

Schiller-Strasse,* № 274 <с. 42 обр. нумер.>

Вероятно, запись собственного баден-баденского адреса, по которому писатель жил в начале сентября 1863 г.

* Баден. Шиллерштрассе (нем.).

В Сергиевской, в доме Фадеева В. П. Гаевский.

С Виктором Петровичем Гаевским (1826—1880), одним из руководителей Литературного фонда, писателя связывали в это время дела по оказанию материальной помощи нуждающимся литераторам и ученым и организации литературных чтений.

В Моховой, в доме Шувалова (он же) Александра Осиповна Гольд (не дописано) 32 №.

Дом № 80 по Невскому проспекту 3-го квартала Литейной части. Крестьянин Семен Матвеев Пушкин.

См. выше, с. 20.

Гостиный двор по Садовой № 84. Куканов 15 руб.

Адрес одного из заимодавцев писателя: срок платежа ему (в 300 руб.) истек 22 января 1865 г.

Сергиевская дом Лопкарева. Васильев <с. 24>.

Вероятно, адрес известного трагического актера Павла Васильевича Васильева 2-го (1832—1879), с 1860 г. игравшего в Александрийском театре. В 1863 г. Достоевский начал писать рецензию «Об игре Васильева в „Грех да беда на кого не живет“» (21, 343—345).

<1866>

1

Анна Григорьевна

На Песках, у первого Военного Сухопутного Госпиталя, в Костромской улице, в собственном доме.

По поводу этой записи А. Г. Достоевская позднее заметила здесь же, в тетради: «Обращаю внимание моих детей: на обложке переплета записан рукою Феодора Михайловича мой адрес. Запись эта была сделана в первый день нашей работы, причем Ф. М. забыл записать мою фамилию и очень сокрушался весь день, не зная как меня пайти (т. е. как вернуть продиктованную частицу романа) на случай, если б я отдумала работать и к нему не пришла в назначенный день».

Долгомостьев

По Невскому проспекту, против <церкви> Знамения, дом Кохендорф, № 77 квартира № 22.

Иван Григорьевич Долгомостьев (ум. 1867) (псевдонимы: Григорьев, Игдев) — сотрудник журналов «Время» и «Эпоха», член кружка братьев Достоевских.

Аксаков. Hôtel de France, № 63 на Среднем у ворот с Большой Миллионной.

Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886) — публицист, славянофил. С ним Достоевского связывали дела по «Времени» и «Эпохе», а позднее — по Фребелевскому обществу и пушкинским торжествам 1880 г. (см.: Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 395, 490, 500, 504, 506, 512).

На Невском близъ Литейной, дом Максимовича № 65 квар-
«тиры». Дмитрий Михайл(ович) Поливанов «с. 1».

2

Коллежский секретарь Иван Михайлович Турбин. Дом Жако на углу Большой Морской и Кирпичного, № кварт. 35.

В марте 1866 г. Достоевский занял у Турбина 140 руб. (см.: Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.; Л., 1935, с. 157, 160).

«1867»

На Петербургской в Троицком переулке, дом Башиловой № 6, в кв. придворного протодьякона Иванова.

«1870»

Васильевский остров, Малый проспект, дом № 6. Между 3 и 4 линией. Михаил Иванович.

Адрес племянницы писателя Марии Михайловны и ее мужа М. И. Владиславлева (1840—1890).

«1871—1872»

На Тверской, гостиница Мамонтова «с. 2».

Возможно, что это московский адрес самого Достоевского. Он ездил в Москву зимой 1871—1872 гг.

В Москве против почтамта. Училище живописи. Василий Григорьевич Перов «с. 4».

В апреле 1872 г. Достоевский согласился позировать художнику Перову для портрета, заказанного П. М. Третьяковым (см.: Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 120).

«1872—1873»

Адресы

Плещеев. По Владимирской улице, дом № 2 квартира № 17.

С поэтом Алексеем Николаевичем Плещеевым (1825—1893) Достоевского связывали давняя (с 1846 г.) дружба и деловые отношения (см.: 18, 344—346).

В Москве, против почтамта, Училище живописи, Василий Григорьевич Перов «с. 69».

⟨1872—1875⟩

У Успенья на Могильцах, дом Прибытковой <с. 139⟩.

Запись относится к самой владелице дома, писательнице В. И. Прибытковой, предлагавшей в «Гражданин» романы «Болезнь нашего века» (21, 512; 24, 446).

Контора редакции.

Невский проспект, на углу Караванной, дом Медниковой, кв. № 4.

Адрес редакции журнала «Сын отечества».

А. Н. Плещеев. В Троицком переулке, у пяти углов, дом № 27, кварт. 30.

На Гребецкой (Ямской), дом Тулякова, кв. № 47. Рудин.

Александр Александрович Рудин — знакомый А. Г. Достоевской, исполнял разные ее поручения.

Константин Иванович Иванов. На Поварской (или в Поварском переулке), близ Владимирской, дом № 13.

К. И. Иванов (ум. 1887) — подпоручик, адъютант Штаба генерал-инспектора по инженерной части; во время пребывания писателя в Омском остроге заведовал всеми работами в крепости, оказывал содействие Достоевскому-арестанту. Он был женат на дочери декабриста И. В. Анненкова. По предположению Г. Ф. Коган, запись адреса появилась в связи с письмом Достоевскому Н. А. Момбелли, сообщавшего писателю о том, что «Ольга Ивановна, урожденная Анненкова, очень желает возобновить» с ним знакомство (Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 346).

Эмилия Федоровна. Петербургская, Съезжинская улица, дом Данилова (ближе к парку, рядом с Свечным заводом Бородулина) <с. 125 об.⟩.

Адрес вдовы М. М. Достоевского.

⟨1875—1876⟩

Людмила Христофоровна Хохрякова.

Л. Х. Хохрякова (1838—1900) — корреспондентка Достоевского, автор воспоминаний о нем. Ее адрес вписан в книжку, вероятно, после посещения ею писателя в апреле 1876 г. и последовавших за этим ее писем (см. публикацию Г. В. Степановой: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1983, вып. 5, с. 257—261; см. также: 23, 408).

Л. Злобин. Моховая, дом 16, кв. 13.

Угол Знаменской и Саперного переулков дом № 20, кв. 15 Антонова <с. 3⟩.

⟨1875—1877⟩

У Смольного монастыря, в Дегтярном переулке (близ какого-то бульвара) дом Яникова, Федор Иванович Красовский, прусский подданный <с. 73⟩.

Новгородская улица, дом № 9, кв. № 28. Черноусов (близь Невского) проспекта к Лавре, где Конная, бывшие дома Ивана).

На углу Кирпичного переуллка и Мойки, дом № 7, кв. 13. Головины.

Юлия Денисовна Засецкая, Невский проспект, против Николаевской, дом № 100.

С дочерью поэта-партизана Д. В. Давыдова Ю. Д. Засецкой (ум. 1882) писатель был знаком и состоял в переписке (см.: *Достоевская А. Г. Воспоминания*. М., 1971, с. 255, 257).

Елена Андреевна Штакеншнейдер, на углу Озерного переуллка и Знаменской, дом №

С Е. А. Штакеншнейдер (1836—1897), дочерью хозяйки литературного салона, Достоевский был знаком с начала 1860-х гг. и состоял в переписке (см.: *Достоевский: Материалы и исследования*. Л., 1983, вып. 5, с. 254—255).

Константин Николоевич Бестужев-Рюмин, Знаменская, дом № 38 (с. 92).

К. Н. Бестужев-Рюмин (1820—1897) — профессор-историк, поборник женского образования. С ним Достоевский был связан по Литературному фонду и Славянскому благотворительному обществу. Бестужев-Рюмин был его председателем, а Достоевский с 1880 — товарищем председателя (см.: *Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского*. М.; Л., 1935, с. 293).

Мать на Обводной¹ Канаве — № 141, близь завода Дурдина (бумажная прядильня). Акулина Арефьевна Елисеева — 50.

¹ Было: Новой

Г-жа Бергман — Большая Конюшенная, дом № 6/16, 10 кв.

Адреса «Мать на Обводной Канаве...» и «Г-жа Бергман» связаны с одним из многочисленных эпизодов в жизни Достоевского, когда он шел на помощь незнакомым людям. И в этом случае с помощью А. Ф. Кони ему удалось спасти обреченного ребенка (см.: 25, 226, 450).

Анна Павловна Философова — Близь Поцелуева моста, на Мойке, дом № 94.

А. П. Философова (1837—1912) — общественная деятельница и участница женского движения. Достоевский был дружен с ней и состоял в переписке.

На углу Фонарного переуллка и Фонтанки, дом Воронина, г-жа Карнович.

С Е. П. Карнович Достоевский был знаком в пору своих комитетских занятий по Литературному фонду (см.: *Рукописи Ф. М. Достоевского*. Каталог. Л., 1963, № 87).

Капитолина Валериановна Назарьева, Николаевская, № 29, кв. 25.

Возможно, адрес внесен в книжку в связи с получением письма Назарьевой к Достоевскому (см.: *Вопр. лит.*, 1971, № 9, с. 179—180).

Ольга Афанасьевна Антипова, Моховая, № 26, кв. 24.

В «Дневнике писателя» за 1877 г. помещено объявление: «Очень прошу г-жу О—гу А—ну Ан—ову, писавшую в редакцию о своих занятиях по экзамену, сообщить свой адрес вернее. Прежний, данный ею в Моховой улице, оказался ошибочным» (Январь. От редакции, II. — 25, 36).

Назаревой, Николаевская, № дома 29, кв. 25.

Инокентий Константинович Ончуков. Угол Невского и Надеждинской ул., д. Яковлева, № 1/96, кв. № 45.

Петр Николаевич Полевой. Надеждинская, № дома 7, кв. 12.

Адрес историка литературы П. Н. Полевого записан в связи с получением его письма от 7 июня 1876 г., содержавшего просьбу сообщить биографические данные для третьего издания «Истории русской литературы в очерках и биографиях» (ГБЛ, ф. 93.II.7.104; подробнее см. 27, 113).

Августа Павловна Созонович. На углу Фонтанки и Нового переулка (между Обуховским и Семеновским мостами), дом 77, кварт. 32.

Адрес московской знакомой семьи Достоевских, писательницы А. П. Сазанович записан в связи с получением ее письма (без даты), содержавшего просьбу о встрече с писателем (ИРЛИ, ф. 100, № 29842). Достоевский собирался посетить ее, сохранилась запись: «К Сазонович» (27, 113).

ВН? Шпалерная, № 18, кв. № 9. Владимир Соловьев.

С философом, поэтом, критиком и публицистом В. С. Соловьевым (1853—1900) Достоевский познакомился в 1873 г.; в 1877 г. он посещал его чтения «о Богочеловечестве»; в июне 1878 г. они совершили совместную поездку в Оптину пустынь. Дружеские отношения продолжались до последних дней жизни Достоевского.

Владимир Соловьев. На углу Гороховой и Мойки, у Красного Моста, в гостинице Соболева <с. 92 об.>.

Софья Александровна. Александр Николаевич Аксаков, Невский проспект, близ Малой Морской, дом № 6. Гадяч.

Адрес спирита А. Н. Аксакова и его жены записан в связи с посещением Достоевским спиритических сеансов в их доме (22, 126, 384).

В. И. Ламанский. 3-я рота Измайловского полка, дом № 11, квартира 4.

С историком-славистом, профессором Петербургского университета Владимиром Ивановичем Ламанским (1833—1914) Достоевский познакомился зимой 1871—1872 гг. (см.: *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971, с. 219).

Халевитская и Розова, Невский проспект, дом № 80, кв. № 20.

Любовь Христофоровна Хохрякова, начальница телеграфной станции по Шлиссельбургскому тракту.

См. выше, с. 24.

Всёволодъ Сергеевичъ Соловьев. Старый Петергофъ, близъ станции железной дороги, против Николаевской богадельни, дача № 7 Авенариуса.

Тертий Иванович Филиппов, Кирочная, дом № 17 (почти на углу Надеждинской).

С писателем и публицистом консервативно-славянофильского толка Т. И. Филипповым (1825—1899) Достоевский сблизился в 70-х гг.; сохранилась их переписка.

Студентка Долганова, Кавалергардская улица, дом № 6, квартира № 9. Пески (NB, просит работы, на руках маленький брат и сестра).

Елисей Георгиевич Левченко, — угол Пантелеймоновской и Литейной, дом Марузи, кв. № 11.

Невский пр., д. № 59, кв. 4. Лурье Софья Ефимовна.

Адрес С. Е. Лурье записан в связи с необходимостью отвечать на ее письма 1876—1877 гг. (см.: 23, 379).

Алексей Елисеев. Марфа Елисеева. Подольская улица, в Семеновском полку, дом Я. Ковалева (с. 93).

Адресы

Няня Прохоровна. В 6-ой роте Измайловского полка, дом № 22, кварт. № 7.

Алена Прохоровна в 1870-х гг. растила сына Достоевских Федю (подробнее см.: *Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 272*).

Всёволодъ Соловьев. Офицерская, дом № 57, кварт. 8 (на углу Литейного проспекта рядом с домом дешевых квартир).

Ковалевский (Владимир Онуфриевич) (Круковский NB). На углу 4-й линии и Малого проспекта, дом Лихонина.

Адрес В. О. Ковалевского, мужа С. В. Ковалевской (урожд. Корвин-Круковской), записан в связи с получением писем от нее в 1876—1878 гг. (ГБЛ, ф. 93.11.5.78).

Полонский. На углу Ивановской и Кабинетской (Владимирская) дом Гуро.

Адрес Я. П. Полонского (см. с. 7) записан в связи с предстоящим посещением одной из его «пятниц» (см.: *Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.; Л., 1935, с. 276*).

А. Н. Плещеев. В Троицком переулке, у Пяти углов, дом № 27, кварт. 30.

См. выше, с. 23.

Рудин. На Гребецкой (Ямской), дом Тулякова (где банк), кв. № 47.

См. выше, с. 24.

Константин Иванович Иванов. На Поварском (или в Поварском переулке), близ Владимирской, дом № 13.

См. выше, с. 24.

Эмилия Федоровна. Петербургская сторона, Съезжинская улица, дом Данилова (ближе к парку, рядом с Свечным заводом Бородулина) <с. 93 об.>.

См. выше, с. 24.

Виктор Петрович Ключников. Невский проспект, у Знаменья, дом Кохендорфа (журнал «Кругозор»).

Адрес писателя В. П. Ключникова (1841—1892) — внесен в книжку после получения записки, написанной им в декабре 1875 г. (ГБЛ, ф. 93.11.5.76).

Н. Н. Страхов. У Торгового моста, дом Стерлигова, вход с Канавы, по парадной, № кв. 19, 5-й этаж.

Николай Петрович Вагнер, на Васильевском острове, между 12-ю и 13-ю линиями, по Большому проспекту, дом Ботмана.

Писатель Н. П. Вагнер (1829—1907) в 1875—1877 гг. активно переписывался с Достоевским; в 1876 г. он неоднократно приглашал Достоевского на спиритические сеансы к А. Н. Аксакову (см. с. 26).

Штакенишнейдеры. Фурштаттская, дом № 12, на углу Церковного переулка.

См. выше, с. 25.

Анатолий Федорович Кони, в доме Министерства юстиции в Малой Садовой.

См. выше, с. 6—7.

Выборгская сторона, Симбирская улица, дом Черной (Черновой), каменный дом, 3-й этаж, не доезжая клиники 3-й дом. *Эмилия Федоровна*.

Александр Федорович Отто. Стремянный, № 10.

Адрес А. Ф. Отто (Онегина, 1840—1925) записан в связи с недоразумением, возникшим между И. С. Тургеневым и Достоевским по поводу уже возвращенного последним денежного долга (см.: *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971, с. 301—303).

Цензор Ратынский. Надеждинская, 38 <с. 95>.

Адрес Н. А. Ратынского записан в связи с переизданием «Записок из Мертвого дома». 29 августа Достоевский собирался писать ему (см. об этом в письме М. А. Александрову от 29 августа 1876 г. — II, III, 245—246).

Позднее он подарил Ратыцкому экземпляр романа «Братья Карамазовы» с дарственной надписью (см.: *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Л., 1935, с. 314).

Н. А. Момбелли. Угол Вознесенского проспекта и глухого переулка, дом Паля, № 2, кв. № 28, (2-й подъезд по переулку)..

По-видимому, Достоевский собирался или встретиться с бывшим петрашевцем Николаем Александровичем Момбелли (1823—1891), или написать ему письмо. Об этом свидетельствует мартовская запись 1876 г. в этой же записной тетради: «Не забыть Момбелли» (27, 112).

Адвокат Корниловой Люстиг — Кирочная, д. 23 кв. 15 «с. 235».

Вильгельм Иосифович Люстиг (1844—1915), адвокат, член Совета присяжных поверенных, в 1876 г. защищавший Е. П. Корнилову (23, 360—361); позднее выступил адвокатом самого Достоевского по поводу куманинского наследства (см. его письма к Достоевскому от 13 декабря 1878 г. и 26 января 1879 г. — ИРЛИ, ф. 100, № 29770; см. также: 24, 395).

Дом Китнера, № 1, с Малой Морской, близь Исаакия. Лебедев, цензор.

Николай Егорович Лебедев был назначен цензором «Дневника писателя».

<1876>

Изм<айловский> полк 5-я рота дом № 15 квартира № 12. Александр Асафиевич Дудкин.

Вероятно, Достоевский собирался ответить на письмо Дудкина от 3 сентября 1876 г., просившего подыскать ему работу, и записал адрес на оборотной стороне конверта от письма (ИРЛИ, ф. 100, № 29708).

<1878>

Угол Морской и Вознесенского, дом № 6 Ред<акция> Иллюстрированной газеты. Бауман, госпоже Вистемус.

Возможно, запись этого адреса вызвана намерением ответить на письмо редакции журнала «Иллюстрированная газета» (б. д.), обратившейся к Достоевскому с просьбой предоставить «фотографическую карточку» — «описание жизни» и «перечисления <...> трудов» для сборника «Современные русские деятели». Этот сборник редакция собиралась издать «в виде премии подписчикам „Иллюстрированной газеты“» (ГБЛ, ф. 93.П.61).

<1874—1881>

Захарьевская ул., дом № 11, кварт. № 3. Дмитрий Иванович Кошлаков, от 7 до 9.

Адрес профессора петербургской Медико-хирургической академии Д. И. Кошлакова (1836—1891), лечившего Достоевского с 1874 г.

<1880—1881>

Констант, 6-я линия. Между Средним и Малым, д. 41, квартир<а> 7.

София Дмитриевна Констант — сестра первой жены писателя М. Д. Достоевской. Адрес внесен в книжку в связи с получением писем от Констант, содержащих просьбы о материальной помощи (ИРЛИ, ф. 100, № 29744) и намерением навестить ее (см.: 27, 117).

Вагнер. Университетская 21.

См. выше, с. 28.

Александр Михайлович Земский, Москва, Никольская, дом Ремесленного общества. Через контору Российского общества.

Адресы

Гр. Толстая. Большая Мильонная. Дом Лобанова, 30, наискось Эрмитажа.

Достоевский переписывался с Софьей Андреевной Толстой (урожд. Бахметевой. 1844—1892), вдовой А. К. Толстого, и был частым посетителем ее дома и салона (см., например: 27, 116). За несколько дней до смерти, 19 января 1881 г., писатель взял на себя чтение роли схимника в «Смерти Иоанна Грозного» на одном из ближайших «понедельников» графини.

Е. А. Штакеншнейдер, Знаменская ул. 22

См. выше, с. 25; см. также: 27, 117.

Демидовский дом Призрения трудящихся, № 106, по Мойке, близ Литовского замка. *Яковлев.*

Горбунов Иван Федорович. Фонтанка 113.

С писателем и актером И. Ф. Горбуновым (1831—1895) Достоевский познакомился в начале 1860-х гг.; адрес записан, вероятно, в связи с письмами Горбунову 1880 г.

Аксаков. Невский проспект № 6. —

Анна Николаевна Энгельгардт. Садовая, Никольский рынок, Никольский мост, дом № 124 (Тона), в номерах Тона.

Адрес А. Н. Энгельгардт занесен в книжку в связи с приготовленной ей в подарок книгой (см. с. 10) и намерением посетить ее (см.: 27, 117).

Бестужев-Рюмин, Бассейная, № 33.

См. выше, с. 25.

Сабуровы (Андрей Александрович и Елисавета Владимировна). Кирочная, против Надеждинской, дом Кавос.

Адрес статс-секретаря, члена Государственного Совета А. А. Сабурова (1837—1916) и его жены Е. В. Сабуровой.

Савельев, Александр Иванович, Фурштатская, № 30, кв. № 2.

А. И. Савельев (1816—1907) — ротный офицер Инженерного училища во время пребывания там Достоевского; с 1884 г. генерал-лейтенант; автор нескольких технических работ, а также статей по истории и археологии. Оставил «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» (Рус. старина, 1918, № 1, 2). Адрес записан в ноябре 1880 г. в связи с необходимостью ответить Савельеву на его письмо (II, IV, 214—215).

Тихомиров (Осип Тимофеевич), мещанин Павловского посада. Богородск. Московской губернии, Нижегородская железная дорога. Станция Павлово.

Орест Федорович Миллер, Эртелев переулоч, дом № 2 (?)

С историком литературы, профессором Петербургского университета О. Ф. Миллером (1833—1889) в 1880 г. Достоевский часто встречался на литературных чтениях и по делам Славянского благотворительного общества.

Иван Сергеевич Аксаков, Москва, Спиридоновка, у Никитских ворот, дом Розанова.

Возможно, адрес И. С. Аксакова был записан после встречи с ним у О. Ф. Миллера (см. письмо последнего к Достоевскому от 30 января 1880 г. — ИРЛИ, Р.1.оп.6, № 138).

Графиня Анна Егоровна Комаровская, Мраморный дворец. Вторник в 5-м часу.

Адрес фрейлины А. Е. Комаровской записан после получения от нее пригласительного письма (ГБЛ, ф. 93.11.5.91), на которое Достоевский ответил 27 декабря 1880 г., подчеркнув: «Неприменно буду иметь честь явиться к Вам во вторник в 5-м часу» (П., IV, 223).

Николай Савич Абаза — Троицкий переулоч, д. № 38.

Член Государственного Совета, сенатор Н. С. Абаза (1837—1901) в 1880—1881 гг. был начальником Главного управления по делам печати и цензуровал последний выпуск «Дневника писателя» (1881).

Графиня Александра Андреевна Толстая, Зимний дворец <с. 3>.

Достоевский познакомился с фрейлиной А. А. Толстой (1817—1904), теткой Л. Н. Толстого, в салоне С. А. Толстой (см. с. 30) в 1880 г. и, по словам А. Г. Достоевской, встречался с нею «много раз», причем последняя встреча произошла за три дня до смерти писателя. А. Г. Достоевская отмечает, что А. А. Толстая сообщила Достоевскому о только что полученном ею письме Толстого, которым Достоевский очень заинтересовался. «Графиня А. А. обещала прочесть это письмо Федору Михайловичу, — продолжает А. Г. Достоевская, — и пригласила посетить ее. Мой муж поехал, провел у графини вечер и привез с собою копию письма гр. Л. Н. Толстого <...>» (подробнее см.: *Коган Г. Ф.* Достоевский знакомится с письмом Толстого. — В кн.: Яснополянский сборник, 1980, Тула, 1981, с. 218—221).

Речь идет о письме Л. Н. Толстого от 2—3 февраля 1880 г. (см.: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1934, т. 63, с. 6—9).

Юферов Александр Николаевич, Знаменская, 29 №. Угол Басейной <с. 4>.

СТАТЬИ



Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

ДОСТОЕВСКИЙ: ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИЗУЧЕНИЯ (вместо предисловия)

Столетие со дня смерти Достоевского способствовало появлению и в СССР, и за рубежом многочисленных новых работ о жизни и творчестве писателя. Но дело отнюдь не только в большом числе этих работ, хотя уже самая многочисленность и разнообразие их свидетельствуют о постоянно возрастающем интересе к жизни и сочинениям великого русского писателя. Каждый новый этап современной общественной жизни ведет к углублению наших представлений о социальных, культурных и художественных традициях прошлого. Это всецело относится и к наследию Достоевского. И хотя еще не пришло время давать полную, законченную оценку всей той критической и научной литературы о Достоевском, которая вышла в 1981—1982 гг., все же сейчас можно оценить те основные общие итоги и перспективы, важные для изучения Достоевского, которые принесло с собой чествование его памяти.

Уже само число изданий сочинений Достоевского в разных странах и на разных языках мира дает представление о поистине исключительном международном значении его наследия. В СССР в 1981—1985 гг. вышли тома 21—28 академического Полного собрания сочинений Достоевского, содержащие первое полное критически проверенное и научно прокомментированное издание «Дневника писателя» за 1876, 1877 и 1880—1881 гг. Параллельно в издательстве «Правда» силами того же коллектива, который подготовил вышедшие и продолжает готовить новые тома академического Собрания сочинений, осуществлено (в качестве приложения к журналу «Огонек») шестисоттысячным тиражом издание собрания художественных произведений Достоевского (включающее все романы и избранные повести писателя) с иллюстрациями художника И. С. Глазунова. Новые собрания сочинений Достоевского, приуроченные к юбилейной дате, начаты и успешно осуществляются также в НР Болгарии и ГДР. Кроме того, как в СССР, так и за рубежом, в том числе в США, Франции, ФРГ,

Японии в 1981—1982 гг. вышел целый ряд отдельных изданий повестей и романов Достоевского, в том числе — «Села Степанчикова», «Униженных и оскорбленных», «Записок из Мертвого дома», «Преступления и наказания», «Идиота», «Подростка», «Братьев Карамазовых».

Широкий интерес ученых вызвали всесоюзные и международные научные конференции и симпозиумы, посвященные Достоевскому: в Москве, в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР (февраль 1981 г.), в научном центре София—Антиполис (Вальбонна, Франция, июль 1981 г.), в Ноттингеме (Великобритания, октябрь 1981 г.), Мюнхене (ФРГ, октябрь 1981 г.), в Ленинграде — в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (октябрь 1981 г.) и в мемориальном Музее Ф. М. Достоевского (ноябрь 1981 г.), Белграде (Югославия, декабрь 1981 г.), Будапеште (НР Венгрия, январь 1982 г.) и Лейпциге (ГДР, апрель 1982 г.). Многие материалы этих научных конференций и симпозиумов опубликованы, другие еще печатаются и также станут вскоре достоянием широкой международной общественности. Достоевскому был посвящен в основном также советско-японский научный симпозиум по истории русской литературы, состоявшийся в декабре 1981 г. в Москве, в Институте мировой литературы им. А. М. Горького.

Значительный интерес представляют размышления о Достоевском и о его значении для современности крупных мастеров советской и зарубежной литературы и искусства, опубликованные в связи со столетней годовщиной смерти писателя, — размышления А. Адамовича, Ч. Айтматова, Ю. Бондарева, Д. Гранина, Г. Горбовского, В. Распутина, Л. Леонова, С. Слонимского, ныне покойного Ю. Трифонова, Э. Колдуэлла (США), А. Мердок (Великобритания), А. Бозанке, А. Труайя (Франция), Г. Кант (ГДР), С. Мукаржи (Индия), П. Корреа Васкас (Панама) и др. Широкий отклик у нас и за рубежом получил обмен мнений ученых и критиков о мировом значении Достоевского, организованный редакцией журнала «Иностранная литература», как и посвященный Достоевскому специальный номер журнала «Советская литература» на иностранных языках, открывающийся статьей академика М. Б. Храпченко.

Вполне понятно, что истолкование творчества Достоевского, даваемое разными современными художниками и критиками, как и воздействие его на современную мировую литературу, — темы, требующие серьезного аналитического подхода. Творчество Достоевского многоаспектно, и, равно как ученые, так и художники, разные по направлению своих исканий и по темпераменту, по масштабам своего дарования, по психологическому облику, симпатиям и интересам, склонны отдавать преимущественное внимание, выдвигать на первый план не одинаковые, разные стороны его художественного мира и его идейных исканий. С этой точки зрения заслуживают серьезного внимания и оценки каждая научная статья, критическое эссе, книга, живописное или

музыкальное произведение, роман или исследование о Достоевском, основанное на углубленном, уважительном подходе к жизни и творениям великого русского романиста. Но в то же время нельзя забывать и о другом — произведения Достоевского живыми нитями связаны с современностью, а поэтому его наследие является в наши дни (как это было и в прошлом) предметом ожесточенной идеологической и политической борьбы. В этой борьбе непримиримо противостоят друг другу социальный прогресс и реакция, мир социализма и мир капитализма, силы, которые несут человечеству мир и свободу, и силы, грозящие ему войной, ядерной катастрофой и гибелью цивилизации.

Поэтому в нашем сегодняшнем отношении к Достоевскому нет и не может быть места благодушной всеприемлемости и успокоенности. Ибо художественный мир Достоевского, как хорошо сознавал сам великий писатель, — это мир напряженных страстей и противоречий, мир, который по самой своей природе не терпит нравственной успокоенности и пустых, сладкоречивых фраз. И эта особенность творчества Достоевского не могла не получить отражения в напряженной борьбе мнений, получившей непосредственный, живой отзвук в обширной научной, критической и художественной продукции, которую вызвало к жизни чествование его памяти в дни столетней годовщины со дня смерти великого русского романиста.

Мы не можем оставаться равнодушными к проявлениям исторической фальши и к отступлениям в оценке наследия Достоевского от общих принципов ленинского отношения к культурному наследству также и в нашей советской печати. И не случайны, а закономерны выступления газеты «Правда», журнала «Коммунист» и ряда других органов советской печати против забвения четких социальных классово-исторических критериев в оценке произведений Достоевского, как и вообще классиков русской и мировой литературы.

Говоря в предыдущем томе серии «Достоевский. Материалы и исследования» об очередных задачах изучения Достоевского, мы особенно подчеркивали — наряду с необходимостью создания новых, обобщающих трудов о нем — насущную потребность нашей сегодняшней науки в разработке нового фактического материала о жизни и творчестве писателя (в особенности относящегося к таким сравнительно малоизученным периодам его жизни, как время учения писателя в Инженерном училище в 1847—1848 гг., годы жизни Достоевского в Сибири, первый период после возвращения в Петербург (1860—1865)), а также в создании полной, критически проверенной и уточненной летописи его жизни и творчества. Это побудило редакцию отвести в настоящем сборнике значительное место новым архивным материалам о Достоевском и его сибирском окружении, почерпнутым из фондов Омского и Барнаульского архивов, а также различного рода дополнениям и уточнениям к комментариям Полного собрания его сочинений.

О том, какой широкий простор открывает для углубленного анализа творческого метода Достоевского изучение русской периодики XIX в., свидетельствует печатаемая в настоящем томе статья В. Е. Багно. Интересно также наблюдение, дополняющее то сравнительно немногое, что известно нам о творческой истории повести Достоевского «Двойник», которое сделал американский ученый Дж. Райс.¹ Он обратил внимание на биографию профессора медицинского факультета Московского университета, выдающегося русского врача и философа И. Е. Дядьковского (1784—1841), написанную его учеником К. Лебедевым и предосланную изданной посмертно первой части руководства Дядьковского «Практическая медицина»,² равно как и на анонимную рецензию на эту книгу в сентябрьском номере «Отечественных записок» за тот же год. Автор «Практической медицины» был знакомым и коллегой двоюродного деда Достоевского со стороны матери В. М. Котельницкого, а также отца писателя, с которым Дядьковский одновременно учился в Московской медико-хирургической академии и работал в госпитале в 1812 г. Поэтому имя Дядьковского должно было быть известно автору «Двойника» с детских лет. Биография Дядьковского, составленная Лебедевым, была одобрена цензором 25 октября 1844 г. и вышла из печати весной следующего года, незадолго до начала работы Достоевского над «Двойником».

В биографии своего учителя К. Лебедев писал: «На осьмом году жизни Дядьковскому было явление, чрезвычайно редкое в жизни человеческой. Бегая в саду после учения, он был позван матерью обедать и, на бегу, не достигнув дома, вскричал необыкновенным голосом и упал на землю. Мать на крик тотчас выбежала в сад и нашла сына лежащего без чувств. Попечениями матери он был приведен в себя и на вопрос: отчего так вскричал и упал, отвечал, что, когда бежал, ему навстречу попался *другой он*.

Эта весть была весьма горестна для родителей, кои в простоте сердца поверили, что сын их должен скоро умереть. С этого времени *двойник Дядьковского* начал являться весьма часто и большею частью, когда он сидел за учением. Мальчик *Дядьковский* мало-помалу привык к своему *двойнику* и наконец стал пристально каждый раз в него всматриваться и находил его всегда

¹ См.: Rice James L. Dostoevsky's Medical History: Diagnosis and Dialectic. — Russian Rev.; 1983, vol. 42, № 2, p. 131—161.

² Практическая медицина. Рассуждение о действии лекарств на человеческое тело, и биография профессора Иустина Дядьковского, изданное доктором медицины Козьмою Лебедевым. В университетской типографии. М., 1845. — Целиком три выпуска части первой «Практической медицины» Дядьковского вышли в 1845—1846 гг. Ср. о Дядьковском: Большая медицинская энциклопедия, 1959, т. 9, с. 959—960. Дядьковский специально занимался вопросами о воздействии душевных состояний на физическую природу человека, на возникновение и лечение внутренних болезней. В 1836 г. он был отстранен от педагогической деятельности за пропаганду в лекциях материалистических воззрений.

точно в том же положении, в каком был сам; *двойник* подвергался по времени тем же переменам, каким подвергался его первообраз. С 20-летнего возраста *Дядьковского двойника* его начал являться все реже, и в последний раз *Дядьковский* видел своего *двойника* в 1824 году, отмеченного на правой стороне головы седым, величиною в полтинник, кружком, обратившим внимание *Дядьковского*, который действительно увидел на голове седой кружок, до этого им не замеченный.

Об этом видении *Дядьковский* много раз рассказывал в беседах со своими знакомыми и обещал даже изложить собственные мысли о происхождении и значении *двойников*. Были ли изложены мысли *Дядьковского* о *двойнике* — мне не известно.

Относительно же вообще явления *двойников* должно заметить то, что они сопутствуют людям, в высшей степени награжденным от природы отличными душевными способностями и с горячею любовью стремящимися к приобретению знаний. Знаменитый Гете также видел своего *двойника*.³

Последнее утверждение Лебедева вызвало возражения у рецензента «Отечественных записок». Изложив приведенный рассказ о двойнике, которого видел и о котором рассказывал знакомым *Дядьковский*, рецензент журнала писал: «Мы не согласны, однако ж, с г-ном Лебедевым, что *двойники* сопутствуют людям, в высшей степени награжденным от природы отличными душевными способностями <...> потому-де, что и *знаменитый Гете* также видел своего двойника. Подобное объяснение годится только для прославления своего учителя, но уничтожается фактами: некоторые люди, вовсе *незнаменитые*, также видели своих *двойников*».⁴

Хотя рецензия на биографию *Дядьковского* в «Отечественных записках» появилась уже после того, как *Достоевский* начал творческую работу над повестью, последнее полемическое утверждение рецензента заслуживает особенного внимания, так как непосредственно перекликается с ее содержанием.⁵

Приведем и еще один любопытный пример сложного переосмысления *Достоевским* материала периодической печати. В отделе смеси № 3 журнала «Библиотека для чтения» за 1848 г. была помещена следующая весьма скромная заметка, которая,

³ Практическая медицина... и биография проф. И. Дядьковского..., с. 1—2.

⁴ Отеч. зап., 1845, № 9, отд. VI, с. 8.

⁵ Кроме рецензии «Отечественных записок», первый выпуск книги *Дядьковского* (с биографией Лебедева) вызвал в 1845 г. ряд других отзывов в печати (в том числе в плетневском «Современнике»). Лебедев отвечал рецензентам «Отечественных записок» и «Современника» в двух статьях «Вместо предисловия», предпосланных второму и третьему выпускам «Практической медицины» *Дядьковского* (с. I—XXXII). В первой из этих статей, отвергая данную рецензентом «Отечественных записок» характеристику врачей как «служителей и поклонников грубейшего материализма», биограф *Дядьковского* вторично возвращается к вопросу о двойнике, которого видел *Дядьковский* (с. III).

по-видимому, обратила на себя внимание молодого Достоевского и надолго ему запомнилась:

«Зимний сад в Париже. Прочитав фельетоны Теофиля Gauthier и других, вы подумаете, что это — сады Армиды или, на худой конец, Магометов рай, переведенный на христианские нравы. Oh, la blague française!.. Это, просто, плохая *оранжерея*. Пройдя *картинную галерею*, собрание всякой малеванной дряни, вы вступаете в *сад*, то есть, в большой стеклянный сарай, где ветер свистит в щели, где пар горячей воды поднимается облаками, где все мокро и сыро, стулья, кнители, растения, посетители — целый мир облитый потом — целая атмосфера банного воздуха. Гуляющие сердиты за обман своих ожиданий, цветы несчастны и стыдятся своих ярлычков: вы думали найти по крайней мере выставку растений, а находите только выставку латинских ботанических названий. Земля здесь — асфальт, зелень — тусклые широколиственные кустарники, солнце — огромные камни с каменным углем, скалы — дюжина камешков, укрепленных в доске, на которой налеплен мох. Эффект необыкновенный. Парижские bourgeois, указывая пальцами, говорят своим éroues: „Вот Швейцария!“ Но архитектуры — столбиков — решеток — галерей, премного; журналов еще больше, напаче журналов провинциальных, которых никто не читает.

Да! — я забыл! — есть лоскуток муравы, по которому *ходить запрещается*. К счастью, никому и не хочется посягнуть на запрещенный плод.

Таков Зимний Сад в Париже — le jardin d'hiver!⁶

Ироническое «обыгрывание» цитированной заметки мы встречаем в «Зимних заметках о летних впечатлениях», а может быть, и в «Дневнике писателя» за 1876 г. Насмешливое определение типичных, заурядных мужа и жены из семьи парижских буржуа — «эгузы» — и их желания провести воскресный день «на травке», заменившее у современного городского человека радость живого, постоянного общения с природой; мечта не о «плохой», искусственной оранжерее, а о превращении Земли в цветущий Сад для обновленного и возрожденного человечества — все это можно рассматривать в какой-то мере как позднейший глубокий полемический отклик великого писателя на вызвавшую у него в молодые годы горячее негодование заметку, прочитанную в одном из русских журналов 40-х гг.

Сошлемся на еще одно наблюдение, которое иллюстрирует нашу мысль о необходимости «медленного», вдумчивого, углубленного изучения русской журналистики 40—70-х гг. XIX в. для лучшего понимания полемического смысла многих страниц романов Достоевского.

В 1863 г., торжествуя по поводу запрещения Александром II журнала братьев М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», запреще-

⁶ Библиотека для чтения, 1848, т. 87, март, отд. 7 («Смесь»), с. 14.

ния, инспирированного охранителем устоев самодержавия издателем «Русского вестника» М. Н. Катковым, который добровольно присвоил себе в пору начавшейся к этому времени правительственной реакции роль своеобразного диктатора, выполнявшего «полицейские обязанности в литературе», Катков издевательски заявил, обращаясь к Ф. М. Достоевскому и имея в виду его «почвенническую» программу:

«Народные начала! Коренные основы? А что такое эти начала? Что такое эти основы? Где их взять? Что за зверь эти начала и эти основы? <...> Коль скоро вы, по совести, должны сознаться, что при этих и подобных словах в голове вашей не рождается столь же ясных и определенных понятий, как при имени хорошо известного вам предмета, то бросьте эти слова, не употребляйте их и заткните уши, когда вас будут потчевать ими. <...> Мы должны дорожить нашею цивилизацией, а не бросать ее, под тем предлогом, что мы ее заимствовали, а не выработали из народных начал. Все друг у друга заимствуют, все друг у друга учатся, и люди и народы <...> Дурно было бы не то, что мы у кого-нибудь учились ей, а дурно было бы то, если б оказалась, что мы плохо учились, более занимаясь квадратурой круга или *изыскивая способы, как бы устроить торжественную встречу параллельных линий* (курсив мой. — Г. Ф.) <...> Мы говорим о народе, о его коренных началах и не замечаем того, что становимся игрушкой самой злой иронии: чем более мы толкуем о народе и его началах, тем более отходим от народа и от его начал, и чем более предаемся исканиям какой-то почвы, тем более теряем всякую почву у себя под ногами».⁷

Англоман Катков не только верно почувствовал стихийный демократизм позиции Достоевского, проявившийся, несмотря на всю ее противоречивость, в статьях журнала «Время», — демократизм, глубоко претивший Каткову. Последний сделал в своей статье ошибку, которая сегодня очевидна для каждого школьника. В эпоху Лобачевского и Римана (идеи которого, впрочем, в то время еще не были высказаны в печати) Катков высмеял мысль о возможности встречи в пространстве параллельных линий как мысль абсурдную и беспочвенную. И Достоевский, как можно полагать, не забыл полемического выпада Каткова. Выражение своих идей о наличии у русского народа своих, веками сложившихся «народных начал» романист перепес... на страницы журнала Каткова «Русский вестник». А мысль о возможности встречи параллельных линий в пространстве (хотя бы она и противоречила знаменитому постулату Эвклида) Достоевский вложил в уста Ивана Карамазова в последнем, величайшем своем романе. В статье Е. И. Кийко, помещенной в настоящем сбор-

⁷ Рус. вестн., 1863, № 5, с. 398—419. Ср.: Туниманов В. А. Творчество Достоевского 1854—1862. Л., 1980, с. 280—281.

нике, тщательно исследованы источники этих рассуждений Ивана.

В исследовательской литературе о Достоевском в последние десятилетия не раз ставился вопрос о тех мотивах философских, исторических и нравственных идей Достоевского, которые обнаруживают внутреннюю близость к идеям немецкой классической философии конца XVIII—начала XIX в., и в частности к философским идеям Гегеля. Вопросу этому посвящены работы В. Я. Кирпотина, Ю. Ф. Карякина, В. В. Кожина, равно как и многих зарубежных ученых.⁸

В этой связи, думается, следует напомнить о знаменитом письме Гегеля к его поклоннику, русскому офицеру Борису фон Иксюлю, от 28 ноября 1821 г., во многом предвосхищающем философско-исторические идеи как русских славянофилов 30—40-х гг. XIX в., так и Достоевского 60—70-х гг. Письмо это было впервые опубликовано в 1844 г. первым биографом великого немецкого философа К. Розенкранцем; однако вполне возможно допущение, что содержание его могло стать известным основоположникам русского славянофильства уже раньше — Иксюль провел последние годы жизни в Эстляндии и Лифляндии и мог быть лично знаком с Н. М. Языковым, а также и с кем-либо из ранних славянофилов.

«Вы счастливы тем, — писал Гегель в этом знаменитом письме своему молодому другу, одному из любимых своих учеников (сделанные которым записи лекций Гегеля по эстетике Гого использовал в 30-х гг. при подготовке первого посмертного издания курса Гегеля по эстетике), — что имеете отечество, занимающее столь огромное место во всемирной истории, отечество, которому, без сомнения, предстоит еще гораздо более высокое назначение. Другие современные государства как будто бы уже достигли цели своего развития, быть может, кульминационный пункт некоторых из них находится уже позади, и форма их приобрела постоянный характер, тогда как Россия, будучи уже, пожалуй, наиболее мощною силою среди остальных государств, заключает в своих недрах неограниченную свободу развития своей интенсивной природы».⁹

Эти слова Гегеля о России и ее историческом будущем несомненно должны были импонировать не только Киреевскому, Хо-

⁸ См.: *Belzer G. Hegel en Dostoievsky. Leiden, 1953; Tschizewskij D. Hegel in Rußland. — In: Hegel bei den Slaven. Darmstadt, 1961, S. 288, 349—350 (см. также по указателю); Carr E. H. Dostoevsky. 1821—1881. London, 1962, p. 198—199; Jackson R. L. Dostoevsky's quest for form. New Haven; London, 1966, p. 204—209; Rice M. P. Dostoevskii's Notes from the Underground and Hegel's «Master and Slave». — Canad.-Amer. Slavic Studies, Fall 1974, VIII, 3, p. 359—369; Neuhäuser R. Das Frühwerk Dostojewskijs. Heidelberg, 1979, S. 214 ff. (см. также по указателю).*

⁹ *Фушер К. История новой философии. М.; Л., 1933, т. 8. Гегель, т. 1, с. 90—91. См. также: Rosenkranz K. G. W. F. Hegel's Leben. Berlin, 1844, S. 304—305; Briefe von und an Hegel. Berlin, 1970, Bd 2, S. 297—298.*

мякову, К. Аксакову, но и Белинскому, Герцену, Достоевскому. В частности, по своему общему пафосу они чрезвычайно близки к сравнительной оценке национального характера современных Достоевскому француза, австрийца, англичанина и русского в романе «Игрок».

Весьма любопытно также сопоставить с рядом широко известных размышлений Достоевского в «Записках из подполья», «Преступлении и наказании», «Дневнике писателя», «Братьях Карамазовых» об истоках зла в личной и общественной жизни, наряду с уже рассматривавшимися в этой связи страницами «Феноменологии духа», «Эстетики», «Лекций по философии всемирной истории» и «Философии права» Гегеля, прибавление к параграфу 382 его «Философии духа»:

«... отрицание, противоречие, раздвоение, — пишет здесь Гегель, — все это принадлежит <...> к природе духа. В этом раздвоении содержится возможность *страдания* <...> Столь же мало, как и страдание, приходит извне к духу также и *зло* — отрицание в себе — и — для — себя — сущего бесконечного духа; *зло, напротив, есть не что иное, как дух, ставящий себя на острие своей обособленности*. Поэтому даже *в отрыве от корня своей в себе сущей нравственной природы* (курсив в обоих последних случаях мой. — Г. Ф.), в этом полнейшем противоречии с самим собой, — дух все же остается тождественным с собой и потому свободным <...> Дух обладает силой сохраняться и в противоречии, а следовательно, и в страдании <...> Обыкновенная логика ошибается <...>, думая, что дух есть нечто, всецело исключющее из себя противоречие. Всякое сознание, напротив, содержит в себе некоторое единство и некоторую разделенность и тем самым противоречие <...>».¹⁰ И несколькими строками выше: «Истина <...> делает дух свободным; свобода делает его истинным. Свобода, однако, духа не есть независимость от другого, приобретенная вне этого другого, но свобода, достигнутая в этом другом, — она осуществляется не в бегстве от этого другого, но посредством преодоления его».¹¹

У нас нет прямых доказательств того, что Достоевский читал гегелевскую «Энциклопедию философских наук» (и, в частности, «Философию духа»). Тем более примечательным, заслуживающим дальнейшего пристального изучения представляется нам близость мысли Гегеля о зле как о человеческом «духе», ставящем себя на «острие своей обособленности», и гениального художественного выражения той же идеи автором «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых».

¹⁰ Гегель. Соч. М., 1956, т. 3, с. 41.

¹¹ Там же.

Изучение жизни и творчества Достоевского в последнее время приобретает у нас все более широкий размах. Вместе с литературоведами к анализу романов Достоевского все чаще начинают обращаться советские философы, социологи, историки общественной мысли; рука об руку с учеными старшего поколения выступают молодые талантливые исследователи. Марксистско-ленинская научная методология дает прочную основу для изучения творческого наследия великого русского писателя во всем его объеме. Наряду с биографией Достоевского, творческой историей его произведений, их восприятием современниками, различными аспектами их художественной структуры, мировоззрением писателя, его стилем и языком большое место в современных исследованиях закономерно занял вопрос о жизни Достоевского в веках, об общественной борьбе вокруг его наследия, о его влиянии на литературу и духовную жизнь нашего века.

Все это делает насущным создание очерка, освещающего исторический путь, пройденный русской и советской наукой в области изучения и истолкования наследия Достоевского. Институт русской литературы АН СССР намерен в ближайшие годы приступить к осуществлению такого очерка, который составит часть задуманной нами книги «Достоевский. Итоги и проблемы изучения» (близкой по своему типу к аналогичной книге об итогах и проблемах пушкиноведения, изданной Пушкинским Домом в 1966 г.). Пока же, до его создания, хочется поделиться несколькими личными воспоминаниями, которые, как мне представляется, могут не только иметь интерес для современной научной молодежи, но и послужить материалом при работе над летописью развития нашей филологической науки. Начну с нескольких слов о себе.

Романы Достоевского потрясли меня еще тогда, когда мне было 12—13 лет и я в страстном упоении поглощал одно за другим издания сочинений русских классиков, богатое собрание которых (главным образом в изданиях А. Ф. Маркса) хранилось в книжном шкафу моих родителей.

В школьные годы я горячо спорил с преподавательницей русской литературы в старших классах нашей школы А. В. Кравченко, находившейся в плену вульгарно-социологических концепций 20-х гг. В своем сочинении, прочтенном вслух на уроке по литературе, я — к ее ужасу — охарактеризовал убийцу Раскольникова как тип предельно искреннего и страстного в своих исканиях русского человека, наделенного громадными сокровищами ума и сердца, исполненного, в моем представлении, редчайшей притягательной силой и обаянием.

Вскоре мне выпало на долю редкое счастье увидеть в Большом зале Ленинградской консерватории на сцене «Братьев Карамазовых» с Лужским, Москвиным, Леонидовым, Качаловым, а примерно через год — услышать в Большом зале Ленинградской филармонии вдохновенную речь о Достоевском А. В. Луначарского, произнесенную в качестве вступительного слова к кон-

церту артистов МХАТа, концерту, в котором участвовали те же Лужский, Качалов, Москвин, Коренева, Еланская, Тарасова и другие. Образы Лужского в ролях Федора Павловича и Свидригайлова, Москвина в роли Снегирева и Качалова в сцене беседы Ивана с чертом (которую я многократно слышал в концертном исполнении) до сих пор как живые стоят перед моими глазами.

В студенческие годы мне удалось заразить моим энтузиазмом к Достоевскому своего самого близкого университетского товарища — Я. Л. Бабушкина, сыгравшего впоследствии в качестве духовного руководителя Ленинградского радиокомитета громадную роль в культурной жизни Ленинграда в суровые и героические дни блокады нашего города немецко-фашистскими захватчиками.

Живо помню, как мы оба были рады, прочитав следующие — ныне давно забытые — строки рано умершего Я. Ильина из вступления к книге «Люди Сталинградского тракторного» (открывшей задуманную по инициативе А. М. Горького и оставшуюся, к сожалению, незавершенной серию «История фабрик и заводов»):

«Лучшие писатели всех времен и народов — Сервантес, Бальзак, Флобер, Стендаль, Достоевский, Толстой, Горький — анализировали своими произведениями современное им общество. Все эти рассказы о людях, к чему-то стремящихся, чем-то выделяющихся из окружающей среды, об искателях правды, о мечтателях, бродягах и „неустроенных душах“, начиная от их гениального родоначальника Идальго Дон-Кихота вплоть до купеческого сына Фомы Гордеева, — все они входят гигантскими главами в единую повесть о неустроенном человеке в прежних общественных укладах, изложенную десятками и сотнями лучших умов человечества <...> Федор Достоевский острее и болезненнее всех отразил жизнь этих людей в своих книгах. Униженность и разорванность сознания, чувство колоссального одиночества мы видим и в Макаре Девушкине, и в братьях Карамазовых, и в Николае Ставрогине. Они искали счастья, искали богатой жизни, искали прежде всего в личной и семейной жизни, ибо в общественной жизни не находили его, гиперболизировали личные переживания и семейные коллизии и в этом видели истинное счастье, и когда этого счастья не находили ни в общественной, ни в личной жизни в силу разных причин, то либо горячо протестовали, либо смирялись и под конец жизни после неистощимого количества гадостей, тоски и скуки говорили: „А все-таки жизнь хорошая штука“ («Жизнь» Мопассана)».¹²

Это мнение Я. Ильина мы в то время глубоко разделяли — и, пожалуй, я и сегодня готов подписаться под приведенными его словами.

¹² Ильин Як., Галин Б. Вступление. — В кн.: Люди Сталинградского тракторного. 2-е изд. М., 1934, с. 134.

Имя одного из ленинградских ученых мне хочется назвать, вспоминая путь моего научного самоопределения в качестве ученого-«достоевиста», особо. Это — имя А. С. Долинина, в течение многих лет возглавлявшего изучение Достоевского в Ленинградском гос. университете и Пушкинском Доме. А. С. Долинин был к тому же и первым специалистом по Достоевскому, с которым мне пришлось лично встретиться в моей жизни. Это было в 1934 г., когда на филологическом факультете Ленинградского университета (тогда именовавшемся ЛИФЛИ) были объявлены спецсеминары Н. К. Пиксанова по Пушкину, В. В. Гиппиуса по Гоголю, А. С. Долинина по Достоевскому, С. Д. Балухатого по Чехову. Сам я тогда переживал увлечение Гоголем, а потому записался в семинар В. В. Гиппиуса. Но в свободные от занятий часы часто бывал в семинаре А. С. Долинина. Признаюсь, что привлекал меня сюда не только предмет изучения — Достоевский, интересовавший меня еще в студенческие годы, но и личность руководителя семинара. В отличие от суховатого, несколько академического тона, который господствовал на занятиях у Гиппиуса, на семинаре А. С. Долинина царил атмосфера живой непринужденности. Считая Достоевского первым писателем-плебеем в русской литературе и относясь к его личности и его произведениям с горячим энтузиазмом, Долинин, тем не менее, охотно допускал споры, разноречие в понимании и оценке своего любимого писателя. Но, пожалуй, еще больше привлекала на семинарах Долинина любовь руководителя к молодежи. Он охотно задерживался после занятий, серьезно и внимательно выслушивал мнения студентов, горячо и увлеченно спорил с ними, развивая свои собственные взгляды, но и всегда был готов оценить каждое новое, свежее наблюдение. С Достоевского нередко разговор переходил на вопросы современной литературы — например, на книги К. А. Федина, с которым Долинин дружил и переписывался, или С. Н. Сергеева-Ценского, которого он высоко ценил.

После Великой Отечественной войны А. С. Долинин продолжал проявлять постоянный интерес ко всему, что касалось Достоевского. В 1950 г., когда Л. Ф. Денисова в качестве заведующей редакции литературы Большой советской энциклопедии заказала мне статью о Достоевском для второго издания БСЭ, Долинин уговорил меня взяться за это ответственное поручение. Первоначальный текст статьи понравился моему учителю, но под влиянием разноречивых рецензий ее «заредатировали», и мы оба остались недовольны ее исправленным — на основании предложенных моих рецензентов: В. В. Ермилова, Д. Я. Заславского, В. С. Нечаевой и Л. П. Погожевой — текстом (хотя, при всех ее недостатках, она, думается, все же знаменовала в одном отношении, как мне представляется сегодня, известный поворот в истолковании Достоевского: мои предшественники выдвигали обычно в качестве главного критерия при оценке воззрений Достоевского его верность (или неверность) комплексу идей Белинского и «натуральной школы». Я же в своей статье постарался подчеркнуть

в первую очередь антибуржуазный пафос творчества Достоевского, определивший напряженность, а вместе с тем — и трагические черты его духовных исканий и обусловивший особый характер и место реализма Достоевского в истории русского классического реализма).

Вспоминая о вкладе в изучение Достоевского старшего поколения ученых Пушкинского Дома, которых мне довелось знать лично, наряду с именами А. С. Долинина, В. Л. Комаровича, Б. В. Томашевского, нельзя не упомянуть имени и другого моего университетского учителя — В. А. Десницкого. В 1955 г. издательство «Художественная литература» (в то время Гослитиздат) начало подготовку к выпуску десятитомного (вначале оно должно было иметь 12 томов) Собрания сочинений Достоевского, которое, как известно, начало выходить в 1956 г. и явилось первым опытом комментированного издания основных его произведений. Предварительная работа над ним велась в Ленинграде. В. А. Десницкому, А. С. Долинину и мне было поручено совместно составить проспект этого издания и научно-текстологическую инструкцию к нему. В течение двух-трех месяцев мы несколько раз собирались на квартире В. А. Десницкого, совместно обсуждали и редактировали эти документы. Десницкий принимал очень живое участие в наших обсуждениях. Особенно настойчиво он хотел, чтобы в издании Гослитиздата вошел ряд разделов из «Дневника писателя»: пожелание это из-за ограниченности листажа десятитомника удалось позднее выполнить лишь частично. Мы предвидели это и именно поэтому вместо десяти томов первоначально запланировали двенадцать, добавив том фрагментов из «Дневника писателя» и том избранных писем.

Уже с середины 1950-х гг., когда у нас в послевоенное время начался новый этап изучения Достоевского, важную инициативу в подготовке условий для более широкой пропаганды его наследия в Ленинграде, наряду с научными учреждениями, стало играть Управление по делам культуры при Исполкоме Ленинградского Совета депутатов трудящихся. В 1955 г. в Институт русской литературы обратился зав. отделом охраны памятников Управления культуры Б. Н. Калинин с просьбой составить для Отдела охраны подробную справку об адресах тех квартир, где Достоевский жил в разное время в Петербурге. Аналогичные справки Отдел охраны памятников составлял о местах жизни в Ленинграде и других писателей-классиков. После того как справка о местах жительства Достоевского и описание его квартир были мною составлены, Б. Н. Калинин в заключение разговора спросил меня, где, по моему мнению, было бы целесообразно в будущем открыть в Ленинграде мемориальный музей Достоевского. Оба мы уже тогда пришли к выводу, что музей наиболее целесообразно развернуть в последней квартире писателя на углу улицы Достоевского и Кузнечного переулка. А. А. Прокофьев (как тогдашний секретарь Ленинградского отделения Союза писателей) и А. С. Бушмин (в качестве директора Пуш-

кинского Дома согласились выступить в качестве инициаторов создания будущего музея. За их подписями мною была составлена первая бумага о желательности открытия в Ленинграде музея Достоевского, адресованная в партийные и государственные органы. Позднее, уже в 1960-х гг., в Пушкинском Доме в течение долгого времени велись детальные деловые обсуждения проекта будущего музея. В них участвовали Б. Н. Калинин, А. И. Хватов, А. Ф. Достоевский, Н. Н. Фоякова и архитекторы, принимавшие участие в разработке проекта. Вначале последние склонялись к мысли ограничить музей двумя-тремя комнатами чисто мемориального характера, но затем представитель Гипротеатра Г. В. Пионтек выдвинул более обширный и смелый план, поддержанный Пушкинским Домом и положенный в основу окончательного проекта, одобренного тогдашним председателем Исполкома Ленсовета А. А. Сизовым.

Последнее воспоминание, которым мне хотелось бы поделиться в этих разрозненных заметках, — о начале академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Насколько мне известно, мысль о необходимости такого издания возникла в кругу московских ученых. В январе 1962 г. вопрос об этом обсуждался отделом русской классической литературы Института мировой литературы АН СССР им. А. М. Горького. Но, несмотря на защиту идеи академического издания рядом сотрудников отдела (в том числе В. С. Нечаевой), после длительного обсуждения вопроса отдел решил, что он не имеет пока достаточных научных сил, чтобы в ближайшее время приступить к изданию Достоевского. Тогда Д. С. Лихачев предложил научной общественности Пушкинского Дома взять подготовку издания на себя. Его инициатива была поддержана группой ученых, в том числе М. П. Алексеевым, Н. И. Конрадом, В. В. Виноградовым, В. Г. Базановым, П. Н. Берковым, Н. Ф. Бельчиковым, А. С. Долининым, Л. И. Тимофеевым, А. И. Ревякиным, Г. М. Фридлендером. И у Отделения литературы и языка и у Президиума Академии наук СССР наше предложение встретило полную поддержку. 28 июня 1965 г. тогдашним Председателем Редакционно-издательского совета Академии наук СССР академиком В. А. Кириллиным было подписано решение об издании академического собрания сочинений и писем Ф. М. Достоевского в 30 томах. Так родилось академическое издание сочинений Достоевского, а вместе с тем и его спутники — сборники «Достоевский. Материалы и исследования». Хочется горячо надеяться, что все эти начинания сыграли свою положительную роль в развитии нашей великой советской культуры и что мы сумеем передать ту почетную эстафету в деле изучения наследия Достоевского, которую мы приняли из рук своих предшественников — Белинского, Герцена, Луначарского, а также Долинина, Бахтина, Виноградова, Гроссмана, Комаровича и других, — в руки нового, молодого поколения советских ученых.

МЕСТО ДОСТОЕВСКОГО В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Роль Достоевского в развитии русской литературы определяется тем, что он самый идеологический классик. Он живет внутри идеологических течений времени и выверяет их им самим разработанным масштабом. В основе его — все тот же идеал всеобщей правды, по, разумеется, со своими особыми предложениями к его осуществлению. Этот идеал вступает в ожесточенное противоречие с конкретным течением мировой истории, переживавшей стадию буржуазного развития; но он не сгибается, а, напротив, развертывает все новые аргументы и возможности.

Отличие Достоевского от других русских классиков, развивающих идеал, его главное достижение и нововведение — в способности борьбы. Если попытаться передать одним словом избранный им метод в столкновении с сопротивляющимися или враждебными (по его мнению) идеалу силами, можно назвать это так: включение. Гоголь пытается видящееся ему зло связать, заклясть и покорить; Толстой — раздвинуть изнутри добром и отбросить; Достоевский — принять в себя и растворить. Эту способность, как бы через голову других, он наследует прямо от Пушкина.¹ Однако у Пушкина противостоящие начала, хотя и четко различаются, выступают в неразорванном и действительно неизвестно чем просветленном единстве (тайна его остается неразгаданной). Достоевский имеет уже дело с так далеко разошедшимися силами, что признать между ними нечто общее невозможно. Тем не менее, обнаружив противника и двигаясь ему навстречу с явным намерением столкновений, он вдруг вступает с ним в активное «братанье».

В спор современных ему направлений и групп это вносит путаницу и сочувствия не вызывает. Однако Достоевский преследует во всем этом свои далекие цели. Его интересует момент истины в каждой большой идее (или лице). Нашупав эту точку, откуда они, по его мнению, отклонились, ушли в заблуждение, но еще признают ее своей, он со всей силой устремляется туда,

¹ О переориентации Достоевского — через Гоголя к Пушкину см.: Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь: «Станционный смотритель» и «Шинель». — В кн.: Проблемы типологии русского реализма. М., 1969; Кирпичин В. Я. У истоков романа-трагедии. — В кн.: Достоевский и русские писатели. М., 1971.

не обращая внимания на возражения иных уровней или враждебность. Характерна запись для себя, передающая его отношение: «Вы хоть шут и невежда, но вы честны и в основании верны» (20, 155). Слово «основание» — ключевое. Необходимо добраться до точки схождения и оттуда выйти к общей дороге.

Но поскольку точка эта расположена часто слишком глубоко, или потеряно вообще представление, что она может существовать, его встречает поначалу круговое непонимание. Неожиданное движение навстречу «тьме» принимается прогрессивной критикой, привыкшей к ясно распределенной борьбе, за предательство или служение болезни. «Что-то чудовищное», «жесточкий талант», «с любовью обрисованное безобразие» и т. д. С другой стороны, «тьма» начинает думать, что ее оценили и явился наконец смелый истолкователь ее намерений. Заслышав эту возможность, к нему начинает стекаться издалека действительно мировое безобразие, надеясь получить здесь центр и оправдание. За сгущением всего этого вокруг Достоевского и в составе его образов трудно бывает его направление разобрать; его подлинная идея для окружающих сильно затемнена.

Самого писателя, однако, это не смущает. Скорее, его можно заподозрить во мнении, что так оно и нужно, что это единственная возможность продвинуть в его условиях высокий идеал. «Но не ожидайте — о, не ожидайте, — пишет он И. С. Аксакову, — чтоб Вас поняли. Нынче именно такое время и настроение в умах, что любят сложное, извилистое, проселочное и себе в каждом пункте противоречащее... Мертвец проповедует жизнь, и поверьте, что мертвеца-то и послушают, а Вас нет» (П., IV, 217). Уверенный, видимо, что этим чрезвычайно опасным и перспективным «живым трупам» жизнь нужнее, чем обыкновенным людям, у которых она «и так есть», он вступает в общение со всеми стадиями и формами омертвения, стараясь рассосать их, растворить, повернуть снова к жизни.

Нужно признать, что эта позиция в мире является уникальной. В такой последовательности и упорстве проведения она не встречается не только в русской классике, но и в мировой литературе вообще. Говоря о ней, мы имеем, конечно, в виду идеальный образ Достоевского, а не его реальные срывы. Этот образ был в нем безусловно сильнее его страстных ошибочных увлечений, неудач, художественного несовершенства, так как постоянно опирался на нереализованный народный идеал. Сам он так и призывал относиться к народу: «Мерило народа не то, каков он есть, а то, что считает прекрасным и истинным» (24, 147). Задача была в том, каким путем это «прекрасное» осуществить. Достоевский избирает путь непредвиденный и странный: объединение с инакомыслящим; через спрятанную в нем часть истины — к целому.

На симпозиуме Общества Достоевского в Бергамо в августе 1980 г. был обозначен доклад «Достоевский — новый Сократ». Нам не довелось его слышать, но если судить по теме, обосно-

ванно поставленной, аналогия эта не может быть полной. На близость Достоевского «сократическому диалогу» указал уже М. М. Бахтин.² Однако и он, называя источник и, естественно, выделяя черты общности, оставил (здесь) в стороне особенность Достоевского, отметив лишь, что в «сократическом диалоге» еще не было отделено понятие от образа. Между тем сама позиция Достоевского в споре была принципиально иной. Сократ прославился, насколько это видно из Ксенофонта или Платона, путем вскрытия ошибок и нелепостей в первоначальной мысли собеседника и приведения его к своей, пока тот, изумленный, не воскликнет: «Клянусь Зевсом, Сократ, ты прав!». Метод Достоевского едва ли не противоположен. Он исходит из того, насколько его собеседник был прав; причем не какой-нибудь плоской правдой, а новой и важной для Достоевского самого, и оттуда старается двинуться дальше вместе, сообщая, предостерегая от нелепостей. К этому движению приглашаются все, независимо от уровня, разработанности языка или степени заблуждения. Наверное, это один из самых демократичных в мировой литературе способов общения.

Как социальная программа этот способ выглядит безнадежной утопией. Но в раскрытии далеких целей развития, в соотношении конкретных возможностей истории с фундаментальными ценностями жизни и в создании совершенно новой атмосферы общения, где должен был прокладывать свою трудную дорогу действительно общий идеал — атмосферы, которая обеспечивается прежде всего его собственной новой художественной системой, — Достоевский добивается ни с чем не сравнимых успехов.

Он вбирает при этом, как писатель наиболее общительный и внимательный к другим, опыт русской литературы в целом, ее главные ценности, и представляет даже от лица тех, с которыми состоит по видимости в непримиримом конфликте. Наши литературоведение и критика последних десятилетий убедительно показали идейную неотделимость Достоевского от лучших, передовых традиций русской литературы, точнее — решающую зависимость его от этих традиций.³ Это сказывалось даже в моменты самой острой текущей полемики, разводившей писателей по разным лагерям.

Вспомним только отношения Достоевского с ближайшим, кажется, сподвижником Н. Н. Страховым. То он начинает ему доказывать, что нигилистический свист полезен и, отодвигая потрясенного в сторону, сам берется «свистать», то уверяет, что «До-

² Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с. 145—150.

³ См.: Храпченко М. Б. Достоевский и его литературное наследие. — Коммунист, 1971, № 16; Сучков Б. Л. Великий русский мыслитель. — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972; Фридендер Г. М. Достоевский и мировая литература. М., 1979; Кирпюгин В. Я. Мир Достоевского. М., 1980; Селезнев Ю. И. В мире Достоевского. М., 1980; Ф. М. Достоевский и мировая литература: Беседа в редакции. — Иностран. лит., 1981, № 1 и др.

бродяков правее Григорьева в своем взгляде на Островского» (II, II, 187), т. е. более прав и т. п. Среди его единомышленников это значило почти что попирать все самое священное, и мы знаем, что для него лично это ничем хорошим кончиться не могло. Как будто принимая у Достоевского эту черту и в своих первоначальных воспоминаниях даже называя ее «широкостью (...) сочувствий, умением понимать различные и противоположные взгляды», — но и оговариваясь, что «слишком он для меня близок и непонятен»,⁴ — Страхов, как известно, в конце концов все-таки не выдержал: разъяснил для себя эту непонятность изначальной порочностью Достоевского, стал убеждать Толстого, какой это был низкий человек, и выпустил слух о совершенном им преступлении, на целый век дав пищу любителям сочетать «гений и злодейство».

Или прямой пример отношений с Добролюбовым. При явном противостоянии, какое движение Достоевского ему навстречу! Вся сила статьи «Г-н — бов и вопрос об искусстве» в том, что Достоевский неожиданно переходит на точку зрения оппонента, чуть не полностью ее принимает. Он соглашается, присоединяется, дает свои подтверждения и говорит: пойдем дальше, дальше:

Куда — другое дело. Подтягивать Достоевского к революционным демократам у нас нет никаких оснований. Но его способность поднимать во взаимодействии с ними истину, раскрывать и расследовать ее в непредвиденном объеме в настоящее время не вызывает сомнений. В специальной монографии В. Я. Кирпотин показал, какой источник понимания открывается для нас, например, в теме «Достоевский и Белинский», когда мы глядим на этих мыслителей вместе, нисколько их не соединяя и не поступаясь принципами.⁵ Картина их спора, где эти столы, кажется, похожие, но разноразрядные натуры, словно меняясь местами, развивали фундаментальные ценности жизни, позволяет теперь эти ценности намного глубже понять, а главное, снимая частности, видеть их перспективу сегодня.

Более широкое и объективное рассмотрение выясняет также, что многие собственно художественные открытия Достоевского, приписываемые иногда исключительно ему, принадлежат магистральной традиции русской литературы в целом. Они возникают во взаимодействии этого самого «коллективного» из русских классиков («соборного», на языке славянофилов) с другими.

В частности, развитие художественных возможностей идей, усвоение их литературой, возвращение им «человеческой натуры», что безмерно обогатило их смысл и продвинуло художественный образ к неизвестным ранее рубежам, было совершено Достоевским совместно с Белинским, при его прямом соучастии и репашо-

⁴ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, разд. 1, с. 186.

⁵ Кирпотин В. Я. Достоевский и Белинский. 2-е изд. М., 1976.

щем вкладе Белинского в возникновение самого этого типа сознания.

Если младший брат писателя Андрей вспоминает, что «брат Федор <...> был во всех проявлениях своих — настоящий огонь, как выражались наши родители», что он «был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения <...> отец неоднократно говорил: „Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!“»,⁶ то эта черта (нисколько не угасшая, а лишь усилившаяся у Достоевского впоследствии) была, несомненно, внесена в идейную атмосферу времени Белинским, прямо воспитана им.

Знаменитое описание Герценом Белинского в споре («Как я любил и как жалел я его в эти минуты!»)⁷ есть, в сущности, описание Достоевского, каким его знали люди той поры: «... для пропаганды наиболее подходящей представлялась членам различных кружков страстная натура Достоевского, производившая на слушателей опеломляющее действие».⁸ Серьезность в отношении к идеям, готовность, убедившись, идти с ними до конца, воспринятые от Белинского, развились в Достоевском в такой степени, что ими, кажется, лучше можно было бы объяснить его приступы, историю его болезни, которая столь привлекает «клинических» истолкователей его творчества и при которой он был, однако, поразительно духовно здоров. Взрывы и разряды петерпеливых убеждений, не умещавшейся в нем энергии, навсегда остались отличительной чертой его облика.

Конечно, у его близости с Белинским были общие социальные причины. 40-е гг., время выхода в литературу новых общественных сил, рождения «недворянской» литературы, соединили их судьбы. Оба — сыновья «штаб-лекарей», оторванные от семьи и прочного социального наследия, дети города, тогда еще нового, увлекающиеся студенты и одновременно люди, протрезвленные бедностью от многих прекраснодушных иллюзий... Но Белинский был не просто на десять лет старше, он был настоящий отец этой атмосферы, ее «формирователь».

Личность Белинского создала духовный тип, вовлекший в свою орбиту Достоевского и повлиявший решающим образом на его художественную систему. Это было продвижение жизни в мысль, перестроение мысли по законам и «логике» жизни, бесстрашие в доведении каждой идеи до ее последствий в точно найденном образе и нравственном выводе. Ни в какое сравнение с ним не идут предшествующие ему типы отношений с идеей: обеспеченные мечтания, разработка последовательного мировоззрения с выездами за границу, как у Киреевского, Станкевича и

⁶ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, разд. 1, с. 26.

⁷ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956, т. 9, с. 31.

⁸ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, разд. 1, с. 90.

других, или подчинение образа идее, как у Рыльева; нет — именно переход жизни со всеми страстями в идеи, переселение туда, и их бескомпромиссная взаимная проверка при абсолютной правдивости и невозможности умолчаний (ради абстрактно понятого единства).

Усвоив этот тип, Достоевский уже не мог поработиться никакой мыслью, при невероятной способности развернуть ее в полной наглядности и убедительной силе. Это делали его неудачные поклонники, готовые по разным причинам отождествить себя с ней, получив додуманную за них до конца Достоевским формулировку, как правило, поражающую своей точностью (в рамках данного взгляда).

Для Достоевского любая мысль или идея — средство постижения громадного целого, «нравственного закона», смысла истории. Идеи — пути к этому целому, они новые обстоятельства жизни, среда обитания.

Пропустить эту разницу, повторим, очень легко, потому что среда в противоположность прежним временам сама заряжена смыслом, постоянно претендует (и не без основания) его выразить. Она насыщена мыслью, просветлена и вовсе не составляет, как раньше, простого предмета для размышления. Ее нетрудно принять за мысль самого Достоевского, тем более при его способе общения (о котором говорилось выше), когда он сознательно идет на сближение с ней, вовлекает в движение к истине.

Возможно, поэтому он самый обманчивый из русских классиков в его успехе «на мировой арене». Как это ни парадоксально звучит, его слава здесь во многом ошибочна, — со стороны тех, кто ее наиболее активно продвигал. Она абсолютно подлинна, конечно, там, где разворачивается скрытый за всеми подобными восприятиями план; но до тех пор и в той мере, пока они господствуют и ее ведут, за Достоевского принимают отпущенные им на свободу исследования идеи, с конечной дерзостью высказывающие друг другу свой «аргумент», а не сам Достоевский. Красочность и новизна этих аргументов собирают вокруг себя изумленных родственных им идеологов, выявляя неизвестные в их собственной мысли потенции; все это они соединяют под знамя «Достоевского», — не видя (не желая или не в состоянии видеть), до какой степени оно предусмотрено и куда на самом деле Достоевский их направляет.

Типичен Андре Жид. С 1908 г., т. е. со времени своей статьи о письмах Достоевского, он активно пропагандирует Достоевского на Западе. Как литератор высоко профессиональный, он оставляет немало ценных наблюдений о стиле Достоевского, особенностях его художественной манеры в сравнении с классиками литературы на Западе, даже в соотношении с Пушкиным (предисловие к новому переводу «Пиковой дамы»)⁹. Но что им принято

⁹ Жид А. Собр. соч. Л., 1936, т. 4, с. 444—447.

за главное в Достоевском? Абсолютная свобода воли, провозглашаемая рядом персонажей, независимая личность с непредусмотренными возможностями (открытие которой, в отличие от прежнего *литературного типа*, А. Жид приписывает исключительно Достоевскому, минуя Толстого). И вот являются положительные герои А. Жида: Лафкадио Влуики из «Подземелий Ватикана» (1914), который, освобождаясь от «пут традиции», вдруг сталкивается со ступеньки вагона на ходу поезда незнакомого ему человека; Бернар Профитандье из «Фальшивомонетчиков» (1926), испытывающий все виды пороков, и т. д. Обосновывает их вывод из «Лекций о Достоевском» (1922): «... в этом физиологически-ненормальном состоянии заключен своего рода призыв к восстанию против психологии и морали стада».¹⁰ Иначе говоря, то, о чем Достоевский сумел предостеречь, считает себя, явившись, продолжением его мысли.

Несколько раньше то же самое происходит с Ф. Ницше. Недавно опубликованные его записи при чтении «Бесов» снова напоминают, с какой глубиной и силой его излюбленные идеи были исследованы раньше него Достоевским, — признаны во всех возможных исходных крупицах правды, но тут же и опровергнуты, включенные в совсем иной состав, чего сам Ницше не в состоянии был понять, продолжая «психологические» открытия «предшественника».¹¹

С какой-то стороны эти ошибки объяснимы. Доводы «распада» раскрыты Достоевским часто в такой картинности и полноте, как они сами далеко не всегда умели или решались высказываться. Одни только «Записки из подполья» есть в этом смысле целый компендиум будущих мировых заблуждений, — безусловно искренних, и большого масштаба, так что быть задним числом «умнее» их не каждому и удобно: для этого надо было бы показать, что видел их «с самого начала». Тут есть и Кафка: «Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился» (5, 101); т. е. Достоевский сразу же говорит, что существует кое-что похуже «Превращения», объясняет почему, но и на этом его «подпольный» не останавливается, себя опровергая: «Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!» (5, 120).

И — фрейдистские вариации на тему, что «всякое сознание болезнь» (5, 102), и предсказание о «ретортном человеке» — что «скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи» (5, 179), и явление — с самим этим словом уже, термином — «антигероя» (5, 178) и т. д.

¹⁰ Там же, 1935, т. 2, с. 423.

¹¹ См. об этом: Фридлиндер Г. М. Достоевский и Ф. Ницше. — В кн.: Фридлиндер Г. М. Достоевский и мировая литература. М., 1979, с. 214—255; Давыдов Ю. Н. Два понимания вигилизма (Достоевский и Ницше). — Вспр. лит., 1981, № 9, с. 115—160.

Однако заблуждения есть заблуждения, и оставаться в пределах их «логики» в настоящее время уже невозможно. Это мешает видеть объем и цели мысли Достоевского. Непреодоленная инерция такого подхода, давая о себе знать даже в литературоведческих работах высокой квалификации, может останавливать анализ там, где он только должен был бы начаться.

Например, при рассмотрении современного итальянского романа и ведущихся в нем споров: «Происходит важный разговор между художником и доном Гаэтано. Художник произносит такие слова, как „справедливость“, „вина“, „искупление вины“. Священник решительно возражает. Самая древняя и распространенная ошибка в христианском мире, говорит он, заключается в мысли, будто Христос хотел пресечь зло: „Говорят: бог не существует, следовательно, все дозволено“. Никто никогда не пытался совершить маленькую, простую, банальную операцию: видоизменить эти великие слова. „Бог существует, следовательно, все дозволено“. Никто не попытался, повторяю, кроме самого Христа. И вот что такое христианство в глубокой своей сущности: все дозволено. Преступление, боль, смерть — вы думаете, они были бы возможны, если бы не было бога? Дон Гаэтано отрицает смысл и ценность понятия: „лучший, худший“; „справедливо, несправедливо“; „белое, черное“. Мы понимаем всю степень влияния Достоевского, хотя Шаша не называет его имени».¹²

Но в такой интерпретации писатель (Леонардо Шаша) остается на «степени влияния» персонажей, а не самого Достоевского; Достоевский разницы между «белым» и «черным», конечно, никогда не терял.

Правда, после выхода второго издания книги М. М. Бахтина¹³ явилось искушение рассматривать Достоевского в виде ряда расщепленных и независимых «точек зрения» на мир. Активное и неформальное понимание истины стало восприниматься иногда как возможность избавиться от объективной истины вообще; была даже предложена философия — с готовностью сменить «логику» на «диалогичку».¹⁴ Однако подобные толкования, как скоро выяснилось, противоречили концепции Бахтина; они уводили от Достоевского к его неизменному противнику — релятивизму в истине и морали. Вместе с тем они показали, какую реальную сложность представляет для исследователя постоянно сцепленная и борющаяся («весь борьба», — говорил Толстой) со своей противоположностью мысль писателя. Достоевский, если воспользоваться византийским термином, располагается, как некий «акрит», у самых границ идейного пространства русской литературы; в отличие от «акрита» ему эти границы сами по себе не важны,¹⁵

¹² *Кин Ц. И.* Вся литература — роман. — *Вопр. лит.*, 1975, № 10, с. 132.

¹³ *Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.

¹⁴ См. об этом: *Кожин В. В.* Предисловие к публикации плана работы книги М. Бахтина. — В кн.: *Контекст-1976.* М., 1977.

¹⁵ «Мы не считаем национальность последним словом и последнею целью человечества» (20, 179).

во важен и *непреложен* развиваемый русской литературой идеал общей правды; здесь идут непрерывные столкновения, заключаются союзы, происходят встречи и переходы — в разных направлениях и с разными целями. Необходимы особая четкость и внимание, чтобы не потеряться в этом внешнем беспорядке и пестроте.

Судьба Достоевского в литературе продолжает оставаться легкой. Его признание со стороны того, чему он беззаветно (без преувеличения) служил, постоянно осложнено его общением с «другими»; его правда пробивает себе дорогу тяжело и медленно, окруженная неправдой, которую он стремится поглотить. Но с каждым новым поворотом истории он находит себе новые подтверждения и воссоединяет с общей правдой русской литературы далекие, косные или противопоставленные ей начала. Он остается поэтому на всех ее этапах писателем спорных возможностей, исправляемых, изменяемых, но и набирающих силу с течением времени. Это и предсказал в 1846 г. Белинский: «Его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы».¹⁶

¹⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 9, с. 566.

ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ А. Ф. ВЕЛЬТМАНА
И Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Произведения Ф. М. Достоевского, появившиеся сразу после «Бедных людей», были приняты современной критикой весьма настороженно. Общий восторг, вызванный первым романом, скоро сменился «неприятным изумлением» (Белинский). В «Двойнике», «Господине Прохарчине», «Хозяйке» первые крики находили впечатление «самого неприятного и скучного кошмара», чего-то «темного, многословного и скучноватого», «допотопный язык», нарушение «приличия» и т. д.¹ Такая единомышленная реакция современников на произведения Достоевского 1846—1849 гг. объяснялась отходом молодого писателя от привычного метода изображения действительности, поисками нового способа постижения жизни и человека. Поиски эти оказались непонятными для читателей, но важными для автора. Уже в ранних произведениях Достоевский отходит от «физиологического» восприятия мира. Перенесение акцента на внутренний мир, психологию человека требовало нового метода изображения действительности, который еще не был разработан в литературе 1840-х гг. В связи с этим встает вопрос о генезисе художественного метода Достоевского, о том его «предтече», который мог дать первый толчок к зарождению этого метода.

Еще В. Ф. Переверзев предложил считать таким «предтечей» одного из представителей философско-интеллектуальной прозы 30—40-х гг. А. Ф. Вельтмана. «... В творчестве Вельтмана, — замечает Переверзев, — мы имеем младенческий лепет того художественного стиля, в котором строил свои произведения гениальный мастер авантюрно-психологического романа Достоевский».² Под «стилем авантюрно-бытового романа», который «таил в себе глубокое социальное содержание», Переверзев понимает новые черты индивидуального художественного метода Вельтмана, сказавшиеся прежде всего в изображении человека: «В Дмитрицком Вельтмана потенциально таится Раскольников, а в Саломее —

¹ См.: *Замогин И. И.* Ф. М. Достоевский в русской критике. Варшава, 1913. Ч. 1. 1846—1881, с. 22—32. См. также характерный отзыв К. С. Аксакова, противопоставившего «Бедных людей» остальным произведениям Достоевского (в письме к Ю. Ф. Самарину; ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 5, ед. хр. 33).

² *Переверзев В. Ф.* У истоков русского реалистического романа. М., 1965, с. 215.

Настасья Филипповна и Грушенька».³ Данный тезис исследователя, однако, не развернут.

Для читателей 30—40-х гг. А. Ф. Вельтман был писателем, хотя и известным, но «особенным», стоящим несколько в стороне от общего развития литературы. Талант его признавали, произведениями — восхищались, но одновременно сетовали на «непонятное». Вот характерный отзыв Белинского: «В его „Мартыне Задеке“ заметен какой-то намек на мысль глубокую и прекрасную, но эта мысль выражена так загадочно, все создание, по обыкновению, изложено так отрывочно, что, право, все это начало походить на злоупотребление таланта, на какой-то *фокус-покус* фантазии».⁴

В этом отзыве много сходного с восприятием Белинским «Хозяйки» или «Господина Прохарчина»: «фантастические рассказы»; «дивная загадка его (Достоевского. — В. К., А. Ч.) причудливой фантазии»; «Странная вещь! непонятная вещь!».⁵

По целому ряду свидетельств, Вельтман был одним из любимых писателей Достоевского периода его детства и юности. Особенно нравилось Достоевскому произведение Вельтмана «Сердце и думка» (1838),⁶ формой своего повествования напоминающее будущие зрелые произведения Достоевского.

Сопоставление Вельтмана и Достоевского важно еще и потому, что в творчестве Вельтмана впервые появилась проблематика, которая впоследствии стала определяющей в творческом облике Достоевского: тема «двойника», тема социальной маски и «роли», тема «любви-ненависти». Именно в творчестве Вельтмана появляются типы «мечтателя», типы «гордых» и «кротких» женщин и т. п. Иногда параллели, выявляемые здесь, настолько определены, что анализ их позволяет говорить о каком-то влиянии Вельтмана на формирование творческой индивидуальности Достоевского.

Рассмотрим наиболее яркие из этих параллелей.

І. Тип «мечтателя» у Вельтмана и Достоевского

М. М. Бахтин указывал, что «художественной доминантой построения героя» Достоевского является не изображение его внешности и не характеристика его через те или иные поступки, а прежде всего его самосознание. «Достоевский, — пишет Бахтин, — искал такого героя, который был бы сознающим по преимуществу, такого, вся жизнь которого была бы сосредоточена в чистой функции осознания себя и мира». Поэтому излюбленный герой Достоевского «фигурирует не как человек жизни, а как субъект сознания и мечты».⁷

³ Там же, с. 214—215.

⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 2, с. 116.

⁵ Там же, 1958, т. 10, с. 235.

⁶ См.: Достоевский А. М. Круг чтения юного Достоевского. — В кн.: Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973, с. 485; см. также: П., I, 78.

⁷ Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972, с. 84—85.

В качестве примеров подобного «излюбленного» героя можно привести и «подпольного человека», и Ивана Карамазова. Но начатки похожего моделирования мира и подобного отбора объектов художественного изображения составили и одну из специфических особенностей творчества Вельтмана. Вот тип «мечтателя», присущий как Вельтману, так и Достоевскому. Он возникает в повести «Кощей Бессмертный»: «Как хороша, как сладостна, как роскошна мечта! Между жизнью и мечтою есть большое родство, и потому уметь жить и уметь мечтать — две вещи, необходимые для житейского счастья». Вельтман специально подчеркивает: «Его (Ивы Олельковича, героя романа. — В. К., А. Ч.) мечтания не в будущем, а в настоящем; это доказывает и ум, и великую самостоятельную душу, которая не нуждается ни в чем, кроме прошедшего, чтоб создавать настоящее по произволу».⁸

Сходную оценку дает герою-«мечтателю» и Достоевский («Белые ночи»): «Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. <...> О, что ему в нашей действительной жизни! <...> он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним все, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу» (2, 115, 116).

Для этого типа людей мечта доминирует над реальностью. Жизнь воображения воспринимается как равноценная разновидность жизни реальной. И у героя Вельтмана, и у героя Достоевского мечта вызывает те же ощущения, которые дает реальная жизнь. Причем и сама параллель, и образная система, и формы решения проблемы, и даже стилистика — схожи.

«Кощей Бессмертный»: «Скажут, что это мечта... Отчего же у Ивы Олельковича так сладко бьется сердце? Отчего память его так искусно mutilась, что в состоянии была обмануть зоркие чувства? — Но точно ли это мечта? <...> Впрочем, может быть, мечта есть внутренняя жизнь наша? Кому не случалось от мечты быть веселым, от мечты быть печальным, сытым, пьяным, робким, храбрым, влюбленным, быть огнем, льдом, женщиной и мужчиной, всем и ничем?».⁹

«Белые ночи»: «И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь все это не призрак! <...> отчего же в такие минуты стесняется дух? отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные, увлажненные щеки и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его?» (2, 116).

«Мечтательство», уход от действительности в мир идеала — социально-характерная черта героя Вельтмана и Достоевского.

⁸ Вельтман А. Кощей Бессмертный: Былина старого времени. М., 1833, ч. 3, с. 184.

⁹ Там же, с. 188.

Но и тот, и другой рассматривают ее как художественную доминанту образа. Причем «мечтатель» у Вельтмана и у Достоевского очень далек от распространенного романтического типа мечтателя.

Упование на «мечту» являлось характерной приметой романтического мировосприятия:

... Завидное поэтов свойство:
Блаженство находить в убожестве — Мечтой!¹⁰

(К. Н. Батюшков «Мечта»)

Во-первых, и у Вельтмана, и у Достоевского «мечтательность» — это не «завидное свойство» героев, а своего рода болезнь. Находясь в мире мечты, они вовсе не находят в нем того «блаженства», которое ищут, уходя от действительности. Они либо обманывают себя, либо терпят крах при столкновении с реальностью. «Мечтатель» Достоевского остается один, будучи не в состоянии выйти из заколдованного круга своих грез. Иво Олелькович настолько ушел от жизни, что окончательно порывает с нею, переселяясь в мир иллюзий.

Во-вторых, у Вельтмана и Достоевского сферы реального и фантастического часто перекрещиваются. Грань между реальным и воображаемым настолько зыбка и условна, что подчас невозможно разграничить их. «Баба ли Яга, догонявшая Иву Олельковича на помеле, отыскав на дороге свою ступу, отправилась в ней, или какой-нибудь проезжий, полагая, что это простая ступа, толчая, взял ее как находку, только ступа исчезла с того места, где забыл ее беспамятный Лазарь» («Кощей Бессмертный»)¹¹. В фантазии героя Вельтмана Ивы Олельковича благополучно уживаются Кощей Бессмертный и польский красавец Воймир (функции обоих персонажей одинаковы: похищение невесты). И неясно, существует ли Кощей сам по себе, или он принял облик Воймира. Ту же функцию выполняют у Достоевского фигуры «двойника» Голядкина («Двойник»), Мурина-чародея («Хозяйка»), черта («Братья Карамазовы»).

В-третьих, своеобразной чертой стиля Вельтмана и Достоевского является нарочитая многословность, недосказанность, позволяющая скрыть подлинное авторское отношение к герою. Ни у того, ни у другого речь не идет ни о возвеличении, ни о развенчании типа «мечтателя». В системе повествования Вельтмана и Достоевского характерно отсутствие однозначных оценок. «Но и несчастье сладко, когда человек чувствует собственное презрение к несчастью. Силачу необходимо противосилие, как пища; он счастлив, когда встречает его. Так и Иве Олельковичу необходима борьба с Кощеем».¹² Серьезнейшая идея (об объективности

¹⁰ Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964, с. 228.

¹¹ Вельтман А. Кощей Бессмертный, с. 90—91.

¹² Там же, с. 187.

и необходимости ухода в мечту людей подобного типа) высказывается в шутливо-многословной форме. Тот же принцип отношения к слову рождает «балагурство» и кажущиеся пенужными отступления повествователя у Достоевского, которые весьма многочисленны.

II. Проблема социальной маски у Вельтмана и Достоевского

Герои одного из лучших романов Вельтмана «Саломея» (1846—1848, из цикла «Приключения, почерпнутые из моря житейского») находятся в постоянном движении, претерпевают постоянные метаморфозы. Так, например, офицер Дмитрицкий после проигрыша казенных денег вынужден скрываться и вычеркивается из списков живых; волею обстоятельств он превращается в «известного поэта К.», увозит из родительского дома Саломею Петровну Бронину, снова проигрывается в карты и превращается в слугу обыгравшего его шулера графа Черноморского; затем в самого графа, из графа — в арестанта, затем в купеческого сына Прохора Васильевича и т. д. Эта социальная неустойчивость героев позволила В. Ф. Перверзеву назвать их «социальными оборотнями». Дмитрицкий столь часто вынужден менять «роли», что постепенно приходит к мысли: почему он должен быть Дмитрицким, и остался ли он Дмитрицким, приняв на себя имя купеческого сына Прохора Васильевича?

Идея «маски» (чуждого «Я») — одна из излюбленных идей Достоевского, который считал, что неоднородность, сложность внутреннего мира человека, способность совмещать противоречивые черты ведет к тому, что люди часто играют определенную роль, которая может быть продумана заранее. Так, Петр Верховенский, идя на встречу со «своими», признается Ставрогину в том, что он решает надеть на себя определенную маску: «... я, конечно, решился взять роль. Самое бы лучшее совсем без роли, свое собственное лицо <...> Ничего нет хитрее, как собственное лицо, потому что никто не поверит» (10, 175).

Идеи Достоевского и Вельтмана одинаковы: принимая на себя «маску», «роль», человек теряет собственное лицо. Дмитрицкий соответствует требованиям всех своих «положений» именно потому, что его собственный облик аморфен. Верховенский рассуждает: «Ну-с, какое же мое собственное лицо? Золотая середина: ни глуп, ни умен, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди...» (10, 175).

Конечно, между метаморфозами героев Вельтмана (часто невольными) и сменой ролей и масок героями Достоевского есть некоторая разница. У Достоевского эта «смена» порождена более внутренними причинами («добровольное шутство» Федора Карамазова или Снегирева, «актерствование» Степана Верховенского и т. д.). Но и у Вельтмана «превращения» носят далеко не только внешний характер. Дмитрицкий не только невольный участник «маскарада», но и своеобразный идеолог. Он созна-

тельно отрицает подход к человеку как к чему-то постоянному, не имеющему права изменяться, выступает против категоричных, одноплановых оценок человека: «Всякое двуногое существо без перьев, от человека до опципанного петуха, зритель без платы, судья без оффиции <...> Кто спорит с разумными людьми, что каждый человек должен быть человеком; да ведь те же разумные люди сочинят роль человека, как их душе угодно, и изволь ее разыгрывать! <...> Людям ужасно как не хочется быть тем, что есть...».¹³

Аналогично рассуждение Федьки Каторжного («Бесы»): «У того (Петра Верховенского. — В. К., А. Ч.) коли сказано про человека: подлец, так уж кроме подлеца он про него ничего и не ведает. Али сказано — дурак, так уж кроме дурака у него тому человеку и звания нет. А я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его. <...> он человека сам представит себе да с таким и живет» (10, 205).

Человек стремится стать самим собой — но «каким образом возвратиться в себя»? Этот вопрос становится для героя Вельтмана Дмитрицкого неразрешимым. Неразрешимы и трагические коллизии потери «лица» у Достоевского (смена «личин» у Лебедева). «Актерствующий» персонаж характерен и для Вельтмана, и для Достоевского. Основной формой самораскрытия его становится монолог, рассчитанный на публику и произносимый на повышенных тонах, предназначенный как бы «для сцены», где нарушены обычные человеческие интонации.

«Саломея» (монолог Дмитрицкого): «О вторая природа! ты скверная природа! На первую свою природу не могу пожаловаться: душа хоть куда, славная, рабочая душа! а эти чувства — просто ужас! <...> Милый ты мой! на потеху ли создан ты себе и другим? Земной шар на драку, что ли, брошен вам, господа?».¹⁴

«Преступление и наказание» (внутренний монолог Раскольникова): «А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец! Ну как для такого первенца хотя бы и такую дочь не пожертвовать! О милые и несправедливые сердца! Да чего: тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй что, не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли?» (6, 38).

Вельтман видит в содержании человеческой природы именно ту трагическую «широкость», неустойчивость, текучесть, способность к мгновенным переходам от одного состояния к прямо противоположному, от одной социальной роли к другой, которую с такой тонкостью вскрывает на примере своих героев Достоевский.

¹³ Вельтман А. Ф. Приключения, почерпнутые из моря житейского: Саломея. М., 1957, с. 346.

¹⁴ Там же, с. 482.

III. «Двойник» у Вельтмана и Достоевского

В. Б. Шкловский заметил, что человек у Достоевского «раздвоен на самого себя и на свои тайные намерения». ¹⁵ Показ противоречивого, сложного внутреннего мира героя через введение особого персонажа — «двойника» — стал специфическим приемом Достоевского, не понятым современниками.

Между тем проблема «двойника» в том виде, как она рисуется у Достоевского, нашла отражение в творчестве Вельтмана. Характерным приемом писателя было внедрение в ткань бытового повествования фантастических, мифологических элементов («игра двупланностью», по выражению В. Ф. Переверзева). Наиболее резкое совмещение фантастики и бытового романа видим в «Сердце и думке», романе, о котором молодой Достоевский отзывался с восторгом. В. Ф. Переверзев считал, что прием «двупланности» в «Сердце и думке» оказался несостоятельным, потому что использовался не для создания комического эффекта. ¹⁶

Между тем «мифологическую трактовку двупланности» можно рассмотреть как переходный этап к психологической трактовке «двойничества» в произведениях Достоевского. Прием совмещения реального и фантастического используется сходно и Вельтманом, и Достоевским.

В романе «Сердце и думка» действует Нелегкий — черт «среднего ранга», цель которого — сеять раздоры между жителями уездного городка. Этот персонаж введен не только для создания комического эффекта (хотя ряд сцен, где действует Нелегкий, носит сатирическую окраску). Это «идеолог», олицетворение силы, враждебной человечеству. Характерен способ, с помощью которого Нелегкий искушает людей. Он ничем их не обольщает, ничего не предлагает. «Черт средней руки» пользуется только тем, что уже есть в человеческой душе. Он выявляет, усиливает минутные подозрения, случайное недовольство, «нашептывает на ухо» мысль, которая родилась в подсознании человека. Нелегкий как бы воплощает «тайные намерения» людей и тем самым приближается к «двойникам» Достоевского. Вот он шепчет на ухо полковнику:

«— Каков поручик-то! он и знать не хочет начальничьих приказаний!

— Да, да! — подумает в ответ ему полковник.

— Отдан приказ не ходить в фуражках, а он в фуражке прогуливается по городу, да еще уверяет, что в бапю шел.

— Да, уверяет! Кивер ему помешал в баню идти!

— Разумеется... а ротный командир, надеясь на заступничество батальонного командира, потекает ему...

— Потекает, решительно потекает!

¹⁵ Шкловский В. Собр. соч. М., 1974, т. 3, с. 190.

¹⁶ Переверзев В. Ф. У истоков русского реалистического романа, с. 179.

— Да он не увернется: при первом разводе, малейшая ошибка, или взвод собьется с равнения, с дирекции или, что еще и более, с ноги — под арест да и только!

— Непременно под арест!».¹⁷

В этом диалоге, кажется, развернуто то психологическое явление, о котором говорит Версиков («Подросток»): «Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь <...> и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь; и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и бог знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил хотите» (13, 408, 409).

Диалоги Нелегкого в «чистом» виде напоминают схему полифонических монологов Достоевского: спор с самим собой. Нелегкий исходит только из «содержания» человеческой души и, превращаясь в «двойника», воздействует на нее же, становясь воплощением негативных сторон человеческой природы. Ставя своей задачей остановить развитие человечества, Нелегкий предлагает следующий способ действия: «Одно средство: сбить их сомнениями в истине понятий; народить разногласных систем, и сделать истину не одностороннею, не двухстороннею, но многостороннею, чтоб каждый человек имел свое собственное понятие и сам сомневался в нем; завидовал бы понятиям других и вместе противоречил им».¹⁸ Этот манифест Нелегкого в зародыше содержит одну из характернейших идей Достоевского (см.: «Зимние заметки о летних впечатлениях» — 5, 78) и служит своеобразным обоснованием запутанности психологического облика человека, правоты полифонического изображения его.

Нелегкий в «Сердце и думке» — такой же символ, как черт в «Братьях Карамазовых». Близки их функции, одинаков их способ действия, совпадают их характеристики. «... я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбив», — признается черт у Достоевского (15, 82). Нелегкий развивает эту мысль: «... я не честолюбив и не искателен, притом же величина ничего не значит <...> из одного человека можно больше сделать, нежели из миллиона голов; один в миллион раз лучше миллиона: одного можно так раздуть, что он в состоянии будет съесть полчеловечества».¹⁹ У черта тоже «своя арифметика»: «Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен; одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия» (15, 80).

Таким образом, пути создания образа «двойника» у Достоевского и Вельтмана аналогичны.

¹⁷ Вельтман А. Сердце и думка: Приключение. М., 1838, ч. 1, с. 97.

¹⁸ Там же, ч. 4, с. 166.

¹⁹ Там же.

Количество примеров и число параллелей можно было бы значительно увеличить. Но не в них дело. Думается, писателя А. Ф. Вельмана можно рассматривать как «предтечу Достоевского» не только в широком общелитературном плане, но и в плане создания некоторых особенностей того метода художественного постижения действительности, который связан в нашем сознании с именем Ф. М. Достоевского.

ЛЕРМОНТОВСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

Отношение Достоевского к творческому гению Лермонтова достаточно ясно выразилось в его словах, произнесенных за полгода до смерти в беседе с Е. П. Опочининым: «Какое дарование!.. 25 лет не было, он уже пишет „Демона“. Да и все его стихи — словно нежная чудесная музыка. Произнося их, испытываешь даже как будто физическое наслаждение. А какой запас творческих образов, мыслей, удивительных даже для мудреца».¹

Лермонтов — создатель первого в русской прозе «личного», или «аналитического», романа, стержнем которого в первую очередь служит личность человека — его духовная и умственная жизнь, исследованная изнутри как процесс; как известно, именно развитием художественного психологизма отличается творчество Достоевского, которого — несмотря на глубокое своеобразие его как художника — можно с уверенностью назвать восприимчивым основных принципов психологической поэтики Лермонтова-прозаика.

Если роман вообще, по меткому выражению А. Бестужева-Марлинского, есть «разложение души, история сердца»,² то этим определением в первую очередь могут быть обозначены и роман о беспокойном сердце Печорина, и все романы Достоевского, который является создателем особого вида романа-трагедии, где «истории сердец» находятся в антагонистическом соотношении с действительностью, а нравственный маятник душ персонажей качается от полюса добра к полюсу зла, не зная середины и покоя.

Углубленность самоанализа Печорина, выступающего в «Герое нашего времени» и в роли объекта изображения, и в роли субъективного исследователя собственных переживаний (что уже содержит элементы двойничества и «подполья», столь характерных для Достоевского), тот иссушающий душу процесс раздвоения, который позволил Ап. Григорьеву сказать, что Печорин «весь съеден анализом»,³ приводит его к идеологическому и жизненному краху: в процессе самоанализа и размышлений, в основе которых лежала повышенная рефлексия («Во мне два человека,

¹ Звенья. М.; Л., 1936, т. 6, с. 470.

² Цит. по кн.: История русского романа. М.; Л., 1962, т. 1, с. 279.

³ Там же, с. 311.

один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит»), — Печорин приходит к скептическому отношению к действительности. А скептицизм, как известно, подобен цепной реакции, при которой разрушение одного звена влечет за собой разрушение всех остальных; высвобождающаяся энергия неподвластна контролю. Не избежал этого и Печорин. Все лица романа, так или иначе взаимодействующие с ним, понесли моральные потери или погibli, оказавшись в сфере действия этой негативной разрушительной энергии, которая нашла свое внешнее отражение в отчужденности, холодности и молчаливости Печорина.

Несомненно, что эта внешняя форма поведения Печорина отразилась в архитектонике образа главного героя «Бесов» Ставрогина, который, как отмечает Достоевский в черновиках к роману, «по-печорински» не заговаривает с Лизой (11, 214). Подобное высказывание Достоевского уже свидетельствует о глубокой значимости для него печоринской молчаливости как выражения одной из доминирующих черт характера героя. Ведь недаром когда мы вспоминаем облик Ставрогина, то в первую очередь мысленно воспроизводим неподвижную маску его лица и высокомерное молчание. Подобная физическая особенность проистекает из общего обозначения Ставрогина как символа отрицания движения и устремленности вперед: ведь трагедия героя «Бесов» заключена как раз в невозможности осуществления в нем прорыва к возрождению, что приводит Ставрогина к духовному распаду и затем к самоубийству.

А ведь скептик и эгоист Печорин в ранней своей молодости был мечтателем, что особо подчеркнуто Лермонтовым! Достоевский, изображая судьбы некоторых своих героев, укрупняя, продолжает эту тему: «мечтатели» трансформируются в его творчестве в антигероев «подполья»; те, в свою очередь, явились базой для создания в середине 60-х гг. образов «великих грешников». Одновременно «подполье» во многом формирует и тип «гордого человека».

Как справедливо отметил В. А. Туниманов, самоанализ Печорина (бывшего мечтателя, напомним мы) — «предтеча подпольной психологии героев Достоевского»,⁴ и если байронический герой Лермонтова, герой разочарования, еще отмечен знаком демонической силы и определенного положительного интереса к жизни, пусть эгоистического, то у Достоевского этот герой уже преобразуется в тип «подпольного» человека, издевающегося над «шиллеровщиной» и самим «байронизмом», отрицающего как смысл жизни, так и саму жизнь и замкнутого в порочном круге собственной раздвоенной личности, — гордый «демон» превращается в мелкого «беса».

Образ Ставрогина может служить примером такого идеологического снижения. Г. М. Фридендер отмечает: «По замыслу До-

⁴ Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 143.

стоевского, образ Ставрогина должен был стать новым, по сравнению с его предшественниками, полемически окрашенным, сниженным вариантом в развитии темы романтического „демонизма“». ⁵ Ф. И. Евнин, указывая на гегезис Ставрогина и на его место в цепи «лишних людей», которой скреплена вся литература XIX в., поясняет: «К кругу литературных предшественников Ставрогина, на наш взгляд, можно в той или иной мере причислить героев ранних поэм и „Демона“ Лермонтова, Арбенина из „Маскарада“, Печорина, пушкинского Алеко, отчасти даже Евгения Онегина».⁶

Пародийные и полемические переосмысления и снижения являются характернейшими чертами использования художественной системы Лермонтова в творчестве Достоевского. В круг его критического подхода к лермонтовским героям попадает Арбенин, герой драмы «Маскарад». Устами Коли Иволгина («Идиот») Достоевский выразил иной взгляд на те принципы чести и долга, чем тот, который присущ герою лермонтовской драмы. Иволгин говорит: «А знаете, я терпеть не могу этих разных мнений. Какой-нибудь сумасшедший, или дурак, или злодей в сумасшедшем виде даст пощечину, и вот уж человек на всю жизнь обесчещен и смыхать не может иначе как кровью, или чтоб у него там на коленках прощенья просили. По-моему, это нелепо и деспотизм. На этом Лермонтова драма „Маскарад“ основана, и — глупо, по-моему. То есть, я хочу сказать, ненатурально. Но ведь он ее почти в детстве писал» (8, 100—101). Конечно, следует иметь в виду максимализм, свойственный юному герою «Идиота», а также и то, что Иволгин — представитель поколения нового, разночинного периода истории России, дуэли для него уже являлись аристократическим предрассудком, чего нельзя сказать о людях начала XIX в., жизнь которых нашла свое отражение в «Маскараде». Однако короткая запись в черновиках Достоевского свидетельствует о его солидарности с приведенным высказыванием Иволгина, и в записи этой отчетливо прочитывается осуждение Достоевским как Арбенина, так и самого Лермонтова, который, по метким словам Герцена, «влачил груз скептицизма через все свои мечтания и наслаждения».⁷ Достоевский отмечает в одной из своих дневниковых записей: «Лермонтов <...> *давление личности самой на себя* <...>, драма „Маскарад“ — начало, дуэль Лермонтова — конец» (21, 267). В этой короткой записи уже четко формулируется мнение Достоевского о том, что «арбенинское» начало предопределило судьбу самого автора «Маскарада».

Пародийным снижением арбенинского типа характеризуется эпизод «Записок из подполья», где Антигерой, мчась в санях за

⁵ Фридендер Г. М. Романы Достоевского. — В кн.: История русского романа, 1962, т. 2, с. 240.

⁶ Евнин Ф. И. Роман «Бесы». — В кн.: Творчество Достоевского. М.; Л., 1959, с. 254.

⁷ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956, т. 7, с. 225.

обидчиком и желая дать тому пощечину за оскорбление, вдруг осознает, что все те сладостно-мучительные мысли, которыми он распаляет свое воображение, вся та бурная музыка, которая звучит в его душе, возбужденной столкновением с реальной жизнью, — всего лишь «из Сильвио и из „Маскарада“ Лермонтова» (5, 150). От этой мысли Антигероею становится стыдно «до слез» — он останавливает извозчика и выходит в снег посреди улицы, после чего, однако, все-таки продолжает путь (такая противоречивость полностью лежит в глубинных чертах его характера). Обстановка, в которую он попадает в поисках обидчика, Зверкова, — публичный дом — снижена по отношению к обстоятельствам мести в «Выстреле» и «Маскараде» так же, как снижены сами образы обидчиков и сущность обиды. Если Неизвестному, носителю рокового начала в «Маскараде», в мести открылся «новый свет»; «мир новых, странных ощущений», «мир <...> самолюбивых душ и ледяных страстей», то Антигероею открылся совсем иной вид: «...беспорядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки папирос, хмель и бред в голове». Если в «Выстреле» и «Маскараде» жены обидчиков должны были своим присутствием усугубить удовлетворение мстительного чувства, то в мыслях Антигероя, несущегося в публичный дом за Зверковым, они заменены на проститутку (одна из которых, кстати, и подвергается его «мести», что является, пожалуй, одним из самых эффектных штрихов в духовной характеристике Антигероя). Обидчик, хвостун и фанфарон Зверков, является пародийным снижением обидчиков «Выстрела» и «Маскарада» — аристократов графа Н. и Арбенина, ну, а в Антигерое высокий байронический, демонический эгоцентризм героев Пупкина и Лермонтова вырождается в пошлый индивидуализм (чаепитие и судьбы мира).

Как было указано, диапазон функционирования лермонтовского творчества в произведениях Достоевского очень широк. Порой читатель сталкивается со случаями, когда Достоевский использует стихотворное наследие Лермонтова для подчеркивания трагизма разворачивающихся событий в своих романах. Например, последними связными словами Катерины Ивановны («Преступление и наказание») оказываются строки из стихотворения Лермонтова «Сон» (1841). Умиравшая Катерина Ивановна вскрикивает, «задыхаясь на каждом слове, с видом какого-то разставшего испуга:

В полдневный жар!.. в долине!.. Дагестана!..
С свинцом в груди!..»

(6, 333),

далее — бред и агония.

Думается, выбор двустипшия не случаен (чахотка — и «жар», «свинец в груди»). Остается также ощущение, что Достоевский вводит цитату не только для того, чтоб усилить патетику сцены

агонии, но и для того, чтобы еще раз напомнить читателю о том, о чем часто напоминала при жизни сама Катерина Ивановна — о ее дворянском («аристократическом») происхождении из семьи образованных людей, где любили музыку и поэзию, что также вспоминается ей в предсмертные минуты. Интересно отметить, что охарактеризовать Катерину Ивановну через это стихотворение Достоевский задумал еще в черновиках, где под рубрикой «Кат. Ивановна» приведена первая строчка из этого стихотворения (7, 203).

Еще пример: записка молодого князя Сокольского («Подросток»), составленная перед самоубийством, оканчивается строчкой из стихотворения Лермонтова 1841 г. «Они любили друг друга так долго и нежно». Перед нами — еще один образец последних слов самоубийцы. Князь пишет: «Суд оправдал меня, но я не хочу этой милости. Кончаю с жизнью потому, что она мне отвратительна. После первой боли рана Лизы залечится, и она будет помнить обо мне с добрым чувством. Но если б я остался жив, я бы и измучил, и истощил ее сердце, и она, наверно, разлюбила <бы> меня и стала презирать. Я знаю, что она не вынесет моего характера. Даже всё время не мог понять, за что могла она полюбить меня. Последняя минута. Образ Лизы со мной. Лиза, прощай и прости! Помнишь стих Лермонтова: „Но в мире лучшем друг друга они не узнали“» (16, 304). Выбор именно этого стиха, повествующего о драматической любви, перенесенной в вечность, диктуется, очевидно, самим смыслом отношения молодого князя Сокольского к Лизе, которую он, любя, не желает мучить при жизни и переносит это чувство в «мир лучший».

Строчку из лермонтовского стихотворения «И скучно, и грустно...» цитирует мальчик Тришатов («Подросток») в критические минуты своей жизни.

Примеры можно было бы продолжить. Ясно одно — Достоевский охотно прибегает к помощи лермонтовской лирики в тех случаях, когда ему надо подчеркнуть трагичность происходящего.

С тактикой *сатирического укрупнения* характерных черт русского дворянства посредством цитации «Думы» Лермонтова можно столкнуться в памфлете Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях». Рассуждая о развитии русской общественной и литературной жизни, размышляя о «дедах» и о том, в какой степени коснулось их европейское Просвещение XVIII в., Достоевский пишет: «Одним словом, все эти господа были народ простой, кряжевой; до корней не доискивались, брали, драли, крали, спины гнули с умилением, и мирно и жирно проживали свой век „в добросовестном ребяческом разврате“» (5, 57).

В «Селе Степанчикове и его обитателях» Достоевский использует имена Лермонтова и Пушкина для того, чтобы усилить *гротескную шаржировку* образа Фомы Фомича Опискина, графомана, причисляющего себя к представителям «словесности», однако знакомого с творчеством Лермонтова и Пушкина по сбор-

нику «Незабудочка».⁸ Достоевский «заставляет» Опискина с апломбом возмущаться «безнравственностью» русской литературы, которая, по его мнению, воспеваает «незабудочки» в то самое время, когда народ поет непотребные песни и пляшет комаринского, «апофеозу пьянства». «Удивляюсь я... — восклицает Фома Опискин, — что ж делают после этого все эти современные литераторы, поэты, ученые, мыслители? Как не обратят они внимания на то, какие песни поет русский народ и под какие песни пляшет русский народ? Что ж делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны? Удивляюсь! Народ пляшет комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то *незабудочки!* Зачем же не напишут они более благонаправленных песен для народного употребления и не бросят свои *незабудочки?* Это социальный вопрос!» (3, 68). Предоставляя Опискину подобным образом «бичевать» «антинародность» и «безнравственность» русской литературы, Достоевский тем самым издевается над ограниченностью его рутинного ума, в котором имена Лермонтова и Пушкина (во множественном числе!) сочетаются с именем Бороздны, третьестепенного поэта начала XIX в., а все необъятное творчество корифеев русской поэзии вмещается в дамский альбом. Недаром словом «незабудочки» (еще много раз произнесенным Опискиным в этом монологе) Достоевский ограничивает кругозор Опискина.

Обращает на себя внимание *употребление образов и имени самого Лермонтова* в творческих черновиках и романах Достоевского в нарицательном смысле. «Печорины-сердцееды!» — восклицает возмущенный Липутин («Бесы»). Начав с осуждения Ставрогина за волокитство и кончив осуждением *всего* помещичьего сословия — «помещики с крылушками, как у древних амуров, Печорины-сердцееды!» (10, 84), — Липутин превращает тем самым имя Печорина в некий, эталон дон-жуанства. Этой репликой Достоевский подчеркивает неприязнь разночинца Липутина к высшему сословию.

Характерна реплика Хроникера «Бесов» («я», чрезвычайно близкое авторскому), который, сатирически пересказывая поэму Кармазинова «Мерси», замечает, что в ней и «казенный припадок байроновской тоски», и «что-нибудь из Печорина» (10, 367). Это нечто «из Печорина» звучит почти издевательски, но, по справедливому мнению В. И. Левина, «ожесточение Достоевского против Печорина вполне закономерно, оно целиком — в духе времени», ибо Достоевский видел в Печорине «определенный, широко распространенный социальный тип», в котором слились «черты „демона“ и „лишнего человека“»,⁹ а измелчание этого типа, по мнению писателя, привело к «бесовству», к нигилизму, низвергающему Россию в пучину сословного непонимания и ненависти.

⁸ Этот сатирически обыгранный Достоевским сборник вышел в Петербурге в 1852 г. и назывался «Незабудочка. Дамский альбом».

⁹ Левин В. И. Достоевский, «подпольный парадоксалист» и Лермонтов. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1972, т. 31, вып. 2, с. 55.

Недаром Печорин назван Достоевским «уродливейшим калекой» (16, 415) и «поэмой мелкого самолюбия» (16, 329).

В подготовительных материалах к «Бесам» Достоевский называет Лизу «Лермонтовым в юбке» (11, 197). Фраза стоит особняком, нет конкретных указаний или намеков на то, какие именно черты характера поэта имел в виду Достоевский, но факт остается фактом: фамилия Лермонтова звучит нарицательно, и сам собой напрашивается вывод о том, что в творческой лаборатории Достоевского Лермонтов фигурирует не только как поэт и прозаик, но и как личность с ярко выраженными чертами характера. Скорее всего, это черты скептицизма, пессимизма и мизантропии, в определенной мере, по мнению современников, присущие Лермонтову (и в приглушенном, трансформированном виде — Лизе). Вообще для творчества Достоевского очень характерны женщины — носительницы черт «байронизма» и «демонизма»: Катерина Ивановна, Дуня Раскольников («Преступление и наказание»), Полина («Игрок»), Настасья Филипповна («Идиот»), Анна Версилова («Подросток»), гордая Красавица из черновиков разных лет и другие. Ведь недаром в тех же «Бесах», но уже в окончательном тексте Достоевский проводит экстравагантное сравнение между злобой Ставрогина и «злобой» Лермонтова. В связи с пощечиной, полученной Ставрогиным от Шатова, Достоевский говорит о «бесконечной» злобе, которая временами одолевала главного героя «Бесов», о злобе целенаправленной и расчетливой. Писатель сравнивает Ставрогина с «иными прошедшими господами», в частности с декабристом Луниным, и резюмирует: «В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л—на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, *разумная*, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть» (10, 165). Это важный штрих в характеристике Ставрогина, ибо «нахождение» его по шкале зла очень важно Достоевскому как автору, подробно исследующему образы посетителей зла. Вместе с тем здесь явственно звучит упрек в «злобе» Лермонтову, хотя и скрашенный тем, что ей противопоставлена (о чем говорит предлог «но») «холодная», «спокойная», «разумная», то есть рассудочная, и поэтому «самая отвратительная и самая страшная», злоба Ставрогина. Тем самым Достоевский косвенно указывает на то, что «злоба» Лермонтова, если она и имела место, то была совсем иного происхождения и иного качества, чем злоба Ставрогина. Скорее всего, Достоевский имел в виду резкую ожесточенность и «взрывоопасность» характера Лермонтова, так сказать, форму, а не содержание «злобы». Комментаторы «Бесов» справедливо считают, что «упоминание в таком контексте имени Лермонтова, вероятно, основано на целом ряде свидетельств современников» о резких чертах характера Лермонтова (12, 295). Кажется вероятным, что имя Лермонтова появилось в столь странном сопоставлении еще и потому, что Достоевскому

была свойственна тенденция к отождествлению личности Лермонтова с его «байроническими» героями, и он во многом судил о поэте по характерам Арбенина, Мцыри, Демона или Печорина. На наш взгляд, это важная тенденция, проливающая свет на многие детали отношения Достоевского к Лермонтову. Выходит ряд зеркал: Печорин, как и Арбенин, без сомнения, в какой-то степени отразил духовный мир Лермонтова и сам, в свою очередь, отразился в Ставрогине, который, будучи противопоставлен Лермонтову в «холодной» и «разумной» злобе, «знаменует вырождение „байронического“ типа, утратившего энергию, силу и поэзию, характерные для эпохи Лунина и Лермонтова».¹⁰

Об отождествлении в художественном сознании Достоевского Лермонтова с его героями, черт личности поэта и его персонажей говорит ряд записей в статьях и записных книжках Достоевского. К примеру, писатель, вспоминая кумиров своей молодости, прямо называет Лермонтова именем героя его поэмы: «Были у нас и демоны <...> их было два, и как мы любили их...» и далее подчеркивает, что из двух «демонов»: Лермонтова и Гоголя — люди его поколения больше любили и понимали Лермонтова, хотя и «не соглашались с ним иногда» (18, 59). В свете этого высказывания по-повому выглядит мнение А. А. Блока (в статье «Безвременье») о том, что «нам окончательно понятен Достоевский только через Лермонтова и Гоголя».¹¹

В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский вскрывает основу противоречивости личности Лермонтова, который «и байронист-то был особенный... вечно неверующий в свой собственный байронизм». Не тут ли отчасти отгадка таинственной обреченности, о которой говорится в уже цитированной дневниковой записи о Лермонтове: «Лермонтов <...> *давление личности самой на себя...*» (21, 267)?

Интерес Достоевского к прозе Лермонтова активизировался во второй половине жизни писателя начиная с набросков 1870-х гг. («Житие великого грешника»). Затем в черновиках к «Бесам» возникает тема печоринства, тесно связанная с генезисом образа Ставрогина, а на первый план проступает заинтересованность структурой лермонтовского романа, которую Достоевский мыслил положить в основу построения «Бесов». В 1870 г., столкнувшись с проблемой постановки главного героя в «Бесах», Достоевский обращается за помощью к «Герою нашего времени». Большими буквами, обведенными рамкой, он пишет в черновике: «СТ<У-ДЕНТ> В ФОРМЕ „ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“» (11, 115). Тут же он конкретизирует задачу: «... Гр<ановски>й объясняется с сыном: „Ты кстати приехал. Я хочу жениться“ — и т. д. И потом всё связать с сыном и с отношениями Гр<ановского> к сыну (всё от него — как от «Героя н<ашего> времени»)» (11, 115). Есть мнение, что «... Достоевский ориентируется на форму лер-

¹⁰ Лермонтовская энциклопедия, с. 144.

¹¹ Блок А. Собр. соч. М.; Л., 1962, т. 5, с. 79.

монтовского „Героя нашего времени“, где история главного персонажа связывает ряд новелл в единое органическое целое» и что «вскоре, однако, Достоевский отказывается от этого намерения, справедливо усомнившись в способности своего хлестаковствующего нигилиста занять в романе место подобное тому, которое занимал Печорин» (12, 178). Нельзя с этим не согласиться, хотя хотелось бы все-таки подчеркнуть, что *ориентация на форму лермонтовского романа не исчезает, а смещается* — вместо Петра Верховенского центральное, «печоринское», место занял другой персонаж, Ставрогин, прямо связанный с Печориным и лермонтовской традицией «байронического» героя, хотя и сниженной, переосмысленной и преображенной. Это связано не с отказом от принципа построения «Бесов» по образу и подобию «Героя нашего времени», а с необходимостью замены главного героя, с выходом на первое место Ставрогина. Размышления писателя над формой лермонтовского романа безусловно оказали Достоевскому существенную помощь в строительстве «Бесов».

Еще одним интересным доказательством большой заинтересованности Достоевского «Героем нашего времени» может служить запись в набросках конца 1869—начала 1870 г., где, решая показать «подробный психологический анализ» того, «как действуют на ребенка произведения писателей» (9, 131), Достоевский из всей массы известных ему имен и произведений останавливается именно на романе Лермонтова. Хочется напомнить в этой связи, что Достоевский не раз прибегал к сознанию детей как к лакмусовой бумажке и не раз проводил сквозь сознание детского ума произведения тех или иных авторов. Самые дорогие писателю произведения апробируются на детском восприятии, и то, что роман Лермонтова был выбран Достоевским — наряду с повестями Карамзина, «Тарасом Бульбой» Гоголя, «Евгением Онегиным» Пушкина, — уже говорит о многом.

Лермонтов и Достоевский — тема поистине неисчерпаемая. Кроме типологических и генетических нитей, которыми связаны некоторые герои обоих писателей, в поэзии и прозе Лермонтова имеется целый ряд идейно-художественных находок, получивших впоследствии свое отражение и развитие в творчестве Достоевского, одной из характернейших черт которого было бережное и любовное отношение к родной литературе и внимательное, вдумчивое прочтение ее вершинных произведений. Ведь Достоевский не только и не просто восхищался Лермонтовым. Углубленно изучая его произведения, проникая в их многокрасочный мир, он учился у него, своеобразно претворяя и преломляя в своем собственном творчестве его достижения. Причем можно наблюдать как связанную с переосмыслением преемственность идейной стороны лермонтовского наследия, обильную цитацию лермонтовской лирики, так и модифицированное развитие прозаической формы «Героя нашего времени» в строительстве романов Достоевского.

ПЕТИ-ЖЕ В «ИДИОТЕ»

Рассказ в рассказе — распространенный прием в литературе, а пети-жэ как организация нескольких рассказов внутри произведения искусства еще более обнажает формально-художественный принцип, имеющий славную традицию, уходящую корнями в новоевропейской литературе по меньшей мере в эпоху Возрождения.¹

Для нашей работы важно напомнить известный факт о значении пети-жэ для Достоевского. При подготовке нового варианта «Двойника» Достоевский впервые упоминает о пети-жэ у Клары Олсуфьевны, добавляя: «В *Голядкина*, большая и самая капитальная сцена» (1, 434). Следовательно, уже тогда с пети-жэ автор связывает возможность большой, содержательной идейной нагрузки изображаемых событий. Тот факт, что пети-жэ реализуется как эпизод в «Идиоте», лишь подтверждает значительность этой игры — формальной организации содержания характеров и взаимоотношений героев для общей эстетической и художественной системы романа.

Пети-жэ происходит в тот вечер, когда Настасья Филипповна принимает гостей в день своего рождения. Из одиннадцати присутствующих в пети-жэ участвуют четверо, и уже это чрезвычайно существенно для нас по следующей причине. «Декамерон» и рядом с ним «Нентерберийские рассказы» (а далее — «Гештамерон» и следующая за ними литература этого жанра) требовали участия всех присутствующих, что, с одной стороны, объясняло причины появления того или иного персонажа (и его рассказа) в повествовании, с другой — превращало рассказы присутствующих в систему, находящую обоснование лишь во внешнем факте присутствия того или иного числа рассказчиков и не обладающую внутренним, психологическим, если угодно, мотивированием раз-

¹ Нас интересует именно европейская литературная традиция, наиболее существенно отразившаяся в развитии русской литературы. Поэтому мы не касаемся сложности вопроса в целом, ибо тогда нам следовало бы, во-первых, идти к истокам, каковыми будут «Диалоги» Платона и следующая за ними традиция, о чем писал А. Ф. Лосев; во-вторых, учитывать подобное же явление в литературе Индии («Калила и Димна», «Сорок рассказов поугая» и др.), арабской литературе («Тысяча и одна ночь» и др.), в литературе Дальнего Востока (например, «Трое храбрых, пятеро справедливых») и т. д.

вертывания самой системы (это наглядно иллюстрируется как формальной заданностью числа рассказчиков в «Декамероне», так и возможностью вообще менять число участников «литературных вечеров»).²

Кроме того, своеобразно пяти-жѣ у Достоевского и по отношению к реальной светской забаве. Она-то ведь тоже требовала участия *всех присутствующих* (об этом напоминает жребий, в соответствии с которым устанавливается последовательность рассказов присутствующих, исключая дам), а пяти-жѣ в романе нарушает это правило, позволяя участие в нем только желающих, что немедленно обогащает содержание сцены акцентом на самих играющих и тем, что они сообщают слушателям.

Примечательны объяснения и место появления пяти-жѣ в «Идиоте». Игра начинается между героями, уже получившими определенную характеристику в предшествующих главах романа, собравшихся вместе не только из-за внешних обстоятельств (отметим, что именно внешний фактор объединял действующих лиц в «Декамероне» и других произведениях) — для рождения, но и потому, что в этот вечер должны распутаться узлы, связавшие в клубок интересы и судьбы героев повествования. Это обстоятельство сразу же усложняет пяти-жѣ прежде всего тем, что игра фактически есть продолжение рассказа и продолжение бытия героев; далее потому, что литературный прием (рассказ в рассказе) растворяется внутри целостного художественного произведения (снимается самоценность пяти-жѣ); наконец, игра, имеющая свою логику и свои закономерности, детерминирована еще и логикой и законами действительности, создаваемыми автором «Идиота».

По жребию вышло так, что первую историю должен рассказать Фердыщенко — автор своеобразного характера этой салонной игры. После длительного паясничанья и ложного самоуничтожения он приступает к рассказу, но вот что интересно. Его рассказ с самого начала им же объяснен как готовая литературная форма: «Нас однажды компания собралась, ну и подписали это, правда, и вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый из нас, не вставая из-за стола, рассказал что-нибудь про себя вслух, но такое, что сам он, по искренней совести, считает самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжение всей своей жизни <...> Разве опять про то же самое воровство рассказать...» (8, 120, 122). И спустя некоторое время Фердыщенко, кривляясь и провоцируя слушателей, рассказывает действительно грязную историю о том, как он три года назад украл три рубля, причем *грязность* состоит не в самом факте кражи (как хотел бы пред-

² Это, конечно, не отрицает содержательной значимости вставных рассказов. В европейской традиции известно использование вставных рассказов для более глубокого проникновения в сущность событий и психологию героев. Можно вспомнить и «Рукопись, найденную в Сарагосе» Я. Потоцкого, где изощренное использование приема «держит» на себе всю сюжетную систему. Понятно, поэтому, что мы описываем один из вариантов использования формальной организации текста.

ставить, что весьма характеристично, Афанасий Иванович Тоцкий — «это психологический случай, а не поступок» — (8, 124), а в последствиях его для служанки, оставшейся без места и скомпрометированной.

Однако жизненный и «литературный» факт рассказа Фердыщенко имеет существенное оправдание, которое мы должны не упускать из виду:

«— Как это грязно! — вскричала Настасья Филипповна.

— Ба! Вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок и при этом блеска требуете! Самые скверные поступки и всегда очень грязны, мы сейчас это от Ивана Петровича услышим...» (8, 124).

Фердыщенко обращает внимание на действительную противоречивость ситуации: *рассказ* о безнравственном поведении это ведь и *подлинно* нравственное поведение рассказывающего. С первого взгляда, формально, рассказ Фердыщенко входит в эту внутренне противоречивую нравственную коллизию. Духом же рассказа, отношением к событию Фердыщенко раскрывает пиничность и эгоизм своей натуры. Поступок трехгодичной давности отчужден от настоящего для Фердыщенко, это сюжет истории, бывшей с каким-то Фердыщенко, сюжет, «литературно обработанный» настоящим Фердыщенко.

Но события разворачиваются далее, и новый сбой в игре наступает в отказе Птицына сообщить слушателям какую-либо историю из своей жизни. Две причины по меньшей мере объясняют этот отказ. Не тот человек Птицын, чтобы участвовать в самораздевании, пусть даже и игрового характера. Не тот человек Птицын, который вошел бы в драматическую коллизию, объединяющую участников пети-жё. Его «внеположность» драматической сцене и определила выход из игры, но сам поступок ставит пети-жё под угрозу срыва.³ И тогда подлинный организатор, душа, так сказать, пети-жё — Настасья Филипповна — «спасает» игру:

«— Генерал, кажется, по очереди следует вам, — обратилась к нему Настасья Филипповна, — если и вы откажетесь, то у нас всё вслед за вами расстроится, и мне будет жаль, потому что я рассчитывала рассказать в заключение один поступок „из моей собственной жизни“, но только хотела после вас и Афанасия Ивановича, потому что вы должны же меня ободрить, — заключила она рассмеявшись.

— О, если и вы обещаетесь, — с жаром вскричал генерал, — то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать; но я, признаюсь, ожидая очереди, уже приготовил свой анекдот...» (8, 125). Отметим интересующие нас обстоятельства. Прежде всего — перед нами снова литературный сюжет, приготовленный во время рас-

³ Да и Фердыщенко получил право рассказывать только потому, что «он, может быть, и полную правду угадал, предположив, что его с того и начали принимать, что он с первого разу стал своим присутствием невозможным для Тоцкого» (8, 117; курсив наш. — Э. В.).

сказа Фердыщенко. И, далее, это анекдот, следовательно, не столько подлинный случай, сколь законченная *литературная версия* (на что указывает Фердыщенко, говоря: «И уже по одному виду его превосходительства можно заключить, с каким особенным литературным удовольствием он обработал свой анекдотик» — 8, 125) подлинного случая, и *юмористическая характеристика* реального события, драматизирующая жесткие правила игры.

История, рассказанная Иваном Федоровичем Епанчиным, произошла чуть ли не тридцать пять лет тому назад. Но история эта «живет в сердце» генерала, «тревожит совесть» его, что прямо-таки беспардонно усилено концом «анекдота», где воин от коммерции сообщает о содержании в течение пятнадцати лет в богадельне «двух старушек на свой счет». И уже так заедает его совесть, что он считает необходимым в вечность перенести оправдание своей юношеской беспечности: «Думаю обратить в вековечное, завещав капитал» (8, 127).

Однако ряд фактов позволяют правильно раскрыть сущность рассказа и героя. Совесть мучает генерала, а рассказывает он анекдот. Рассказывает о сквернейшем поступке из своей жизни, но восторг и умиление могут охватить слушателя, поверившего в искренность и истинность рассказа. Да, кстати сказать, как уж тут не усомниться, когда Достоевский открыто сообщает об отношении война к событиям своей молодости и рассказу о событиях:

«— В самом деле, генерал, я и не воображала, чтоб у вас было все-таки доброе сердце; даже жаль, — небрежно проговорила Настасья Филипповна.

— Жаль? Почему же? — спросил генерал с любезным смехом и не без удовольствия отпил шампанского» (8, 127).

Перед нами явный поворот пети-жё от рассказов о реальных событиях к реальному вымыслу. История генерала, несомненно, тот литературный сюжет, который вызывает слезы умиления, но содержанием своим отстранен от жизни генерала, имеет уже определенную самооценку и лишь внешними признаками связан с лицом, излагающим его. И все-таки рассказ в основе своей — характеристика генерала Епанчина, только не та, которую хотел бы он иметь как действующее лицо сусально-приторной «трагедии». Ложь рассказа становится лживостью рассказчика, и в этом смысле анекдот есть подлинно глубокое раскрытие внутреннего мира Ивана Федоровича и его концепции жизни и ее смысла. Развертывание пети-жё, обретение им своей подлинной сущности, обращается в противоестественное (но естественное для рассказчика) извращение жизни, поступков и их оценки. И если сам Иван Федорович еще балансирует на грани вымысла и реальности, то уж совсем невероятную околесицу начинает нести Афанасий Иванович Тоцкий, окончательно очищающий пети-жё от налета жизнеподобия.

«Но очередь была за Афанасием Ивановичем, который тоже приготовился». Уже третий участник пети-жё ведет повествование не от сердца, а от ума, взвесив все возможные следствия из рас-

сказанной истории. Но для Тощкого (и его характеристики автором) и этого мало. «С необыкновенным достоинством, вполне соответствовавшим его осанистой наружности, тихим, любезным голосом начал Афанасий Иванович один из своих „милых рассказов“» (8, 127).

Это действительно *рассказ*, литературное произведение, что явно видно уже в той литературной реминисценции, о которой сообщает Тощкий. Мы имеем в виду параллель рассказа Тощкого с романом Дюма-сына «Дама с камелиями». «Драматизм» рассказа Тощкого и сконцентрирован на камелиях, следовательно, имеет не жизненное, а литературное основание, т. е. это «драматизм» той литературы, которая не вскрывает сущность жизненных конфликтов, а самозамкнута в пределах литературной традиции и мистифицирует самое себя.

Кроме того, структура рассказа Афанасия Ивановича выдержана в лучших традициях школярской поэтики, требующей соблюдения экспозиции, завязки, кульминационного пункта и развязки. Все, все это есть в рассказе Тощкого, есть даже ответвления сюжетной линии от основного стержня (куда как восхитителен эпизод состязания Тощкого с купцом Трепаловым), что свидетельствует о «несомненных» литературных способностях автора умилительной истории. Пети-жэ здесь доведено до высшего уровня совершенства, и как игра, как литературная система, оно обретает собственное содержание и подлинный смысл *для себя*. Литературно обработанная ахиня Афанасия Ивановича в пределах правил пети-жэ совершенно оправданна, и из всех участников *игры* именно он самый последовательный и самый лучший автор. Беда Тощкого в том, что, играя в пети-жэ, он продолжает жить, действовать, открывать свое «я» (для нас важно помнить, что пети-жэ происходит внутри системы романа и детерминировано обстоятельствами, на которые мы выше указали). Поэтому и получается, что самый лучший, самый последовательный и, скажем так, самый искренний *игрок* в пети-жэ оказывается самым лживым, самым беспринципным участником драматического столкновения характеров во время игры.

Пети-жэ, доведенное Тощким до высшего совершенства, вместе с тем обесмысливает действительность или, лучше сказать, извращает ее смысл, делает бессодержательной (в своем роде, как неоднократно и по разным поводам выражаются герои «Идиота») драматическую напряженность взаимоотношений действующих лиц. И вот со всей необходимостью правды жизни, характеров и обстоятельств Достоевский изменяет ход игры, когда Настасья Филипповна кладет конец затянувшемуся состязанию в красноречии. «Вы правы, Афанасий Иванович, пети-жэ прескучное, и надо поскорей кончить, — небрежно вымолвила Настасья Филипповна, — расскажу сама, что обещала, и давайте все в карты играть» (8, 130).

Фраза, помимо прочего, интересна тем, что обращением к Тощкому Настасья Филипповна возвращает к началу пети-жэ, вычер-

кивает его для себя, чтобы обрести подлинный смысл взаимоотношений, затуманенный красотами рассказов, и обнажить действительную суть отношений, характеров и мотивов поведения собравшихся на день рождения лиц. Но здесь заканчивается собственно пети-жэ и продолжается подлинное кипение страстей и столкновение интересов и судеб героев великого произведения русской литературы, целостный анализ которого не входит в задачу данной работы.

Теперь попробуем сделать определенные общие выводы из наблюдения за движением пети-жэ в романе Достоевского. Ранее мы отметили, что пети-жэ как литературный прием и как форма имеет достаточно длительную историю развития и разработки. Рассказ в рассказе в «Кентерберийских рассказах», «Декамероне», «Гептамероне» и т. п. был естественной и для того времени необходимой формой отражения многообразия открываемой проторенессансной и возрожденческой литературой реальной жизни. Условность совмещения внутренне не совмещенных сюжетов оправдывалась моральной или иной концепцией, подтверждаемой или опровергаемой рассказами и извне пришедшими обстоятельствами (чума, например, заставляющая нескольких лиц собраться вместе). Определившаяся тогда формальная организация целостного художественного произведения адекватна была выражаемому содержанию, и мы до сих пор естественно воспринимаем конструкцию и смысл этих художественных произведений. Однако реальный историко-литературный процесс к первой половине XIX в. существенным образом внес коррективы в устоявшуюся литературную форму, и здесь мы лишь укажем, что у Достоевского в использовании пети-жэ именно как формального приема были два непосредственных предшественника, миновать опыт которых он не мог. Речь идет о Пушкине, наметившем, как нам кажется, три пути в развитии этой литературной формы («Пир во время чумы», «Повести Белкина» и «Table talk» с примыкающими к ним разговорами Н. К. Загряжской), и Н. В. Гоголе с «Вечерами на хуторе близ Диканьки». У обоих авторов присутствует один рассказчик (причем как символическая фигура, через которую автор ведет повествование). У обоих авторов материал разных рассказов скорее идеологически, нежели сюжетно, связан в циклы. Старая форма в произведениях русской литературы сама по себе становится бессодержательной (или же — новый вариант старой формы детерминирован новой целью, идеей, содержанием художественных произведений). Во всяком случае перед нами лишь внешнее подобие старой формальной организации, но столь видоизмененное, что наложение на нее принципов поэтики Возрождения было бы просто нелепо. Эта формальная система повествования и не принимается в расчет Достоевским.

Что действительно оказалось важным в творчестве двух русских гениев для пети-жэ в «Идиоте», так это опыт «Пира во время чумы» и «Table talk». Экстраординарные обстоятельства

«Пира» внезапно оживляют, выводят на первое место и драматизируют обстановку, бывшую в литературе Возрождения лишь поводом для объединения разных новелл в единую содержательную систему.

Люди в отношении трагического внешнего мира и смысл поведения и отношений людей в этой обстановке — разве не характерно это для творчества Достоевского и разве это не прием литературного произведения нового времени и новой поэтики? Эта возможность, обнаруженная Пушкиным в старой литературной форме, нам кажется, существенно важна для объяснения того значения, которое Ф. М. Достоевский придавал пети-жё, и взрыву незрелого конфликта, последовавшему за пети-жё на дне рождения Настасьи Филипповны.

С другой стороны, саму традиционную систему вставного рассказа в рассказе Пушкин осознал как не соответствующую принципам новой исторической эпохи,⁴ более того, могущую вообще функционировать без связи с личностными носителями системы разговора в разговоре. «Застольные беседы» («Table talk») и есть, мы думаем, реализация этого вывода.

Кстати сказать, сама ведь забава светских людей — пети-жё — тоже показывает, до какого уровня плоскости-пошлости традиционная форма опустилась в начале XIX в. Прекрасная традиция застольных бесед Средневековья и Возрождения, экстраполируемая в будущее в «Утопии» Томаса Мора, реально стала пустым времяпрепровождением мающихся от безделья людей, считающих себя цветом общества и народа. Пети-жё в «Идиоте» как раз и отмечает эту плоскость, ибо от скуки предлагает игру бойкая барыня, именно как *игра* (внешне) протекает оно до начала действий Настасьи Филипповны, и правильно замечает Дарья Алексеевна, что не о серьезных вещах и нравственных устоях должна вестись и *велась* речь в рассказах, а о милых, сентиментально-трогательных невинностях, скрапивающих скуку затянувшегося вечера.

Учитывая вышесказанное, теперь можно говорить о конфликте, причем *преднамеренном* конфликте, пети-жё с драмой действующих лиц. Рассказ в рассказе, дойдя до своей внутренней завершенности и чистоты в сюжете с камелиями Афанасия Ивановича, вступает в непримиримое противоречие с драматической обстановкой вечерней беседы и готовящимся конфликтом основных действующих лиц. Пети-жё приходит к несовместимости с общей системой повествования в романе, и восприятие его как традиционной формы и только заставляет недоумевать по поводу значения, которое Достоевский придавал этому разделу «Идиота». Но у пети-жё во всей системе произведения есть собственное место и действительное основание, которое мы считаем возмож-

⁴ Косвенным подтверждением может служить *незавершенность* «Египетских почей» Пушкина.

ным найти в том, что рассказы действующих лиц обнажают сущности характеров рассказчиков и до предела концентрируют ложь и фальшь обстоятельств, засасывающих Настасью Филипповну. В этом смысле пети-жё становится необходимым формальным приемом, посредством которого содержание сцены актуализируется наиболее совершенным и гармоничным образом.

Еще раз повторим — суть отношений и жизни Епанчина, Гоцкого и Фердыщенко состояла в игре, в ношении масок, в приспособлении обстоятельств к себе и себя к обстоятельствам. Пети-жё как литературный миф в гротескной форме показывает бездушные и ханжеские игроки в жизнь. Это ли не высвечивание уродства масок, напаянных на себя игроками, это ли не грозное предупреждение Настасье Филипповне не оказаться (через обручение с Ганей) в болоте, где нет подлинных чувств, искренности и свободы самопроявления? Тогда пети-жё становится необходимостью данного содержания сцены, тогда возникает гармоническое единство и необходимая связь пети-жё с общей идейно-эстетической концепцией, со всем содержанием романа «Идиот».

А. В. АРХИПОВА

«СЮЖЕТЫ ДЛЯ РОМАНОВ»

(неосуществленный замысел Достоевского)

Проблемы изображения детства в произведениях Достоевского в последнее время стали привлекать пристальное внимание литературоведов — Е. И. Семенова, В. С. Пушкиревой, В. Е. Ветловской.¹ В работах последней, в частности, убедительно проанализирована философская и религиозная символика детских образов Достоевского. Любопытные трактовки детской темы содержатся и в других работах о художественном стиле Достоевского,² что указывает на новую тенденцию: рассматривать образы детей не в плане только социальном и педагогическом, как это делалось обычно в XIX—начале XX в., а в плане поэтики и философии писателя.

Романы Достоевского при всем их отличии от других современных романов (Тургенева, Гопчарова, Толстого), при огромной насыщенности философским, «идеологическим» содержанием, как и другие романы XIX в., часто строятся на материале семейных отношений. Отметим попутно, что чем старше литература, тем старше ее герой. Литература Ренессанса, а также Просвещения вплоть до эпохи сентиментализма интересовалась по преимуществу юным героем, его приключениями и похождениями, его любовными переживаниями. Роман начала XIX в. — это обычно роман о любви, часто закапчивающийся свадьбой, т. е. там, где начинается семья, а отношения молодых героев со старшим поколением если и изображались, то, как правило, однозначно: родители — препятствие на пути героев к счастью. Позднее темой

¹ См.: *Пушкирева В. С.* 1) Дети и детство в художественном мире Достоевского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1975 (здесь дана библиография более ранних работ на эту тему); 2) Тема «случайного семейства» в творчестве Ф. М. Достоевского и русская литература 70-х гг. — В кн.: Проблемы реализма и романтизма в литературе. Кемерово, 1974, с. 44—57; 3) Детство в концепции «золотого века» Ф. М. Достоевского. — В кн.: XXIV Герценовские чтения. Филологические науки: Краткое содержание докладов. Л., 1974; *Ветловская В. Е.* 1) Символика чисел в «Братьях Карамазовых». — ТОДРЛ. Л., 1971, т. 26, с. 143—150; 2) Достоевский и поэтический мир Древней Руси. — Там же, 1974, т. 28, с. 296—307.

² Интересную интерпретацию детских сцен «Братьев Карамазовых» предложил Р. Г. Назиров в докладе «Жесты милосердия в романах Достоевского» на VII чтениях «Достоевский и мировая литература» в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского в Ленинграде в ноябре 1982 г.

романа становится именно изображение семьи, т. е. не только молодых героя и героини, но людей разных поколений. К этому можно добавить, что в современной нам литературе, литературе XX в., героями все чаще являются старики, что, конечно, невозможно себе представить ни в эпоху Ренессанса, ни в XVIII в.

Достоевский сделал много открытий в сфере семейного романа, в изображении конфликта поколений. Тема эта его глубоко занимала. Проблемы отцов и детей поставлены в «Униженных и оскорбленных», они присутствуют в «Преступлении и наказании», в «Идиоте» и являются определяющими в трех последних романах писателя — «Бесах», «Подростке» и «Братьях Карамазовых».

Новаторство Достоевского в изображении семьи и конфликта поколений состояло в том, что он понимал проблему и как вечную, общечеловеческую (не менее важную, чем тема любви), и в то же время видел в ней явление, порожденное современным положением вещей. Писатель настаивал на том, что распадение внутрисемейных связей, крушение прежней традиционной семьи — характернейший симптом времени, имеющий тенденцию к развитию и распространению, явление, так сказать, историческое.

Распад традиционной семьи Достоевский считал одним из проявлений всего общего хаоса и разложения, наступившего в результате реформ 1860-х гг., которые, по его мнению, знаменовали окончание петровского, или, как он говорил, «петербургского» периода русской истории. Этот двухсотлетний период характеризуется, по мнению Достоевского, отказом от развития органических естественных начал русской жизни и внешним усвоением чуждых нам заимствованных форм. Процесс этот захватил экономику, культуру, политическую жизнь и даже семейные отношения. Естественное же развитие выработывавшихся веками «оснований» жизни было нарушено, традиция прервана. Если на Западе нравственные нормы и правила «выживаются» веками, являясь результатом всей жизни общества, то у нас они — плод насаждавшихся сверху, при помощи различных циркуляров установлений. Поэтому отмена прежних установлений приводит к полному разложению: «все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало» (16, 329).

Хаос и разложение современной жизни стали темой большинства произведений Достоевского. «И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити?» (25, 35). На роль художника, призванного осветить современную жизнь, Достоевский, бесспорно, претендовал сам. Если Л. Толстого он называл «историкографом нашего дворянства» (17, 142), то себя причислял к писателям, «одержимым тоской по текущему» (13, 455), на долю

которых выпадает неблагоприятная роль слишком многое угадывать в еще не сложившихся, неустоявшихся явлениях. «Угадывать и... ошибаться» (там же). «Дневник писателя» вызван на свет именно «тоской по текущему», страстным желанием вторгаться в жизнь, не дожидаясь, когда ее новые явления и типы обретут сложившиеся, законченные формы.³

Среди множества политических, экономических, нравственных проблем, поднятых автором «Дневника писателя», одно из ведущих мест занимают вопросы, связанные с современным состоянием семьи. Причем семей все сословий, от крестьянской до великосветской. Изображая положение детей в обществе, всевозможные надрывы и уродства в этой области (все эти Джунковские и Кронеберги, дети-преступники и дети-самоубийцы), Достоевский показывает, как тесно связаны и переплетены эти проблемы с разными сторонами жизни общества.

Однако с годами Достоевский все больше видел назначение писателя не только в том, чтобы фиксировать происходящее, оперируя многочисленными и разнообразными фактами, и даже не только в том, чтобы указывать скрытые от взоров большинства «концы и начала», улавливая закономерности развития, а в том, чтобы вносить в этот разлагающийся хаос окружающей жизни положительное начало, объединяющую идею. «У нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит, и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания?» (25, 35).

Безусловно, единственно, кто может это сделать, это художник, способный провидеть будущее. Он должен быть и носителем идеала, позитивной мысли, ибо любимый Достоевским образ — Пророк — не только предсказатель будущего, но и носитель слова божия. В публицистике писателя часты призывы к пропаганде в искусстве идеальной сферы, положительного начала, без которого искусство теряет свою высокую объединяющую миссию. «Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность» («По поводу выставки», 1873 — 21, 75—76). «Я неисправимый идеалист; я ищу святых, я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создаю, что не могу жить без святых, но все же я хотел бы святых хоть капельку посвятее; не то стоит ли им поклоняться?» («Дневник писателя» за 1876 г., февраль — 22, 73). А выступая против «моды» на обличительную литературу, Достоевский заявлял: «Они (обличители. — А. А.) и не понимают, что только одна Красота вековечна». И далее: «И если б явился тут великий писатель с типом действительно великой, положительной Кра-

³ См.: Фридляндер Г. М. Достоевский и мировая литература. М., 1980, с. 83—92.

соты — он бы всех увлек и сказал бы великое новое слово» («Сюжеты для романов» — 22, 151, 152).

Это, разумеется, отнюдь не понималось им как приукрашивание действительности или замалчивание ее темных сторон. Но мудрый художник, способный видеть дальше и глубже, чем все обычные люди (вспомним опять-таки пушкинского Пророка), должен уметь «определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания».

Положительные идеалы Достоевского во многом были связаны с надеждами на молодежь, за которой он внимательно наблюдал, но которую отнюдь не идеализировал. Молодежь нуждается в руководителях, — эту мысль он часто повторял, а существующая в России система воспитания, как и все существующие системы, его не устраивала.

Не будучи педагогом-профессионалом, не ставя задачи выработать целостную педагогическую систему, прежде всего потому, что считал это, как увидим ниже, ненужным, Достоевский тем не менее очень серьезно изучал современную педагогику и современную школу. Свои теоретические соображения и практические рекомендации по этим вопросам он много раз высказывал в «Дневнике писателя», в романах же эти мысли облечены в более сложную художественную форму. В соответствии со своей установкой на пропаганду положительного идеала Достоевский старался и в этих проблемах — современной семьи и школы — увидеть ростки нового, свежего, что можно было бы, хотя отдаленно и приблизительно, считать моделью будущих, нарождающихся «на новых уже началах» (25, 35) человеческих отношений. Писатель посещал Воспитательный дом и колонию малолетних преступников, обращал внимание на очень немногочисленные факты новых и отрадных явлений в «мире нашей педагогики».⁴

В предлагаемой статье нет возможности подробно охарактеризовать весь большой и сложный комплекс проблем, связанных с положением детей в обществе и их воспитанием, который Достоевский ставит хотя бы только в «Дневнике писателя». Вероятно, это тема специальной работы, которая может быть создана не только усилиями литературоведов, но и педагогов. Я рассмотрю лишь некоторые фрагменты «Дневника», до сих пор не привлекавшие внимания исследователей по той причине, что они впервые увидели свет в составе ныне издающегося академического Полного собрания сочинений и писем Достоевского. Речь пойдет о фрагментах, не вошедших в окончательный текст статей, но тем не менее имеющих важное значение, так как вопросы, в них затронутые, нашли отражение и в других произведениях писателя; иногда же эти черновые фрагменты текста помогают

⁴ Так называлась одна из рубрик в издававшемся им в 1873 г. «Гражданине».

нам яснее понять и логику мысли Достоевского, и круг волновавших его проблем.

Один из незавершенных замыслов главки «Дневника писателя», названный Достоевским «Сюжеты для романов», был, по-видимому, первоначально связан с задачами, стоящими перед художественной литературой. В соответствии со своим пониманием роли искусства в обществе Достоевский выступает против определенной «моды» на литературные «направления», против того, что в другом месте он называл «мундирностью» искусства (21, 73). Массовая литература, способная заинтересовать «низшего разбора общество», «мещанскую, так сказать, средину его» (22, 151), создается людьми не талантливыми, не оригинальными, а «бездной подражателей». Они «пускаются» вслед за художником «с сильным талантом, с великодушием в сердце» (22, 150), который всегда говорит что-то новое, но «опошляют даже свою же идею» (22, 151). Обилие этих «маленьких талантиков», принимаемых толпой чуть не за гениев, — показатель несамостоятельности, человеческой и гражданской незрелости как писателей, так и массы читателей. В набросках к главке «Сюжеты для романов» Достоевский рассуждает о причинах этой несамостоятельности и видит ее в общей гражданской незрелости как общества в целом, так и отдельных его граждан, произошедшей от «двухсотлетней опеки», которую установил Петр Великий («*Pierre le Grand*» — иронически именуется его здесь Достоевский). «Личностей, самостоятельности мало. Оскудели. <...> Сами себя в грош не ставим и даже с умилением, тем самым признаем неизбежность опеки» (22, 146).

Несамостоятельность эта проявляется в различных сторонах жизни общества, в том числе в педагогике, на критике которой Достоевский останавливается особенно подробно.

Весь круг намеченных в черновых набросках педагогических проблем можно разделить по трем основным темам: 1. Воспитание детей в семье. 2. Воспитание детей в школе. 3. Общие задачи педагогики.

Разделение это условное, так как в тексте Достоевского все эти темы перемешаны, переплетены и связаны с целым рядом других вопросов, выходящих подчас за педагогические рамки.

Воспитание детей в семье (имеется в виду семья «средне-высшего» круга) не может помочь детям выработать самостоятельности характера, развить их в самобытных личностей. Родители уклоняются от занятий с детьми, поручая это швейцарцам или немцам. Дело это вообще не почитается ими важным и серьезным, и несмотря на возникшую в последнее время моду на педагогические разговоры и интересы, все как-будто играют в педагогику «и точно представляют. Великосветский актер какому-нибудь учителя, великосветские люди представляют какую-то комедию» (22, 150).

Большая же часть родителей отсылают своих детей в казенные школы. Закрытое учебное заведение, видимо, не вызывало

симпатий Достоевского. Изображение его и в «Подростке» (пансионшко Тупара), и в «Дневнике писателя» всегда однозначно — отрицательно. В «Сюжетах для романов» намечено несколько мотивов или тем о ребенке, попавшем в гимназию или военную школу. Возникают и ассоциации с собственными воспоминаниями о детстве, проведенном частью в пансионе Чермака, частью в Инженерном училище. Вспоминается «наша военная школа», в которой существовал установившийся «порядок», когда воспитанники старших курсов всячески издевались над младшими, унижали их (см.: 22, 397). Мальчик, оказавшийся оторванным от семьи, от дома, подвергающийся насмешкам и издевательствам товарищей и встречающий холодное равнодушие со стороны учителей и воспитателей («Ну, это некогда долго рассматривать, возиться с каждым мальчишкой» — 22, 148), — такой мальчик приходит в отчаяние и решается бежать из учебного заведения, напоминаящего ему тюрьму. Его находят, возвращают и постановляют: исключить. По существующему же положению ученик, исключенный из учебного заведения, не может быть принят в другую школу. Вся эта история, чуть намеченная в набросках к статье, окруженная такими деталями и подробностями, как упоминание о тетке, у которой мальчик жил в деревне, видимо, не имея родителей, и которая «снаряжала» его в школу, и о вызове провинившегося мальчика к директору училища (генералу), — представляется Достоевскому «великолепным сюжетом для романа» (22, 148). В связи с этим вспоминаются писатели, сумевшие показать сложный внутренний мир ребенка, его одиночество в чуждой ему или кажущейся чуждой среде: Диккенс и Лев Толстой. Помянуты Оливер Твист и Копперфильд, а разгадка того, почему в этой же связи назван и Лев Толстой, содержится в январском выпуске «Дневника» за 1877 г. Там, в статье «Именинник» Достоевский подробно разобрал «чрезвычайно серьезный психологический этюд» (25, 32) Толстого о страданиях наказанного и запертого в пустой комнате Николиньки Иртеньева.

Намеченный сюжет о мальчике, бежавшем из казенной школы, не был осуществлен, но позднее в «Дневнике писателя» мы находим его отголоски. Так, в февральском выпуске за 1877 г. говорится о состоянии ребенка, попавшего в закрытое учебное заведение и чувствующего себя одиноким среди шумной ватаги ребят. «Ни одного-то слова ласки от начальства, строгости от учителей, такие мудреные науки, такие длинные коридоры и такие бесчеловечные сорванцы, обидчики и насмешники, безжалостные его товарищи» (25, 41—42). В закрытой школе процветают ложь, обман и жестокость. Дети издеваются над тоскующим о своем доме мальчиком, бьют его. «Я замечу про себя, — добавляет Достоевский, — что таких несчастных детей я довольно встречал в моем детстве в разных школах, — и какие преступления совершаются иногда в этом роде в наших воспитательных заведениях, всех разрядов и наименований, — именно преступления!» (25, 42).

Примечательно, что яркая память о собственном детстве во многом питает создаваемые Достоевским картины детской жизни. Это сказалось и в романах его, и, еще более непосредственно, в публицистике. «Я не помню в моем детстве ни одного педагога и не думаю, чтоб их и теперь было много: все лишь чиновники, получающие жалованье» (25, 42). Чиновники, система, порожденная циркулярами, — эти понятия, с точки зрения Достоевского, неприменимы к педагогике, а между тем наша отечественная система воспитания столь же неорганична для нашей жизни, как и вся культура «петербургского периода русской истории». Сейчас «все говорят о воспитании». «Экзамены из педагогических предметов. <...> Педагогические съезды, курсы» (22, 146, 148). Однако все это заимствовано, не выжито, а главное — «личностей, самостоятельности мало». «За неимением педагогов поневоле действуют циркулярами; у нас выключаются и перенимают лишь форму» (22, 146, 147). Пороки педагогической системы — лишь одна из сторон порочности всей русской действительности, отсутствия выжитого опыта, доверия к самим себе. «Живой самостоятельный дух нужен — и тот, который у своих» (22, 146). Системе, порожденной циркулярами, противопоставляется свободная деятельность самостоятельных активных личностей, искренне заинтересованных в результатах своего труда. Тем более это важно в деле воспитания. Фребель, Песталоцци были яркими, выдающимися личностями, но превращенные в образец, подогнанные под циркуляр, они превращаются в свою противоположность. «Возьмем хоть Фребеля, порешили циркулярами. Циркулярами порешать легко» (22, 148). И в другом месте: «Я уверен, что детский сад дрянь, но у самого Фребеля это не дрянь <...> Это самостоятельно и у того не дрянь» (22, 146). С одной стороны, осуждается официальная линия, подавляющая всякую индивидуальность, с другой — либеральная болтовня о нашей второстепенности и о превосходстве западной культуры. «Если б изобрел русский систему воспитания, господи, да его бы съели» (22, 147). Поэтому «надо с одной (с административной) стороны больше свободы к приложению сил, с другой (собственной) — самостоятельных личностей» (22, 146). В набросках к «Сюжетам для романов» Достоевский называет некоторые из таких личностей. Они безвестны или слывут за чудачков, но это «твердые» люди, во всех своих действиях руководствующиеся только любовью. Их мало, но они есть. Прежде всего упомянут ставший уже полулегендарной личностью доктор Ф. П. Гааз (1780—1853), бывший главным врачом московских тюремных больниц и раздавший все свое состояние на помощь арестантам. Доктор Гааз («генерал Гас» в «Сюжетах для романов») не раз упоминался Достоевским (см.: 9, 344), рассказывал о нем и Герцен во второй части «Былого и дум».⁵ «Генерал Гас» — это почти легенда, символ. Человек, весь без остатка отдавший себя служению людям. В «Сюже-

⁵ См.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956, т. 8, с. 211—212.

тах для романов» названы и другие примеры. Это безымянный чиновник, воспитывающий подкинутых детей, какой-то студент, который, хотя и не обучался педагогике, оказался по-настоящему талантливым педагогом и помог исключенному из школы мальчику (сыну кухарки) поступить в гимназию и вместе с тем избавиться от вредного порока, за который мальчик и был исключен. Упоминаются педагоги Исаков, Цейдлер (в черновиках ошибочно названный Цербет). «Эти люди не стыдятся своего призвания и не смотрят на него цинично» (22, 147). Сведения о них Достоевский стремился сообщать читателю в пору своей издательской деятельности. Так, во «Времени» печатались «Воспоминания и размышления» Е. Тур, где рассказывалось о Гаазе,⁶ в «Гражданине» статьи Мещерского, Майкова и Порецкого о Петре Михайловиче Цейдлере (1821—1873), ставшем с 1864 г. директором Воспитательного дома в Петербурге. В «Гражданине» же рассказывалось и о двадцатилетнем студенте, оказавшем столь благотворное влияние на исключенного из школы мальчика.⁷

Живая личность, самостоятельный ум, педагогический талант делают чудеса по восстановлению человека (как доктор Гааз с каторжными или Цейдлер с питомцами воспитательного дома). И только такие личности могут быть педагогами, а не «чиновники, получающие жалованье».

Существующая школа, где дети обезличены, оторваны от семьи, представляется Достоевскому безусловно плохой. Нормальный ребенок не может не страдать, оказавшись в такой обстановке. А если он не страдает, чувствует себя в ней естественно, — он не может вырасти в самостоятельную личность. Такая школа личности противопоказана. Поэтому и замечает Достоевский в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г., что «вот эти-то дети, которые, поступая в школу, тоскуют по семье и родимом гнезде, — вот именно из таких-то и выходят потом всего чаще люди замечательные, со способностями и с дарованиями. А те, которые взятые из семьи, быстро уживаются в каком угодно новом порядке, в один миг ко всему привыкают, которые ни о чем никогда не тоскуют и даже сразу становятся во главе других, — эти всего чаще выходят лишь бездарностью или просто дурными людьми, пролазы и интриганы еще с восьмилетнего возраста. Разумеется, я сужу слишком вообще, но все-таки, по-моему, тот плохой ребенок, который, поступая в школу, не тоскует про себя по своей семье, разве что семьи у него вовсе не было или была слишком плохая» (25, 42).

Итак, школе, где человек обезличен, противопоставлена семья, где каждый ребенок окружен любовью и где к нему относятся как к индивидуальному существу. Семья для человека, начинающего жизнь, — это форма связи с родом, почвой, от которой До-

⁶ См.: Время, 1862, № 6.

⁷ См.: Гражданин, 1873, 26 февр., № 9.

стоевский ни при каких обстоятельствах не считал возможным оторваться. Отрыв же этот губителен. Дурные, злые дети кажутся попавшему в школу мальчику людьми без роду-племени. «Что у них совсем нет деревни, матерей? — думает он» («Сюжеты для романов» — 22, 148). «Точно у них сердца нет, точно у них не было ни отца, ни матери!» («Дневник писателя» за 1877 г. — 25, 42).

Но мы помним, живописцем и историком какой семьи считал себя и был в действительности Достоевский. Понимая, что красивая, прочная семья средне-высшего круга вот-вот канет в вечность, чего не мог не почувствовать другой гениальный художник и педагог — Лев Толстой, — Достоевский тем не менее верит в возникновение каких-то новых семейных отношений, так как есть «жизнь разлагающаяся» и «жизнь вновь складывающаяся». Семья, основанная не на традиционном повиновении младших старшим и не на сохранении во что бы то ни стало старого уклада, а семья, в основе которой лежит любовь и уважение друг к другу всех ее членов, особенно старших к младшим, представлялась Достоевскому тем идеалом, который он старался пропагандировать. Смутные образы таких отношений стояли перед писателем, когда он изображал любовь и понимание между родителями и детьми, будь то отношения Нелли Валковской с ее «мамашей» или штабс-капитана Снегирева с Илюшечкой. «Эти создания тогда только вторгаются в душу нашу и прирастают к нашему сердцу, когда мы, родив их, следим за ними с детства, не разлучаясь, с первой улыбки их, и затем продолжаем родниться взаимно душою каждый день, каждый час в продолжение всей жизни нашей. Вот это семья, вот это святыня! Семья ведь тоже создается, а не дается готовою, и никаких прав и никаких обязанностей не дается тут готовыми, а все они сами собою, одно из другого вытекают. Тогда только это и крепко, тогда только это и свято. Созидается же семья неустанным трудом любви» (22, 69—70).

Ностальгия по такой семье всегда переживалась Достоевским. Вспоминал ли он о своем детстве и о своих родителях, явно идеализируя их и отношения их с детьми, давал ли какие-то советы Анне Григорьевне или какие-то рекомендации читателям «Дневника писателя», он стремился конструировать эти новые семейные отношения.

В наборной рукописи «Дневника писателя» за 1877 г. (ноябрь, глава II, § 3) есть один интересный пассаж, где говорится об отношениях родителей к детям. Пассаж этот был выброшен в корректуре, не вошел в окончательный текст «Дневника» и до сих пор был неизвестен читателю. А между тем рассуждения Достоевского здесь очень показательны для его воззрений на эту проблему.

«Сделаю одно сравнение. Возьмите хоть птичье гнездо. Выведенные детеныши жмутся сначала под крылом самки, самец носит пищу. Но детеныши растут, укрепляются, выучиваются мало-

помалу летать, и вот вдруг все гнездо разлетается, разрушается единение, все они вдруг чужды друг другу. У людей это несколько иначе: оперившимся детенышам хоть и очень хочется разлететься в стороны (о, как хочется сначала, даже до ненависти к семье и старому домашнему очагу, если их полет будет чем-нибудь задержан), но сношения не покидаются всю жизнь. Но тут-то и бывают родительские ошибки. Есть родители, которые не понимают и не допускают в детях такой жадности стремления бросить поскорее родное гнездо, чтоб испробовать свои крылья, и даже отпустив детей, они требуют от них частых писем, почтительности. . . Но почтительность уже не любовь и не свободная любовь. Иногда это требование почтительности, благодарности окончательно раздробляет семейство, наполняя сердца детей нетерпением, насмешкой, а пожалуй так и ненавистью. Гораздо лучше поступят те родители, которые снарядят детей в путь, помогут им и пустят их вон из гнезда, не обременяя их требованиями почтительности, не напоминая им о благодарности. Будь хоть какой угодно гений и самостоятельно сильный характер оперившийся и улетевший из гнезда птенец, но все же ничего не знает в жизни, вылетая из гнезда, а потому скоро почувствует и тягость, и усталость, и разочарование, и вот тут-то он вспомнит непременно о добрых родителях, о том, что любят его они бескорыстно, всегда и до сих пор, и вечно будут помогать ему, а между тем никогда-то не досаждали ему укорами, попреками за неблагодарность, за забвение их, за непочтительность, любили его, терпели и ждали его молча. И вновь всем сердцем воротится в гнездо свое улетевший из него птенец и во второй раз и уже навеки соединится, создастся опять семейство, дитя признает вновь родителей и прильнет к ним, а родители как бы вновь приобретают его» (26, 257).

Разумеется, любая семья, в том числе и хорошая, не избежит страданий, потрясений, драматических столкновений между ее членами. Достоевский это прекрасно понимал. Не случайно сосредоточивался он на изображении «трудных подростков», говоря современным языком. И он великолепно осознавал, что сложность и противоречивость личности в эпоху ее созревания порождены не только социальными, но и физиологическими причинами. Однако он считал, что все неизбежные драматические перипетии на пути становления человека могут оказаться временными проявлениями болезни роста, что подросток и юноша, минуя их, сможет обрести себя, стать личностью, если была у него в детстве семья, связавшая его с почвой, с народной традицией. Такая семья прививает человеку с детства верные представления о любви, добре и правде.

В эпилоге «Братьев Карамазовых» Алеша, этот идеальный, с точки зрения Достоевского, педагог, так выражает эту мысль, обращаясь к мальчикам:

«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впрямь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского

дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь» (15, 195).

Детские образы в романе «Братья Карамазовы», этом философском и художественном итоге творчества Достоевского, имеют множество значений. Обычный реалистический, психологический уровень их помогает понять изображенную эпоху, ее характеры и социальные проблемы. Но детские образы, как это часто случается в произведениях большого искусства, имеют и символическое значение, позволяющее проникнуть в философский и религиозный смысл романа.⁸

Примечательно, что ни в каком другом произведении Достоевского детские образы не занимают такого большого и самостоятельного места, как в его последнем романе. Не случайно роман завершается детской сценой, в которой Алеша изображен как тот необходимый молодежи руководитель, «за которым она последует с восторгом» (25, 270). В черновиках к майско-июньскому выпуску «Дневника писателя» за 1877 г., говоря о необходимости появления такого руководителя нового типа («и это, может быть, сбудется, ибо потребность есть сильная»), Достоевский указывал и на то, что тип этот еще не сложился и что даже предсказать его трудно. «Каков должен быть этот будущий руководитель, какая роль его, что он скажет, чем увлечет. Что пошлет нам в его лице наша русская судьба — вот вопрос» (25, 270). Ответ на все эти вопросы в эпилоге «Братьев Карамазовых». В «речи у камня» Алеше именно удалось «разом их пленить и осветить, и увлечь за собой» (25, 270). Здесь сказалось стремление писателя провидеть будущее, угадать то новое, что еще складывается, создается, показать то положительно-прекрасное, что только возникает в жизни, но что непременно разовьется в ней. Здесь и надежда на то, что будущие поколения будут лучше настоящих. Побольше бы только на пути русских мальчиков встречалось таких руководителей, как Алеша Карамазов.

⁸ См. работы В. Е. Ветловской и Р. Г. Назирова, указанные в списках 1 и 2.

Н. Ф. БУДАНОВА

**«СПОР» ДОСТОЕВСКОГО С ТУРГЕНЕВСКИМ ПОТУГИНЫМ
О ПРЕКРАСНОМ**

Многочисленные записи о Тургеневе, «Дыме» и Потугине в черновых подготовительных материалах к «Дневнику писателя» за 1876—1877 гг., опубликованные в полном объеме в академическом издании Достоевского,¹ представляют большой научный интерес для изучения идейно-литературных и личных отношений Достоевского и Тургенева 1860—1870-х гг.²

Эти материалы позволяют уяснить суть идеологического спора Достоевского с автором «Дыма», о котором самое общее представление дает известное письмо Достоевского к А. Н. Майкову от 16 (28) апреля 1867 г. с крайне субъективным описанием баденской ссоры писателей.

Достоевский оказался удивительно последовательным в своем неприятии «Дыма» и особенно Потугина, до конца жизни сохранив отрицательное отношение к этому роману.³

Потугин как некий обобщенный, собирательный образ крайнего западника, слепого поклонника европейской цивилизации, не верящего в самобытные силы русского народа, становится постоянным оппонентом автора «Дневника писателя» 1876—1877 гг.

Полемика с Потугиным и потугиными по актуальнейшим проблемам современной русской и западноевропейской общественной жизни проходит открыто и завуалированно через многие страницы «Дневника писателя».

Спор Достоевского с Потугиным о прекрасном, занимающий большое место в черновых материалах к «Дневнику писателя» за 1876 г., не привлекал еще внимания исследователей.

¹ См. т. 22—26 этого издания. Частично опубликованы: 1) Бельчиков Н. Ф. Тургенев и Достоевский: Критика «Дыма». — Литература и марксизм, 1928, № 1, с. 63—94; 2) Записные тетради Достоевского. 1875—1877 / Подгот. текстов Л. М. Розенблум. — Лит. наследство, 1971, т. 83.

² Тема «Достоевский и Тургенев» не получила специальной научной разработки в содержательной монографии Л. М. Розенблум «Творческие дневники Достоевского» (М., 1981).

³ «Дым», пожалуй, единственный роман Тургенева, не удовлетворивший Достоевского также в художественном отношении. В черновых записях Достоевский отмечает, что Тургенев не знает России, пишет о «падении художественности», пафуманных характерах и ситуациях в «Дыме» и т. д. (см., например: 24, 74, 76—77, 79).

Н. Ф. Бельчиков справедливо предположил, что внешним поводом к запоздалому, казалось бы, обращению Достоевского к «Дыму» в 1876 г. послужило упоминание Потугина в некрологе В. Г. Авсеенко, посвященном А. К. Толстому.⁴

Речь идет о следующих строках: «Граф Толстой менее всего папоминал тех почитателей народности, которые, по выражению Потугина в „Дыме“, обращаются к народу словно пустые сосуды: влейся, мол, в нас, живая вода. У графа Толстого в его так называемых народных произведениях в характерную народную речь и в народные образы облекалась обыкновенно собственная мысль, собственное чувство».

Скорее всего, однако, в статье В. Г. Авсеенко Достоевского задело не столько упоминание ненавистного ему Потугина, сколько фраза о «пустых сосудах» и «живой воде»,⁵ полемически направленная против славянофильских представлений о характере взаимоотношений интеллигенции и народа, которую Достоевский, вероятно, воспринял как язвительный намек на собственные его убеждения.

К концу 1875 г. Достоевский перечитал «Дым» и, очевидно, пришел к выводу, что роман не утратил своей актуальности. У писателя возникло намерение «дать отпор» идеям Потугина уже в первых выпусках «Дневника писателя» за 1876 г.

Анализ черновых записей, относящихся к «Дыму» в записных тетрадах 1875—1877 гг. и в других подготовительных материалах к «Дневнику писателя», позволяет воссоздать в общих контурах широко задуманную, но лишь частично осуществленную Достоевским полемику с автором «Дыма».

При повторном чтении «Дыма» внимание Достоевского-полемиста, в частности, привлекали суждения тургеневского героя о русском народном творчестве (см.: Т. Соч., IX, 236—237) и в особенности потугинская ироническая характеристика русского былинного героя Чурилы Пленковича, которую писатель расценил как клевету на русский народ и его идеалы.

⁴ См.: Литература и марксизм, 1928, № 1, с. 65—66. — Ноябрьский выпуск «Русского вестника» за 1875 год, в котором был опубликован этот некролог, упоминается в записной тетради Достоевского за 1875—1876 гг. (см.: 24, 67), а вслед за этим упоминанием следует серия записей о Тургене-ве, «Дыме» и Потугине.

⁵ В. Г. Авсеенко ошибочно приписал Потугину следующее суждение Шубина об Ипсарове (роман «Накануне»): «Он с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Соч. М.; Л., 1964, т. 8, с. 60. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с обозначением: Т. Соч. и с указанием римской цифрой тома, а арабской страницы). Достоевский повторил эту ошибку Авсеенко. Запомнившееся ему выражение о «пустых сосудах», ластящихся к народу, и в дальнейшем неизменно ассоциировалось у него с Потугиным (см. полемику с Авсеенко в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г.).

Образ Потугина, по признанию самого Тургенева, вызвал «многоразличные нарекания» и «более всех других» оскорбил «патриотическое чувство публики» (там же, 329).

В предисловии к отдельному изданию «Дыма» (1868 г.) Тургенев собирался специально разъяснить Потугина и его взгляды, но отказался от этого намерения и ограничился тем, что в отдельном издании романа придал Потугину «несколько новых черт, еще определеннее высказывающих его значение, сущность и смысл» (там же). Тургенев усилил в западнических взглядах своего героя идею *творческого характера* заимствования Россией лучших достижений европейской цивилизации. (Там же, с. 171—173: «Но позвольте мне сделать вам одно замечание <...> начал он опять»):

Отказавшись от прямой полемики с критиками «Дыма», Тургенев тем не менее в завуалированной форме осуществил свое намерение в «Воспоминаниях о Белинском», вошедших в состав «Литературных и житейских воспоминаний» (1869).

Обращение Тургенева в 1869 г. к памяти Белинского не было случайным. Провозгласив себя учеником и последователем Белинского, Тургенев ссылок на высокий авторитет учителя попытался защитить Потугина, *скромного рядового западника*, от нападок критиков, обвинявших писателя в оскорблении русского национального чувства, слепом преклонении перед Западом, в незнании России и т. д.

В характеристике западнических убеждений Белинского Тургенев также выделил идею творческого заимствования Россией достижений европейской цивилизации.

«Белинский был вполне русский человек, даже патриот <...> благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзвуки. Да, Белинский любил Россию; но он также пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы — вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился» (Т. Соч., XIV, 42—43).

В подтексте тургеневской характеристики Белинского заключена мысль, что можно быть одновременно сторонником европейского просвещения и русским патриотом, можно критически относиться к «народным началам», народному творчеству и в то же время горячо любить русский народ, верить в его великое будущее. Такова была своеобразная форма защиты, избранная Тургеньевым.⁶

⁶ Ср. в предисловии к «Литературным и житейским воспоминаниям» («Вместо вступления»): «И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. „Записки охотника“ <...> были написаны мною за границей <...> преданность моя началам, выработанным западною жизнью, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разпообразные обвинения, помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу» (там же, 9—10).

Западнические убеждения Белинского, пишет Тургенев, «ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая была во всем его существе». В подтверждение своей мысли Тургенев ссылается на статьи критика «о народных песнях и былинах»,⁷ которые «поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества» (там же, 43).

Упоминание Тургеневым статей Белинского о народном творчестве и их высокая оценка знаменательны. Очевидно, писатель преследовал скрытую цель подчеркнуть, что он является последователем фольклористических взглядов Белинского, и тем самым указать источник некоторых высказываний Потугина о народном творчестве.

Действительно, у Белинского можно встретить резкие, парадоксальные суждения о русском фольклоре, полемически направленные против идеологии официальной народности и формировавшегося в 40-е гг. славянофильства.⁸ Эти суждения давали повод некоторым критикам и историкам литературы упрекать Белинского в слабом знании и непонимании народного творчества, несовершенном, презрительном к нему отношении и т. п.

Прекрасный знаток и тонкий ценитель русского фольклора, Белинский подходил к нему без предвзятой идеализации, так как видел в нем отражение исторической жизни народа, сложной и противоречивой по своему характеру. В некоторых произведениях народного эпоса критик отмечал слабо развитый эстетический идеал и художественный вкус, грубое, непозитическое выражение чувства любви, нерыцарское отношение к жещине.

Народная жизнь допетровской Руси представлялась Белинскому самобытной, оригинальной, но во многом неразвитой, односторонней, замкнутой. Народное творчество, свидетельствующее, по мнению критика, о духовной одаренности и талантливости русского народа, отразило также отрицательные, темные и грубые стороны его исторического быта.

М. К. Азадовский убедительно показал, что суждения Потугина о русском народном творчестве, о благотворном влиянии европейской цивилизации на народную поэзию, любовь (поэтизация, романтизация любви), на формирование у народа эстетического идеала и вкуса, высказывание об изображении любви и любящих пар в русских былинах, характеристика Василия Буслаева — все это восходит к статьям Белинского 1840-х гг.⁹

⁷ Тургенев несомненно имел в виду цикл статей (4) Белинского «Древние российские стихотворения...» (1841).

⁸ Об отношении Белинского к фольклору см.: Азадовский М. К. 1) Белинский и русская народная поэзия; 2) Народная поэзия в концепциях русских революционных просветителей 40-х годов. — В кн.: Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960, с. 260—340. См. также: Бродский Н. Л. Белинский и Тургенев. — В кн.: Бродский Н. Л. Избранные труды. М., 1964, с. 197—224.

⁹ См.: Азадовский М. К. «Певцы» И. С. Тургенева. — В кн.: Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре, с. 399—401.

Характерно, что Потугин прибегает к тем же примерам и цитатам из былин, что и Белинский в цикле статей «Древние российские стихотворения...».¹⁰

В свете фольклорных статей Белинского становится очевиден просветительский и антиславянофильский пафос резких суждений Потугина о народном творчестве.

Потугин в понимании Тургенева отнюдь не космополит; напротив, он своеобразный патриот. Любовь к родине сочетается в нем в духе «отрицательного» западничества 1840-х гг. с ненавистью ко всему тому, что мешает ее прогрессивному развитию по общеевропейскому пути.¹¹

Он резко критикует некоторые черты русского народа, выходящие, если употребить выражение Белинского, «из невежества и несповещения», но вместе с тем признает народную самобытность и одаренность. По мысли Потугина, народ вынес коренную ломку многовекового строя и быта, явившуюся следствием петровских преобразований, именно потому, что оказался самобытным и сильным, что у него «крепка натура» (там же, 172). О вере Потугина в самобытность русского народа свидетельствует также его убеждение, что «народный желудок» переварит по-своему «пищу добрую» (т. е. лучшие достижения европейской цивилизации), а со временем, «когда организм окрепнет, он даст свой сок» (там же, 174).

Потугин не является также, как это представлялось многим критикам, огульным отрицателем народного творчества. Подчеркивая негативные стороны народной культуры, явившиеся следствием неблагоприятного исторического развития русского народа, Потугин выступает как противник патриархальной отсталости и

¹⁰ Белинский, в частности, отметил грубые, нерыцарские формы отношения к женщине («оскорбительные» и «возмутительные» для чувства) в былине о Дунае и Маринке. В качестве примера критик привел следующие строки из былины:

«Скочил он, Дунай, с добра коня
И горазд он с девицею драться,
Ударил он девицу по щеке,
А пнул он девицу под <...>
Женский пол от того пухол живет...»

(Белинский В. Г. Полн. собр. соч.
М., 1954, т. 5, 367).

Выражение «Женский пол от того пухол живет» Белинский в различных вариациях повторяет затем в статье в тех случаях, когда стремится подчеркнуть грубые, неразвитые формы отношения полов в допетровской России. Это же выражение произносит в «Дыме» Потугин, характеризуя обращение «святорусского богатыря» со своей суженой-ряженой (Т. Соч., IX, 237).

¹¹ Ср.: «Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу <...> Да-с, я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину» (там же, с. 173—174).

ограниченности, как пропагандист идеи европейского просвещения и образования народа.¹²

2

Шаржированный образ Чурилы Пленковича, нарисованный Потугиным для характеристики «поэтического идеала нецивилизованного русского» (т. е. русского человека допетровской эпохи),¹³ восходит к былине о Дюке Степановиче в записях П. Н. Рыбникова.¹⁴

Чурило Пленкович — центральный персонаж двух былин — «Чурило и Князь» и «Чурило и Катерина» (названия этих былин варьируются). Он является также одним из главных действующих лиц былины о Дюке Степановиче, широко распространенной и известной в многочисленных записях.

Чурило неизменно изображается в былинах как молодой красивый щап, то есть франт, щеголь, пользующийся огромным успехом у женщин.¹⁵

Былина повествует о состязании в богатстве и щегольстве двух молодых щапов — Дюка Степановича и Чурилы Пленковича, закончившегося полным посрамлением последнего. В былине подробно описываются богатые наряды обоих щапов.

Чурило сын Пленкович
Обул сапожки-то зелен сафьян;
Носы шилом, а пяты востры,
Под пяту хоть соловей лети,

¹² Именно таков смысл полемиического суждения Потугина о русском фольклоре (там же, 236). Чрезмерное превознесение славянофилами «наивного», «бессознательного» народного творчества и противопоставление его европейской культуре ассоциируется у Потугина с идеализацией патриархальной старины и отсталости.

¹³ «Вот, извольте посмотреть: идет жёнъ-премье; шубоньку спшил он себе кунью, по всем швам строченую, поясок семिशелковый под самые мышки подведен, персты закрыты рукавчиками, ворот в шубе сделан выше головы, спереди-то не видать лица румяного, сзади-то не видать шеи беленькой, шапочка сидит на одном ухе, а на ногах сапоги сафьянные, носы шилом, пяты востры — вокруг носика-то носа яйцо кати; под пяту-пяту воробей лети — перепурхивай. И идет молодец частой, мелкой походочкой, той знаменитой „щепливой“ походкой, которою наш Алкивиад, Чурило Пленкович, производил такое изумительное, почти медицинское действие в старых бабах и молодых девках, той самой походкой, которою до нынешнего дня так неподражаемо семенят наши по всем суставам различенные полове, эти сливки, этот цвет русского щегольства, этот *plus ultra* «высшая степень — *лат.*» русского вкуса. Я это не шутя говорю: мешковатое ухарство — вот наш художественный идеал». — Там же, 237.

¹⁴ См.: Песни, собр. П. Н. Рыбниковым: Народные былины, старины и побывальщины. М. и др., 1861—1867. Ч. 1—4. См. также: *Кийко Е. И.* Роман Тургенева «Дым» и русские былины в записях П. Н. Рыбникова. — В кн.: Тургеневский сборник. Л., 1968, т. 4, с. 162—165.

¹⁵ Последняя деталь, иронически подчеркнутая в потугинской характеристике Чурилы (см. выше), свидетельствует, что Тургенев был хорошо знаком с былиной о Чуриле в записи П. Н. Рыбникова. На это указывает, в частности, отброшенный писателем вариант черногого автографа: «Вспомните, вспомните описание впечатления, производимого нашим

А кругом пяты хоть яйцом кати,
Надел он шубу-то собольюю:
Во пуговках литы добры молодцы,
В петельках шты красны девицы;
И наложил он шапку черну мурманку,
Ушисту, пушисту, завесисту:
Спереди не видно ясных очей,
А сзади не видно шеи белыя.¹⁶

Характеристики соперников, изошряющихся в хитроумных выдумках, чтобы перещеголять друг друга, пронизаны тонким юмором.

В. Я. Пропп, усмотревший в этой былине сатиру на боярских модников XVII в., отметил, что мода того времени могла дать обильную пищу для пародии.¹⁷

Тургенев, если судить по потугинской характеристике Чурилы Пленковича, очевидно, не заметил сатирического характера изображения народным сказителем этого боярского щеголя,¹⁸ с его пристрастием ко всему модному, необычному, заморскому,¹⁹

Алживиадом Чурилой Пленковичем на молодых девок с их голенищами» (отмечено Е. И. Кийко в упоминавшейся выше статье). См.: Песни, собр. П. Н. Рыбниковым. М., 1861, ч. 1, с. 267.

¹⁶ Песни, собр. П. Н. Рыбниковым. Петрозаводск, 1864, ч. 3, с. 158. Ср. с описанием одежды молодцов из дружины Чурилы:

Сапожки на ножках зелен сафьян,
Носы по нос шилом, пяты востры,
Около носов-носов яйцом покати,
Под пяту-пяту воробышко летит,
Воробышко летит, перепуркивает

(там же, ч. 1, с. 263).

¹⁷ Пропп В. Я. Русский героический эпос. 2-е, испр. изд. М., 1958, с. 479, 503—507.

¹⁸ Ироническое отношение сказителя к Чуриле Пленковичу подчеркивает, в частности, и конец былины о Дюке Степановиче: Дюк по просьбе князя Владимира, княгини и киевских женщин милует посрамленного Чурилу («Владимиром упрощенный», «киевскими бабами уплаканный». — Песни, собр. П. Н. Рыбниковым, ч. 1, с. 305) и прогоняет его с напутствием:

Ай ты, Чурило сухоногое!
Поди щапи ты с девками и бабами,
А не с нами, с добрыми молодцами!

(там же, ч. 3, с. 163—164).

¹⁹ Ср. в одной из записей былины:

Надевает Чурила платье цветное,
Платье цветное, самосменное.
Шапочку берет он во пятьсот рублей,
Пушисту, ушисту, завесисту,
Чтобы спереду не видно лица белого,
А сзади бы не видно шеи нежной.
Сапожки на ножки сафьянные,
Этого сафьяну заморского,
Этого покрою немецкого,
Этого шитья было турецкого

(там же, ч. 3, с. 127—128).

так как считал костюм Чурилы выражением эстетического вкуса патриархального, отсталого русского народа, еще не тронутого европейской цивилизацией.

Впрочем, в данном случае Тургенева и упрекать трудно: В. Я. Пропп отметил, что даже многочисленные исследователи былины не заметили в ней юмора и сатиры, а вопрос об идейных и политических тенденциях ее вообще не ставился.²⁰

Конечно, Чурилу Пленковича никак нельзя считать народным «поэтическим идеалом», и Достоевский в данном случае более прав, противопоставив в своих записных тетрадах Чуриле Илью Муромца, в образе которого отразилось народное представление о прекрасном.

Следует признать, что полемически шаржированный Потугиным образ Чурилы Пленковича явился не очень удачной художественной иллюстрацией идеи о необходимости связи национального с общечеловеческим (отождествляемого в данном случае с европейским), о благотворном влиянии западной культуры на формирование и развитие эстетического идеала и вкуса русского народа.

3

Первоначально Достоевский собирался посвятить «Дыму» и полемике с идеями Потугина специальную главу в январско-февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г.²¹

Однако этот замысел не был реализован. Многочисленные заметки в записной тетради 1875—1876 гг. и на отдельных листах связывают тему «Потугин и красота» с главкой «Елка в клубе союзников» (январь, глава первая, § III).

Приведем наиболее значительные заметки из черновых подготовительных материалов к январскому выпуску «Дневника писателя» за 1876 г. и из записных тетрадей Достоевского 1875—1876, 1876—1877 гг.:

«Потугин. Костюмы. Александр и Карамзин». «„Дым“ Тургенева». «Бал. Костюмы. Потугин». «Костюм, адская штука, чтоб оплевать Россию». «Пусть Потугин вспомнит хоть себя, когда он был молод (в сороковых годах, что ли)». «Потугин, что такое костюм... (кстати, Потугин). Тут личность, тут как она носит костюм, что она из него делает — рабство». «Детский бал — (всё так, как в черновой). Потугин, костюмы — и проч. Несколько слов о „Дыме“ и о Тургеневе».

«„Дым“, о красоте, Потугин, ругательство на Россию,²² красота Белинского».²³ «Красота, вспомните лакейские ливреи мар-

²⁰ Пропп В. Я. Русский героический эпос, с. 592.

²¹ На это указывает, в частности, черновая заметка в записной тетради Достоевского 1875—1876 гг.: «Статья. 1) Потугин. Тургенев (красота). Цивилизация» (24, 74).

²² На полях рукописи помета: «Бал».

²³ Возможно, что заметка «красота Белинского» навеяна «Воспоминаниями о Белинском» Тургенева. Из тургеневского описания внешнего

кизов и маркиз, падающих на носки (Казанова)». ²⁴ «В прекрасном народе страшно ошибались. Барельеф Карамзин и Александр Павлович». «Описание танцев, вертящих польку, костюмы <...> (Потугин, Костюмы, Чурило Пленкович, Александр и Карамзин). Я потому, что перечел „Дым“. Несколько слов о „Дыме“ (едких)» (22, 137, 138, 140, 141, 144; 24, 73, 74, 91).

Черновые записи (некоторые из них носят развернутый характер) дают возможность воссоздать ход рассуждений Достоевского и установить основные моменты его спора с Потугиным о прекрасном.

Что такое красота (красота внешних европейских форм и красота высшего идеала); идеал прекрасного в современной буржуазной Европе и у русского народа; европейская цивилизация и характер ее влияния на Россию — вот те основные вопросы, навеянные суждениями Потугина, которые, по первоначальному (неосуществленному) плану, Достоевский-полемист, очевидно, намеревался затронуть в главке «Елка в клубе художников». ²⁵

Тема бала с описанием танцев и современных европейских костюмов давала писателю возможность сделать экскурс в область прекрасного и поспорить с Потугиным.

Достоевский говорит о необходимости разграничить красоту внешнюю, условную, преобладающую (костюмы, мода) и красоту истинную, высшую (идеал прекрасного).

Мода переменчива: «во что одевался человек, то, быв очаровательным в свое время, в весьма скорое потом становится омерзительным». «Лакейские ливреи» французских маркизов и маркиз XVIII в. некогда казались прекрасными. «Фалдочки и фраки» времен Империи и Реставрации теперь смешны, в то время как костюмы древних русских князей «и теперь хороши». «Но для нас хороши, — добавляет Достоевский, — а в Афинах, может быть, были бы забракованы и осмеяны» (24, 87). Что же касается современного европейского костюма, то он, по мнению писателя, еще более уродлив, чем осмеянный Потугиным костюм Чурилы Пленковича.

облика критика Достоевский мог вынести впечатление об условности самого понятия «красота». Некрасивый Белинский временами совершенно преображался: глаза его, «в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья» (Т. Соч., XIV, 26).

²⁴ В мемуарах Ж. Казановы (отрывок из них в переводе на русский язык был опубликован в № 1 журнала «Время» за 1861 г.) внимание Достоевского привлекло описание причудливого костюма дворянина XVIII в.

²⁵ Ср. суждения Потугина: «...мы не одним только знанием, искусством, правом обязаны цивилизации <...> самое даже чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации <...> так называемое народное, пассивное, бессознательное творчество есть нелепость и чепуха. В самом Гомере уже заметны следы цивилизации утонченной и богатой; самая любовь облагораживается ею» (Т. Соч., IX, 236).

Остался «незыблемым в красоте», иронизирует Достоевский, лишь «костюм» античных богов Аполлона Бельведерского и Вереры Милосской, да и этот «костюм» «не всегда хорош», доказательством чему может служить, по мнению писателя, памятник Н. М. Карамзину в Симбирске.²⁶

«... Оба в древних костюмах, то есть голые, по крайней мере на 9/10», — так характеризует Достоевский изображенные на памятнике фигуры Карамзина и Александра I (24, 68).²⁷

«Так что и костюм Аполлона Бельведерского не всегда хорош, — заключает Достоевский, — <...> Потугин сказал ложь о России из злости. Не рассуждающим действительно может показаться: „Как Россия ниже всех стран даже и в красоте костюма“» (24, 88).

Смысл этого рассуждения таков: Потугин, осмеявший внешний облик Чурилы Пленковича и представивший его «поэтическим идеалом» русского народа, неправоммерно сблизил красоту внешнюю, условную, преходящую (костюм, мода) и красоту истинную, высшую, извечно живущую в душе русского народа как идеал прекрасного (православный Христос, былинный герой Илья Муромец).

В записной тетради 1876—1877 гг. Достоевский следующим образом подытожил свой спор с Потугиным о красоте, к сожалению, почти не реализованный в «Дневнике писателя».

«Красота богов и идеала, они являются прямо обнаженные, но не боги и не идеал этого не вынесут. У обыкновенных, текущих людей красота условна. И тогда только очищается чувство, когда соприкасается с красотой высшей, с красотой идеала. Это соприкосновение с красотой идеала есть и в былинах наших, и в сильной степени. Там есть удивительные типы Ильи Муромца²⁸ и фантастического Святогора и проч. Потугин отлично об этом знал,²⁹ но ему надо было оплевать народ русский за его безвку-

²⁶ Работа скульптора С. И. Гальберга (1845).

²⁷ Ср. с отзывом Достоевского о скульптурных кованных группах П. Клодта на Аничковом мосту: «Правда, есть идеалы изящного, но зато же ведь они и голые, а что не идеал, то непременно надо одеть. На Аничковском мосту 4 голых банщика — почему они режут глаза, потому что их никак нельзя принять за богов; правда, позы эксцентрические, кони взвиваются, кукольные поля, короткие, но ведь казалось же это изящным» (22, 141).

²⁸ Достоевский неоднократно обращался к образу Ильи Муромца, высоко ценил его и видел в нем воплощение лучших национальных черт русского народа. В записной тетради 1876—1877 гг. Достоевский отметил в Илье Муромце такие народные черты, как широкость натуры, выносливость, «чутье», и назвал его «идеалом» «типа великоруса» (24, 309). В мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский охарактеризовал Илью Муромца как «великого, целомудренного и смиренного христианского богатыря», «подвижника за правду, освободителя бедных и слабых, смиренного и непревозносящегося, верного и сердцем чистого» (25, 69).

²⁹ Иными словами, он знал, что эстетический идеал русского народа выразился не в Чуриле Пленковиче, а в образах Ильи Муромца и Святогора. Это упрек не столько Потугину, сколько самому Тургеневу, знатоку

сицу, сделать смешным, возбудить к нему презрение и отвращение, и вот он выдернул картину прошедших мод и современной блестящей даме показал, какую глупую шляпку одевала ее маменька в 20-х годах, т. е. дело шло про Чурилу, но всё равно значение то же. Потугин только забыл заглянуть на себя и на то, как он сам был одет и в чем всю жизнь находил прекрасное» (24, 198).

4

Достоевский предполагал вернуться к полемике с Потугиным в февральском выпуске «Дневника писателя». В одном из черновых планов к этому выпуску, наряду с заметками, посвященными делу Кронеберга (писатель узнал о нем из газет в конце января — начале февраля 1876 г.), содержатся записи: «Потугин и красота», «Гений чистой красоты»,³⁰ «Славянофилы и западники» (24, 130).

Тема «Потугин и красота» в черновиках к февральскому, мартовскому и апрельскому выпускам «Дневника писателя» за 1876 г. связывается с проблемой народа и его нравственных идеалов.

В главке «О любви к народу. Необходимый контракт с народом» Достоевский продолжает скрытую полемику с «потугинскими», т. е. с типично западническими, поверхностными представлениями о народном идеале прекрасного.

Достоевский раскрывает здесь свое понимание русского народа, его сущности и характерных черт, высказывает основополагающие для «Дневника писателя» в целом мысли о народе как носителе национального самосознания, обладающем непреходящими нравственными и эстетическими ценностями.

Внешнему, наносному «варварству» русского народа, обусловленному тяжелыми историческими условиями, Достоевский противопоставляет красоту его внутреннего облика и нравственных идеалов. «А идеалы его сильны и святы, — и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом соединении» (22, 43). Близость к народу и его нравственной правде для Достоевского — основной критерий в оценке русской литературы.

Ценность русской литературы XIX в. Достоевский определяет прежде всего тем, что вслед за Пушкиным «она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции <...> преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные» (22, 44).

народного творчества, раскрывшему в «Записках охотника» нравственную красоту и богатый духовный мир русского крестьянина.

³⁰ Определение «гений чистой красоты» в применении к Потугину имеет проницательный смысл. Потугинскому пониманию красоты как красоты внешних европейских форм Достоевский противопоставляет в черновых материалах красоту высшего нравственного идеала русского народа.

«... Вспомните Обломова, вспомните „Дворянское гнездо“ Тургенева, — пишет Достоевский. — Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, — все это от того, что они в них соприкоснулись с народом, это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному» (22, 44).

В черновом автографе главы после заключительных слов приведенного выше текста следовала восторженная оценка образа Лаврецкого и романа «Дворянское гнездо»,³¹ существенная для понимания отношения Достоевского к творчеству Тургенева в целом. «Поэтическую мысль» романа Тургенева Достоевский усматривает в трагическом конфликте Лаврецкого, «простодушного, сильного духом и телом, кроткого и тихого человека, честного и целомудренного», «со всем нравственно-грязным, изломанным, фальшивым, наносным, заимствованным и оторвавшимся от правды народной» (22, 189).

Историческая заслуга Тургенева-художника, по Достоевскому, состоит в том, что он первый в русской литературе в образе Лаврецкого воплотил мечту «всех поэтов наших и всех страдающих мыслию русских людей» (т. е. интеллигенции, в том числе западников и славянофилов) о слиянии «оторвавшегося общества русского» с «душою и силой народной».

Для Достоевского Лаврецкий — это тип искомого русского образованного человека, самое существование которого как бы является «пророчеством возможности соединения с народом». Именно поэтому «Дворянское гнездо» «есть произведение вечное» и «принадлежит всемирной литературе».

«Уж меня-то не заподозрят в лести г-ну Ив. Тургеневу, — добавляет Достоевский. — Выставил же я это произведение его потому, что считаю эту поэму, из всех поэм всей русской литературы, самым высшим оправданием правды и красоты народной. Выставил же я произведение г-на Тургенева и потому еще, что г-н Ив. Тургенев, сколько известно, один из самых [ярких] односторонних западников по убеждениям своим и представил нам позднее дрянной и глупенький тип — Потугина, с любовью нарисованный [и представляющий], олицетворяющий собою идеал сороковых годов ненавистника России и народа русского, со всей ограниченностью сороковых годов, разумеется <...> Об этом Потугине <...> я еще поговорю <...> конечно потом...» (22, 189—190).³²

³¹ См. подготовленные нами варианты чернового автографа этой главы (22, 189—190).

³² Ср. заметку в другом месте чернового автографа: «Тургенев. И этот даже может быть больше всех, я именно упираю на Тургенева потому, что он яркий западник и издал своего скверного и глупенького Потугина, которым я намерен заняться. Кажется, меня-то уже не заподозрят в лести г-ну Тургеневу, г-ну Ив. Тургеневу» (22, 186).

Эта замечательная характеристика романа «Дворянское гнездо» и его главного героя — высшее признание Достоевским заслуг Тургенева-художника как подлинно народного писателя. С таким высоким пафосом Достоевский говорил лишь о Пушкине. Не случайно он упомянул Тургенева в числе последователей Пушкина, осуществивших, по завету своего учителя, дальнейший «поворот к народу» русской литературы.

В своей оценке Лаврецкого и «Дворянского гнезда» в целом Достоевский близок Аполлону Григорьеву, который в 1859 г. в статье «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо“» дал почвенническую интерпретацию романа Тургенева.

Именно А. Григорьев первым увидел в Лаврецком русского образованного человека, смирившегося перед «народной правдой». Лаврецкого как человека «жизни» и «почвы», русского по своему существу, критик противопоставил Паншину как человеку «теории» (таков же смысл противопоставления Лаврецкого Потугину у Достоевского).

«Смирение перед народной правдой» — эти слова Лаврецкого³³ А. Григорьев поставил эпиграфом к статье «После „Грозы“ Островского. Письма к Ив. Серг. Тургеневу» (1860). Обращаясь к Тургеневу, критик напоминает: «Это одно, что осталось нам, это именно и есть „смирение перед народной правдой“, которую так силен ваш разбитый Лаврецкий. Иначе, без смирения перед жизнью, мы станем непризванными учителями жизни, непрощеными начальниками народного благоденствия, — а главное, будем поставляемы в постоянно ложные положения перед жизнью».³⁴

Победа «почвы», в представлении А. Григорьева и Достоевского, — победа живой жизни над отвлеченными теориями.

Возможно, что именно новому обращению Достоевского к «Дыму» и Потугину мы обязаны появлением в черновой рукописи «Дневника писателя» замечательной характеристики «Дворянского гнезда» и Лаврецкого. Ее смысл (открытый в черновом автографе и скрытый в законченной редакции главы) — в противопоставлении Лаврецкого как «почвенного» русского интеллигента и патриота Потугину, беспочвенному космополиту-западнику, «ненавистнику России и народа русского». Для Достоевского Лаврецкий с его смирением перед народной правдой — свидетельство возможности сближения интеллигенции с народом, в то время как Потугин, презирающий «народные начала» и слепо преклоняющийся перед европейской цивилизацией, — наглядное доказательство крайнего разрыва европеизированной русской интеллигенции с родной почвой.

³³ Ср.: «Лаврецкий (...) требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею — того смирения, без которого и смелость противу лжи невозможна...» (Т. Соч., VII, 232).

³⁴ Григорьев А. Литературная критика. М., 1967, с. 379.

Другая цель Достоевского — противопоставить Тургенева как подлинно народного писателя, признавшего прекрасными народными идеалами (автор «Записок охотника» и «Дворянского гнезда»), Тургеневу — «западнику» и «космополиту», «изменившему» народной правде (автор «Дыма»). Лаврецкий и Потугин — это как бы два разных лица самого Тургенева. Это двойное противопоставление проходит завуалированно через многие страницы «Дневника писателя».

Свое обещание специально «заняться» Потугиным³⁵ Достоевский собирался осуществить в мартовском выпуске «Дневника писателя». Один из черновых планов этого выпуска заканчивается записью: «А после всего Потугин. Значение Тургенева» (24, 144—145).

Очевидно, Достоевский намеревался вернуться к неосуществленному в февральском выпуске «Дневника писателя» замыслу дать общую оценку творчества Тургенева на основе анализа «Дворянского гнезда» и провести параллель между Лаврецким и Потугиным.

«Я сказал, что ждать от народа, от православия, — пишет Достоевский в мартовских черновиках 1876 г., имея в виду февральский выпуск «Дневника писателя». — Я указал на Тургенева и проч. Но это лишь попытки, намеки. — ... Потугин. *Взгляните на Потугиных* — вам поневоле придется остановиться на литературе Дела. Но у них потому и талантов нет, что дело еще не разъяснено и что пока еще лишь мечта» (24, 159).

Достоевский ставит Потугина в один ряд с героями «дела», т. е. с неудавшимися в литературе образами деятелей (в применении к Потугину «дело» понимается как проповедь служения отвлеченной «европейской цивилизации»).

Целая серия черновых записей, характеризующих русскую и западноевропейские литературы в их отношении к эстетическому идеалу, наводит на мысль, что Достоевский собирался писать специальную статью на эту тему.³⁶

«Литературе отчаяния» (современная литература, лишенная высоких идеалов) и неудавшейся литературе «дела» (т. е. деятелей и деятельности) Достоевский противопоставляет «литературу красоты», которая «одна лишь спасет».³⁷ К «литературе

³⁵ Ср. февральскую черновую запись: «А целое есть. Оно уже схвачено. Тихон, Мономах, Илья, но однако все это идеалы народные. Недалеко ходить, у Пушкина, Каратаев, Макар Иванов, Обломов, Тургенев (Лаврецкий. — Н. Б.), ибо только положительная красота и останется на века. Потугин. Потугиным я займусь. Я имею право: я поставил Тургенева одним из самых первых (т. е. в ряду писателей, соприкоснувшихся с народной правдой. — Н. Б.)» (22, 153).

³⁶ См. также: *Розенблюм Л. М.* Творческие дневники Достоевского, с. 158—161.

³⁷ Ср. черновую запись: «Прекрасное в идеале недостижимо по чрезвычайной силе и глубине запроса. Отдельными явлениями. Оставайтесь правдивыми. Идеал дал Христос. Литература красоты одна лишь спасет»

красоты», соприкоснувшейся с высшим идеалом прекрасного, Достоевский относит «Отверженных» Гюго, отчасти Диккенса, а в России — Пушкина, «Отрочество» и «Войну и мир» Толстого, «Обломова» Гончарова, «Дворянское гнездо» Тургенева, подтвердив тем самым чрезвычайно высокую оценку, данную им этому роману в февральском выпуске «Дневника писателя» 1876 г. и в черновых материалах к нему.

(24, 167). См. также: *Фридендер Г. М.* Эстетика Достоевского. — В кн.: *Фридендер Г. М.* Достоевский и мировая литература. М., 1979, с. 62—140.

К ИСТОЧНИКАМ ПОЭМЫ «ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР»

Роман «Братья Карамазовы» в целом и заключенная в нем легенда, в которой затронуты центральные проблемы, волновавшие писатели к концу его жизни, созданы на основе огромного круга самых разнообразных книжных и устных источников. Литературные и исторические источники поэмы, и даже тот широкий круг сопоставлений, ассоциаций и литературных параллелей, границы которого могут непрерывно раздвигаться, имеют принципиальное значение, так как оригинальность замысла Достоевского может быть выявлена только на основе их всестороннего изучения. Естественно, что работа должна идти не в направлении простой констатации черт сходства и совпадений. Как справедливо заметил В. А. Туниманов, «проблематика поэмы настолько обща, что параллели можно проводить бесконечно, но вряд ли что способен объяснить длинный реестр аналогий и „заимствований“».¹

Интересующей нас теме посвящено немало талантливых работ, в которых с большей или меньшей убедительностью выдвигались такие литературные и исторические источники легенды, как «Дон Карлос» Шиллера, «Опыты» Монтеня, «Жизнь Иисуса» Давида Штрауса, стихотворение А. Н. Майкова «Исповедь королевы», произведения Вольтера и Гюго, «Каменный гость» Пушкина, «Мельмот Скиталец» Ч. Р. Метьюрина, книга В. Прескотта «История царствования Филиппа II, короля испанского», картины Эль Греко, Веласкеса и Дюрера, отголоски в печати западноевропейской общественно-политической жизни 1860—1870 гг. и т. д. Было отмечено, наконец, что проблематика поэмы «Великий инквизитор» просматривается уже в повести «Хозяйка» и во многих публицистических статьях Достоевского. Весь этот громадный материал подвергнут обобщающему анализу в комментариях к роману в академическом собрании сочинений писателя, в разделе, написанном Г. М. Фридендером и Е. И. Кийко (см.: 15, 462—465). Представляется возможным сделать некоторые дополнения к этому списку произведений, находившихся в поле зрения Достоевского при создании поэмы.

¹ См.: Туниманов В. А. О литературном и историческом «прототипах» Великого инквизитора. — Учен. зап. Чечено-Ингушского гос. пед. ин-та. Сер. филол., Грозный, 1968, вып. 15, № 27, с. 29.

Первое из них имеет отношение к заложенной в легенду ситуации, «кадру легенды»,² представляющему собой, по справедливому мнению Л. П. Гроссмана, «в сущности единственный у Достоевского опыт реставрации прошлого».³ Во 2 и 3 номерах «Московского телеграфа» за 1830 г. была опубликована повесть,⁴ охарактеризованная как перевод испанской книги, принадлежащей перу Бартоломео де Окампо. В примечании переводчика было сказано: «Сия повесть есть перевод небольшой и ныне чрезвычайно редкой книжки, которая была напечатана в Лейдене, в 1569 году, на Испанском, Фламандском и Голландском языках, под названием: *Удивительное судопроизводство*. Из предисловия, которое переводим для наших читателей, видно, что таких книжек было в то время издано несколько: они погибли, сохранилась только одна из них, здесь вполне предлагаемая. За истину описанного в ней мы не ручаемся, и цела ли доныне *Красная Книга* в Лейдене, не знаем».⁵

В интересующем нас отношении сюжет повести сводится к следующему: в Испании XVI столетия появляется Он; все узнают его, хотя никто не смеет назвать его имя. Он совершает

² «Существуют три основных момента „Легенды“: кадр повествования (случайное место встречи двух братьев), кадр легенды (Испания периода Инквизиции) и монолог Великого инквизитора, являющийся ключевым элементом „Легенды“ и в то же время смыслом ее существования» (*Teodorescu L. Legenda Marelui Dostoevski. — Studii de Literatură Universală. București, 1970, t. 16, p. 95*).

³ См.: *Гроссман Л. П. Достоевский-художник. — В кн.: Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959, с. 334. — Испания вдохновила Достоевского еще на один замечательный опыт подобной «реставрации прошлого». Сцена из «Дон Кихота», послужившая основой главы «Ложь ложью спасается» из «Дневника писателя» за 1877 г. и не имеющая прямых аналогий в сервантесовском тексте, представляет собой совершенно самостоятельное произведение русского писателя (см. об этом: *Багно В. Е. Достоевский о «Дон Кихоте» Сервантеса. — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1978, вып. 3, с. 126—135*). — Примечательно, что легенда Достоевского, построенная на испанском материале, послужила, по всей вероятности, толчком к созданию едва ли не лучшего произведения крупнейшего испанского философа и писателя XX в. М. де Унамуно «Святой Мануэль Добрый, мученик». В последние годы эта тема чрезвычайно интенсивно разрабатывается, прежде всего американскими исследователями (см., например: *Эджертон В. Достоевский и Унамуно. — В кн.: Сравнительное изучение литератур. Л., 1976, с. 189—194; Cronc A. L. Unamuno and Dostoevsky: Some thoughts on atheistic humanitarism. — Hispánofila, Chapel Hill, 1978, t. 64, p. 43—59; Marmall Th. Unamuno and Dostoevsky's Grand Inquisitor. — Hispania, Wishita, 1978, vol. 61, № 4, p. 851—858*). Однако первым, по-видимому, на чрезвычайную близость «агонизирующих» героев Унамуно образу Великого инквизитора обратил внимание И. И. Лапшин в 1929 г., т. е. еще до выхода в свет повести «Святой Мануэль Добрый, мученик», имеющей уже прямое отношение к поэме Достоевского (см.: *Лапшин И. И. Как сложилась Легенда о Великом Инквизиторе. — В кн.: О Достоевском. Прага, 1929, т. 1, с. 137*).*

⁴ Таинственный жид. — Моск. телеграф, 1830, ч. 31, № 2, с. 182—202; № 3, с. 318—344.

⁵ Там же, № 2, с. 182.

чудеса, привлекая этим внимание инквизиции, которая бросает его к темницу. Во время допросов его ответы повергают инквизиторов в ужас. В полной растерянности они обращаются за советом к Великому инквизитору. Тот приказывает им немедленно сжечь еретика. «Франциск Хименес де Циснерос, да коснется тебя перст Божий!», — произносит, услышав этот приговор, таинственный незнакомец. В этот момент в Севилье умирает Великий инквизитор, а пленник удивительным образом исчезает из темницы.

Некоторое представление о таинственном пленнике можно получить из его ответов инквизиторам:

«Вопрос. Имя твое?

Ответ. Узнавши его, ты ничего не узнаешь.

В. Где твое жилище?

О. На земле.

В. Сколько тебе лет?

О. Тысяча пятьсот шестнадцать».⁶

«В. И ты мыслишь, что сие судилище ничего не может над тобой?

О. Ничего.

В. Когда же умрешь ты?

О. Человеку не дано разуметь времена и лета.

В. Но где родился ты?

О. Там, где иссохшая земля и соляные пустыни вещают о гнев Божьем, где древле цвели и зеленели поля, и земля текла млеком и медом.

В. Ты Иудей?

О. Я человек.

В. Крестился ли ты?

О. Ты не поймешь, если я буду отвечать.

В. Зачем же ты носишь крест?

О. Он свидетельствует о том, что есть жизнь выше тленных пределов бытия».⁷

«В. Давно ли ты посещал Иерусалим?

О. В тот день, когда пало проклятие на Иудею».⁸

На протяжении всей повести никто ни разу не произносит его имя: «Кто этот человек? Это он, ответил Созим. Разумеется он! возразил старик; да кто он? Это он, сказал снова Созим. Разве его имя: он? спросил Ахмет. Нет, ответил провожатый, но это он».⁹

«Облокотившись на ветвь дерева, я отдыхал стоя. Он проходил мимо. Это был точно он, в своей белой одежде, с большим крестом на груди».¹⁰ Сходным образом и Достоевский вводит в повествование Христа, видя в подобном необъяснимом узнава-

⁶ Там же, № 3, с. 335—336.

⁷ Там же, с. 336—337.

⁸ Там же, с. 342.

⁹ Там же, № 2, с. 196.

¹⁰ Там же, № 3, с. 323.

нии его людьми, не смеющими назвать его имя, высшую художественную правду: «Он появляется тихо, незаметно, и вот все — странно это — узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его». И далее: «Это он, это сам он, — повторяют все, — это должен быть он, это никто как он» (14, 226, 227).

Из нескольких ответов таинственного незнакомца со всей определенностью следует, что речь идет не о Христе, а о легендарном персонаже, в литературах нового времени фигурирующем в основном под именем Агасфера. Вот эти ответы:

«В. Итак, ты бессмертен?»

О. Нет! рожденное умрет, кроме одного рожденного от жены, но не человека. Я — человек!».¹¹

«О. Был преступник, который за серебро продал больше нежели душу. В отчаянии потом бросил он деньги на покупку поля крови, а я поднял кинутый им кошелёк: он жжет мои руки, но — я осужден носить его; и когда в нем непрерывно являются деньги по моему требованию, мне легче».¹²

В самой популярной своей форме легенда об Агасфере — сравнительно недавнего происхождения и появилась, по-видимому, в XVI в., в то время как в основу этой легенды полулитературного происхождения легло несколько народных раннехристианских преданий, зародившихся в Палестине.¹³ Эти легенды о свидетелях или виновниках страстей господних, которые дожидаются Страшного суда, таких как воин Марк или Малх, римлянин Картафил, привратник претории Пилата или апостол Иоанн, вначале достаточно четко делились на сказания о людях, наказанных долголетием за ненависть к Спасителю, и о тех, кто был награжден им за свою любовь к Христу. Рассказы о них впоследствии разносились паломниками по всей Европе и были записаны и в странах Запада, и на Руси.

«Из этих и подобных легенд, — по словам Горького, — сложилась, наконец, красивая и жуткая легенда о человеке, который извечно ходит по земле, бессмертно живет среди людей, являясь свидетелем их заблуждений и ошибок, радостей и горя, глупости и зверства».¹⁴ При этом естественным образом происходила контаминация черт и мотивов и таким образом возникали в Италии легенды о Буттадео (Buttadeus, Boutedieu, Botadieu, Buttadeo,

¹¹ Там же, с. 336.

¹² Там же, с. 339.

¹³ См., например: *Веселовский Александр Н.* К вопросу об образовании местных легенд в Палестине. — ЖМНП, 1885, ч. 239, май, с. 166—183; *Костицын А. В.* Вечный жид: Очерки из истории легенды. Смоленск, 1909; *Killen A. M.* L'Évolution de la légende du Juif Errant. — Rev. de litt. comparée, Paris, 1925, № 5, p. 5—36; *Paris G.* Le Juif Errant. — In: *Paris G.* Légendes du Moyen Age. Paris, 1903, p. 149—221; *Zirus W.* Ahasverus, der ewige Jude. Leipzig, 1930.

¹⁴ *Горький М.* Предисловие. — В кн.: *Легенда об Агасфере — «Вечном Жиде»; Поэмы Шубарта, Ленау и Беранже.* Пб., 1919, с. 39.

Vottadio, Bottadio), во Фландрии и Голландии — об Исааке Лакедеме (Isaac Laquedem), в Германии — об Агасфере (Ahasverus), в Испании — о Хуане де Вото-а-Дьос (Juan de Voto-a-Dios, Juan Espera en Dios, Juan Servo di Dios).

Легенда привлекла внимание Гете, Шамиссо, Шелли, Ленау, Беранже, Э. Сю, Жуковского, Пушкина, Кюхельбекера.¹⁵ Это и неудивительно. По словам одного из исследователей ее литературного бытования, «человек, живущий и ныне, современник Христа, беседовавший с первыми мучениками, видевший своими глазами падение римского колосса, переселение народов, средние века с их верованиями, искусствами, памятниками, человек, насыщенный днями и не могущий умереть; человек, которому суждено исчезнуть последним в творении; человек, руки которого должны были закрыть глаза умирающего человечества и окутать мир саваном небытия, — такой грандиозный образ должен был поразить фантазию величайших поэтов».¹⁶

Популярность сюжета затрудняет поиск автора повести, напечатанной в «Московском телеграфе».¹⁷ Нам не удалось до сих пор это произведение атрибутировать. Нет никаких указаний на этот счет ни в работах, посвященных «Московскому телеграфу»,¹⁸ ни в многочисленных русских, французских, немецких и английских книгах и статьях о литературной судьбе легенды.¹⁹ Исходя из репертуара «Московского телеграфа», отсутствия такого произведения в испанской письменности,²⁰ достаточно глубокой осведомленности автора в испанской истории и культуре и некоторых художественных особенностей повести, можно предположить, что перед нами псевдоиспанское произведение, принадлежащее перу писателя эпохи романтизма. Однако просмотр работ об испанской

¹⁵ О литературной судьбе легенды в новое время см.: *Базинер О. Ф.* Легенда об Агасфере, или «Вечном жиде» и ее поэтическое развитие во всемирной литературе. — Варшав. унив. изв., 1905, кн. 3, с. 1—53; *Helbig F.* Die Sage vom «Ewigen Juden», ihre poetische Wandlung und Foltbildung. Berlin, 1874; *Glasener H.* Le type d'Ahasverus aux XVIII-e et XIX-e siecles. — Rev. de litt. comparée, Paris, 1931, N 11, p. 373—397.

¹⁶ *Magnin.* Ahasvérus et la nature du génie poétique. — Цит. по кн.: *Костицын А. В.* Вечный жид: Очерки из истории легенды, с. 28—29.

¹⁷ В научный оборот повесть «Таинственный жид» была недавно введена (без указания ее автора) в примечаниях к изданию: *Кюхельбекер В. К.* Путешествие; Дневник; Статья. Л., 1979, с. 299. — Поводом для комментирования послужила дневниковая запись В. К. Кюхельбекера от 1834 г., согласно которой писатель еще в Динабурге читал эту повесть и счел ее примечательной «по своей оригинальной форме».

¹⁸ Прежде всего в брошюре, специально посвященной обзору иностранной литературы в журнале Н. А. Полевого: *Козмин Н. К.* «Московский телеграф»: Иностранная журналистика и литература. СПб., 1900.

¹⁹ По-видимому, повесть ускользнула от внимания исследователей, потому что в самом заглавии (особенно в форме «Удивительное судопроизводство»), но также и в форме «Таинственный жид») соотносительность с легендой об Агасфере оказалась утраченной.

²⁰ Ввиду отсутствия в ГПБ необходимого тома библиографии книг, напечатанных в Голландии, я не имел возможности окончательно удостовериться, что данное сочинение не было издано в Лейдене в 1569 г.

теме у писателей-романтиков,²¹ а также французских и английских журналов (таких как «Revue encyclopédique», «Revue britannique», «Revue française», «Journal de savants», «Edinburgh Review»), материал из которых наиболее активно заимствовался Н. А. Полевым для своего издания,²² оказался до сих пор безрезультатным.

Историческими прототипами Бартоломео де Окампо, вымышленного, по всей вероятности, автора «Удивительного судопроизводства», были Флориан де Окампо, известный испанский историкограф и хронист XVI в., и Бартоломео де Окампо, испанский религиозный деятель XVII в., занимавший важный пост в Инквизиции. Любопытно при этом, что интересующая нас повесть имеет много точек соприкосновения с испанской традицией легенды о Хуане де Вото-а-Дьос и Хуане де Эспера-а-Дьос. Вторая из этих двух версий уже в XVI в. отразилась в литературе. Отголоски ее встречаются даже в творчестве Лопе де Веги, Сервантеса, Ф. де Кеведо и Кальдерона.²³

Что же касается русской традиции легенды об Агасфере, то она начинается по крайней мере в XVII столетии. В 1663 г. в курантах был напечатан перевод немецкой брошюры «Краткое описание и рассказ об одном иудее по имени Агасфер» (1602), которая, в свою очередь, представляла собой немецкую обработку старого фольклорного сюжета. Побуждением к переводу, по мнению В. П. Адриановой-Перетц, послужило «ожидание в 1666 году великих событий, предварявших, по верованиям того времени, наступление конца света и появление Антихриста».²⁴ В 1759 г. в «Праздном времени» была напечатана «Епистола», переведенная «с дацкого», в которой мы читаем: «Не все могут быть так здоровы от непрестанной езды и перемены воздуха, как иерусалимский башмачник, который больше 1750 лет бродит, а сказывают, что еще находится в добром здоровье». К словам «иерусалимский башмачник» сделано примечание: «Рассеявшаяся за несколько лет басня про жида, который будто бы, будучи при распятии Христа-спасителя, и поныне по земле странствует».²⁵

В середине 20-х гг. замысел произведения на тему о Вечном жиде возник у Пушкина, от которого сохранился лишь отрывок «В еврейской хижине лампада». Непосредственно с повестью

²¹ Отсутствуют какие-либо упоминания повести в таких работах, как: *Алексеев М. П.* Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. Л., 1964; *Martinetche E.* L'Espagne et le romantisme français. Paris, 1922; *Coley S.* The Spanish World in English Fiction. Boston, 1927; *Williams S. T.* La huella española en la literatura norteamericana. Madrid, 1957, t. 1—2.

²² К сожалению, далеко не все они оказались представленными в ленинградских и московских книгохранилищах.

²³ Подробнее см.: *Gillet J. E.* Traces of the Wandering Jew in Spain. — *The Romanic Rev.*, New York, 1931, vol. 22, № 1, p. 16—27.

²⁴ См.: *Адрианова В. П.* К истории Легенды о странствующем жиде в старинной русской литературе. Пг., 1915, с. 16.

²⁵ Праздное время в пользу употребленное, 1759, ч. 1, с. 313.

«Таинственный жид» связана поэма В. К. Кюхельбекера «Вечный Жид». Возможно, именно благодаря повести, напечатанной в «Московском телеграфе», к легенде об Агасфере обратился В. А. Жуковский, первый этап работы которого над его «Агасфером» (1851—1852) датируется 1831 г.

По всей вероятности, Достоевский читал интересующую нас повесть еще в детстве. Так как в то время об образе Агасфера он вряд ли имел представление, желание Великого инквизитора сжечь Христа должно было произвести на него потрясающее впечатление²⁶ и отложиться в памяти. Подобная соотнесенность, возможно, входила в замысел автора повести. Более того, она вполне укладывалась в русло традиции. Исследователями легенды об Агасфере неоднократно подчеркивалось, что та ее линия, которая связана с образом апостола Иоанна, постепенно обогащалась многочисленными ассоциациями, восходящими к образу Христа.²⁷ Существенно, что для инквизиторов повести, и прежде всего для Великого инквизитора, таинственный пленник представляет опасность как свидетель пребывания Христа на земле, т. е. человек, который с неизбежностью должен был увидеть, сколь искажено учение Спасителя. Именно в этом отношении повесть могла представлять интерес для Достоевского и подсказать ему некоторые детали «кадра легенды». Выбор Севильи в качестве места действия мог быть подсказан именно этой повестью, так как, согласно ей, именно из Севильи Великий инквизитор посылает свой ответ инквизиторам относительно участи незнакомца.

В период работы над «Братьями Карамазовыми» легенда об Агасфере была Достоевскому уже хорошо известна, в частности по одному из самых знаменитых произведений на этот сюжет — «Вечному жиду» Э. Сю.²⁸ Замена, подсказываемая самой повестью и произведенная Достоевским, несет мощный полемический заряд. Герой повести, напечатанной на страницах «Московского телеграфа», совершает чудеса в основном одного лишь свойства: он убивает преступников (в том числе и Великого инквизитора), восстанавливая справедливость, произнося фразу «Да коснется тебя перст Божий!». Христос Достоевского пришел в мир, чтобы любить и сострадать. По словам В. Е. Ветловской, «хотел Иваг того или не хотел, движение Христа в его поэме подчеркивает,

²⁶ Кстати сказать, мысль о том, что христиане способны, если не сжечь, то снова распять Христа, приходила в голову и католикам. Однако они в этом случае имели в виду лютеран. Тереса де Хесус, крупнейшая испанская писательница Золотого века, писала, например, в своей книге «Camino de perfección», что, судя по слухам, эти люди, которым Христос сделал столько добра, снова хотят осудить его и даже готовы вновь его распять, «чтобы негде было ему преклонить голову» (*Teresa de Jesus, St. Obras compl. Madrid, 1976, p. 197*).

²⁷ См., например: *Schöbel Ch. La légende du Juif-errant. Paris, 1877, p. 75; Paris G. Légendes du Moyen Age, p. 183.*

²⁸ См.: П., I, 78; Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964, т. 1, с. 241.

по замыслу автора, милосердие и высоту самого Христа, не оставляющего своей любовью даже этого мрачного убийцу, „столь упорно и столь по-своему любящего человечество“». ²⁹ Конфликт, таким образом, был коренным образом переосмыслен.

Особенно характерным примером подобного полемического переосмысления является эпизод, в котором Христос, вняв мольбам матери, воскресил ее дочь: «Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. „Он воскресит твое дитя“, — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: „Если это ты, то воскреси дитя мое!“, — восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и еще раз произносят: „Талифа куми“ — „и восста девица“. Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу» (14, 227). Сравним: «Падишах со своею свитою выезжал в гору, а по другой возли на кладбище хоронить одну молодую девицу. Лицо ее было открыто; волосы ее были напитаны благовониями; арабат, на котором лежало ее тело, был усыпан цветами и масличными листьями; в руке держала она белую розу. Он велел мне идти за собою, и я пошел. Он раздвинул толпу, приблизился к арабату, взял белую розу из рук молодой девушки и, отдавая мне, велел бросить ее в реку».³⁰ «В. Для чего сбросил ты розу с тела Адрианопольской девы? О. Она отравила отца своего, дабы выйти замуж за одного корыстолюбца».³¹ В библейских текстах, к которым восходят в целом оба эпизода, отсутствует такой значимый элемент, как белая роза, введенный автором повести из «Московского телеграфа» и, на наш взгляд, переосмысленный в соответствии с коренной трансформацией эпизода Достоевским. Христос в поэме Достоевского дарует вторую жизнь девочке, подтверждая тем самым, что белая роза в ее руке символизирует действительно, а не мнимую невинность.

Еще большее значение, делающее несоизмеримыми рассмотренную нами повесть и грандиозный замысел Достоевского, имело введение образа Великого инквизитора.

2

Отмеченные до сих пор источники касались прежде всего тех или иных черт образа Великого инквизитора, тех или иных поло-

²⁹ См.: *Ветловская В. Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977, с. 135.

³⁰ Моск. телеграф, 1830, № 3, с. 330.

³¹ Там же, с. 341.

жений его философии. Нам представляется, что немаловажное значение в этом смысле имела для Достоевского трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери». Достоевский, несомненно, был одним из тех читателей маленькой трагедии Пушкина, которые, по словам М. П. Алексеева, «почувствовали за образами Моцарта и Сальери не реальных исторических лиц, а великие обобщения, контуры большого философского замысла».³²

О пушкинских традициях в творчестве Достоевского написано немало. Из специальных работ можно назвать статьи Д. Д. Благого, С. М. Бонди, С. Г. Бочарова, В. А. Викторовича, Е. А. Маймина.³³ «Моцарту и Сальери» в этом смысле справедливо отводилось одно из центральных мест. При этом отмечалось, с одной стороны, что трагедия Пушкина «предвосхищает» творчество Достоевского своим полифонизмом и неоднозначной системой отсчета, а с другой, — значение нравственно-философской проблематики «гения и злодейства», отразившейся, в частности, на идейной структуре образа Раскольникова. На наш взгляд, «пушкинский элемент» не менее силен и в поэме «Великий инквизитор».

В первом монологе Сальери (как и в монологе Великого инквизитора) с поразительной рельефностью развивается мотив самопожертвования из любви к музыке и ради музыки. Этот мотив настойчиво подчеркивается ключевыми глаголами: «отверг», «отрекся», «преодоле», «умертвил». Обретенное таким образом счастье заключалось в том, что он «в сердцах людей нашел созвучья своим созданным». И эту с трудом и в самоотречении созданную гармонию разрушил своим появлением Моцарт, с точки зрения Сальери, безусловно гений, однако «недостойный сам себя». Великий инквизитор Достоевского также убежден, что смысл его существования в том, чтобы делать людей счастливыми, и появление Христа должно нарушить эту гармонию, принести горе «чадам праха» и, как следствие этого, — «хранящим тайну». Согласно Сальери (что полностью соответствует пафосу монолога Великого инквизитора), не только Моцарт не знает, что он принес в мир («Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»), но знает это только Сальери («Я знаю, я»).

Неоднократно отмечалось, что на христианском фоне рационалистический бунт Сальери — это бунт богоотступника и бого-

³² См.: Алексеев М. П. «Моцарт и Сальери». — В кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1935, т. 7, с. 544.

³³ См.: Благой Д. Д. Достоевский и Пушкин. — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972, с. 344—426; Бонди С. М. «Моцарт и Сальери». — В кн.: Бонди С. М. О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1978, с. 242—309; Викторович В. А. О поэтике сюжетного эксперимента: Пушкин и Достоевский. — В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1981, с. 166—177; Бочаров С. Г. О двух пушкинских реминисценциях в «Братьях Карамазовых». — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1976, вып. 2, с. 145—153; Маймин Е. А. Полифонический роман Достоевского и пушкинские традиции. — В кн.: Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976, с. 312—315.

борца, протестующего против расхождения «неба» с разумом.³⁴ По сути дела оба героя исходят из посылки: «...нет правды на земле, но правды нет — и выше», и поэтому убеждают себя, что они призваны взять на себя ответственность, установить правду, восстановить справедливость: ради Музыки отравить гения музыки, ради Человечества сжечь Сына Человеческого. «Он только ищет — и находит! — пишет о пушкинском герое С. М. Бонди, — такие идеологические объяснения этого чувства, которые вполне оправдали бы его и превращали бы его убийство из зависти в подвиг, в совершение тяжкого, но высокого долга».³⁵ Бонди справедливо отмечает, что Пушкин первым развил новую психологическую ситуацию: его герои «стараются уверить себя в том, что их преступными действиями руководят или высокие психологические соображения, или если и страсть, то какая-то иная, не столь позорная, а высокая...».³⁶ Именно в этом для Достоевского прежде всего сказались уроки пушкинского психологизма. Если же вспомнить, что у Достоевского поэма Ивана соотносится со средневековыми мистериями, то можно провести еще одну параллель. С точки зрения формальной логики как Сальери, так и Великому инквизитору возразить нечего. Рационализированная схема работает безупречно.³⁷ Опровержение должно было быть выражено, и выражено, на ином уровне, в ином измерении. В отношении маленькой трагедии Пушкина тот факт, что, коль скоро это драматическое произведение, идеологический спор происходит в ней непрерывно, был также отмечен С. М. Бонди.³⁸ Уже при отсутствии оппонента (даже за вычетом движений, жестов, мимики) дает возможность зрителю воссоздать его точку зрения, проникнуться ею. Неизмеримо большее значение это замечание имеет для поэмы Достоевского, в которой огромную эмоциональную нагрузку несет *взгляд* Христа, устремленный на Великого инквизитора.

Из объяснений, которыми проникается Сальери, прямое отношение к герою Достоевского имеет его убеждение в том, что гениальная музыка Моцарта не только не принесет пользы искусству, но и вредна для него; она не подымет искусства, так как никто не сможет творить на его высоте, «наследника нам не оставит он», — и искусство «падет опять, как он исчезнет». Аналогия с аргументацией Великого инквизитора полная: Христос пришел «мешать» церкви, ибо люди не способны подняться до

³⁴ См., например: Чумаков Ю. Н. Два фрагмента о сюжетной полифонии «Моцарта и Сальери». — Болдинские чтения. Горький, 1981, с. 41; Глушкова Т. Притча о Сальери. — Вопр. лит., 1982, № 4, с. 122.

³⁵ См.: Бонди С. М. «Моцарт и Сальери», с. 257.

³⁶ Там же, с. 251.

³⁷ Пожалуй, единственный «срыв» рациональных умозаключений, самой логикой раскрытия образа Великого инквизитора вновь сближающий его с Сальери, — стремление убить Христа. Сальери тоже несет смерть «бессмертному гению».

³⁸ См.: Бонди С. М. «Моцарт и Сальери», с. 246.

высоты его идеалов. Вообще почти каждая строка последнего монолога Сальери в первой сцене имеет соответствия в поэме «Великий инквизитор». Проблематика (при необходимой замене музыки на человечество) до последних деталей настолько близка, что возможность случайного совпадения почти исключается:

«Моцарт и Сальери»

«Что пользы, если Моцарт
будет жив

И новой высоты еще
достигнет?

Подымет ли он тем
искусство? Нет;

Оно падет опять, как он
исчезнет;

Наследника нам не
оставит он.

Что пользы в нем? Как
некий херувим,

Он несколько занес нам
песен райских,

Чтоб, возмутив бескрылое
желанье

В нас, чадах праха, после
улететь!

Так улетай же, чем
скорей, тем лучше». ³⁹

«Великий инквизитор»

«Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавить к тому, что уже прежде сказано» (14, 228).

«Не ты ли так часто тогда говорил: „Хочу сделать вас свободными“. Ну вот ты теперь увидел этих „свободных“ людей» (14, 229).

«Но повторяю, много ли таких, как ты?» (14, 233).

«О ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубин времен и последних пределов земли...» (там же).

«О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно как бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это — они-то боги ли?» (там же).

«И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям под силу подобное искушение?» (там же).

«Завтра сожгу тебя» (15, 237).

Знаменательно, что отдельные ассоциации и мысли, имеющие отношение к тому кругу размышлений, на который, на наш взгляд, вывела Достоевского маленькая трагедия Пушкина, встречались в работах пушкинистов, особенно начала XX в. По замечанию М. О. Гершензона, например, Сальери «убивает в сущности не Моцарта, а Бога («небо») и спасает человечество в его целесообразном труде». ⁴⁰ И далее: «Это гордое самоутверждение человека, этот бунт против неба Пушкин довел в Сальери до крайней черты, когда мятежное настроение, созрев, раздражается действием, активным противодействием верховной силе — убийством ее посла». ⁴¹ Во многом сходной интерпретации маленькая

³⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., 1937, т. 7, с. 128.

⁴⁰ См.: Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919, с. 116.

⁴¹ Там же, с. 121.

трагедия Пушкина была подвергнута Д. Дарским, согласно которому Сальери был приверженцем Сатаны.⁴² Возможно, однако, что эти наблюдения были сделаны не без помощи поэмы Достоевского.⁴³

3

Определенное влияние на Достоевского могла оказать концепция испанской истории и культуры, высказанная известным английским историком-позитивистом Генри Томасом Боклем в его книге «История цивилизации в Англии».⁴⁴ Идеи Бокля, как известно, пользовались в России 60—70-х гг. чрезвычайно большой популярностью.⁴⁵ Отдельная глава его книги («Очерк умственного движения в Испании с V по XIX столетия») была посвящена Испании и, согласно В. В. Лесевичу, суждения Бокля об Испании долгое время «задавали тон» в представлениях русской читательской публики об этой далекой стране.⁴⁶ Русский перевод книги английского историка был в библиотеке Достоевского. Более того, из упоминания Бокля в записных книжках и записных тетрадях русского писателя явствует, что его сочинение он внимательно прочел.⁴⁷

Для нас особый интерес представляет тот факт, что собирательный образ испанского инквизитора, созданный Боклем, чрезвычайно противоречив: объективно инквизитор жесток, он при-

⁴² См.: *Дарский Д.* Маленькие трагедии Пушкина. М., 1915, с. 49.

⁴³ Д. Дарский реконструирует, например, понятие «жрепы музыки» в понимании Сальери: «Сальери помышляет об особой поэтической культуре, о школе фанатичных мастеров, о крепко спаянной и замкнутой касте, вызывающе отвергшей мистическое происхождение искусства; о немногочисленной общине мтежников и завоевателей, дерзновенных строителей вавилонской башни, ведущих приступ неба. Собравшись вместе, они должны производить свою работу медленно и непрерывно, как раньше сам Сальери, — шаг за шагом, от наставника к ученику, не допуская ни падений, ни чрезмерных достижений» (*Дарский Д.* Маленькие трагедии Пушкина, с. 48). Великий инквизитор также считает себя представителем клана избранных «жрецов», несущих тяжелый крест служения человечеству.

⁴⁴ Возможны были бы и некоторые иные примеры, помимо книги В. Прескотта «История царствования Филиппа II, короля испанского», например книга Л. Галлуа «Инквизиция» (СПб., 1845, т. 1—2; 2-е изд. — 1873), написанная на основе самого знаменитого во всей Европе сочинения этого рода, книги Х. А. Льоренте «Критическая история испанской инквизиции», многократно переиздававшейся на протяжении всего XIX столетия и переведенной на все основные европейские языки. Однако они не имеют к заложенной в основу поэмы «Великий инквизитор» ситуации прямого отношения.

⁴⁵ См., например: *Чернышевский Н. Г.* Замечания на книгу Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии». — В кн.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1953, т. 16, с. 535—635.

⁴⁶ См.: *Лесевич В. В.* Этюды и очерки. СПб., 1886, с. 108—110.

⁴⁷ «Прочеть и перечеть Бокля — что можно»; «Если можно согласиться с идеями Бокля о влиянии климата и других вещей на образ развития и круг понятий других народов, то ясно из этого же, что по прекращении этих условий прекратятся и понятия народов, образовавшиеся под этими условиями» (см.: 20, 154 и 202).

носит неисчислимые бедствия своему народу, субъективно же он оказывается человеколюбивым, самоотверженным и бескорыстным проповедником, по сути дела «столь упорно и столь по-своему любящим человечество». «Никакая другая европейская нация, — утверждал, например, Бокль, — не произвела столько пламенных и бескорыстных проповедников, столько ревностных и самоотверженных мучеников — людей, с радостью жертвовавших жизнью для распространения истин, которые они считали необходимыми <...> Тем не менее, искренность и чистота намерений, которыми всегда отличается испанский народ, взятый в совокупности, не только не устранили возможности религиозных гонений, но даже оказались принципами, способствовавшими им <...> Но излишняя ревность породила, естественным образом, жестокость и тем подготовила почву, на которой могла пустить корни и процветать инквизиция. *Двигатели этого варварского учреждения были не лицемеры, а энтузиасты* (курсив мой. — В. Б.)».⁴⁸

С точки зрения английского историка, полагавшего, что в просвещении заключается весьма действенное противоядие от нетерпимости, инквизиция, тем не менее, «отличалась непреклонною, неподкупною справедливостью». Бокль сочувственно цитирует в подкрепление своих соображений другого английского историка, такого же, как и он, непримиримого противника инквизиции, который, однако, утверждал, что по большей части инквизиторы были людьми замечательного человеколюбия. По-видимому, подобная неоднозначная и весьма нетрадиционная для противника инквизиции характеристика привлекла внимание Достоевского, показалась ему плодотворной в художественном отношении.

⁴⁸ Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1863, т. 1, вып. 2, с. 210—211.

ВОСПРИЯТИЕ ДОСТОЕВСКИМ НЕЭВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ

В пятой книге «Братьев Карамазовых» «Pro и contra» и затем в записной тетради 1880—1881 гг. содержатся рассуждения о том, что геометры того времени высказали сомнение в универсальности евклидовой геометрии и предположили возможность пересечения параллельных линий в бесконечности. Комментаторы «Братьев Карамазовых» и указанной записной тетради эти рассуждения до сих пор связывали с идеями русского математика Н. И. Лобачевского, с которыми Достоевский якобы мог познакомиться в годы учения в Инженерном училище.¹ Однако идеи Н. И. Лобачевского нельзя считать источником размышлений Достоевского о гипотезе пересечения в бесконечности параллельных линий, так как в геометрии Лобачевского — первой неевклидовой геометрии — такого утверждения нет.² Вместо знаменитого V постулата (или XI аксиомы) Эвклида в геометрии Лобачевского принято, что через точку, не лежащую на данной прямой, проходит по крайней мере две прямых, лежащих в одной плоскости с данной прямой и не пересекающих эту прямую. Введение этого постулата позволило Лобачевскому развить новую геометрию. Тем самым была установлена возможность существования нескольких логически не противоречивых геометрий. Современный исследователь истории математики академик А. Д. Александров в связи с этим пишет, что этот общий вывод русского ученого имел огромное значение для дальнейшего развития геометрических теорий.³

Работы Лобачевского были опубликованы в 1829—1830 гг. в России, а затем и в Германии. Почти одновременно с Лобачевским к аналогичным выводам пришел венгерский математик Янош Бойаи, опубликовавший свои результаты в 1832 г. Следующий важный шаг в развитии геометрии сделал Риман. Он стал создателем второй после Лобачевского неевклидовой геометрии.

¹ См.: Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1958, т. 10, с. 497—498; Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 15; 15, 473, 551.

² Впервые на ошибку комментаторов в т. 15 академического собрания сочинений Достоевского указал читатель из Сыктывкара Р. Пименов.

Автор также с глубокой благодарностью отмечает, что в ходе работы над статьей пользовался советами и рекомендациями доктора технических наук, профессора В. С. Калинина.

³ Об этом см.: Математика, ее содержание, методы и значение. М., 1956, т. 3, с. 93—98.

В геометрии Римана принимается постулат: каждая прямая, лежащая в одной плоскости с данной прямой, пересекает эту прямую. Из геометрии Римана следовало, что геометрические соотношения евклидовой геометрии выполнимы только в небольших — по сравнению с космическими — областях реального пространства. Чем меньше область, тем точнее выполняется евклидова геометрия. Определяя значение научных достижений Римана-геометра, А. Д. Александров отмечает, что Риман синтезировал и обобщил три идеи, которые были выдвинуты его предшественниками. Первая — возможность геометрии, отличной от евклидовой, вторая — понятие о внутренней геометрии поверхностей и третья — понятие о пространстве любого числа измерений в отличие от земного, трехмерного.⁴

Рассуждения Ивана в «Братьях Карамазовых» и содержание заметок самого Достоевского в записной тетради 1880—1881 г. ближе всего соответствуют идеям именно геометрии Римана. Иван говорит: «...если бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по евклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее — всё бытие было создано лишь по евклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности» (14, 214).

В данном случае герой Достоевского обнаружил не только осведомленность, но и понимание концепций геометров, обобщенных и развитых Риманом, а именно то, что евклидова геометрия справедлива только для земного, трехмерного пространства и что возможно существование иных геометрических соотношений и закономерностей. Тем не менее Достоевский не был и не мог быть непосредственно знаком с геометрией Римана.

Свои идеи Риман изложил в 1854 г. в лекции «О гипотезах, лежащих в основании геометрии» в Геттингенском университете. Современники утверждают, что никто из слушателей не понял Римана, кроме престарелого Гаусса. Риманова теория геометрии и научные результаты, полученные в результате ее применения, были опубликованы только после смерти ее создателя в 1868 г.

В этом же году появилось и первое истолкование геометрии Лобачевского, сделанное итальянским математиком Бельтрами, а в 1872 г. Клейн сформулировал общий взгляд на различные геометрии. Как утверждают историки математики, начало 1870-х гг. стало тем переломным моментом, когда «новые геометрические идеи, складывавшиеся в течение предшествующих пяти-

⁴ См. там же, с. 159.

десяти лет, наконец были поняты широким кругом математиков и прочно вошли в науку».⁵

Таким образом, о проблемах неевклидовой геометрии Достоевский мог узнать уже после 1872 г., но, разумеется, не из работ Клейна или других математиков. В России популярным источником сведений о новых геометрических теориях стала статья Гельмгольца, опубликованная в августовском номере журнала «Знание» за 1876 г. Этот ежемесячный научный и критико-библиографический журнал, выходивший в Петербурге с 1870 по 1877 г., ставил своей целью знакомить широкую публику с новейшими научными открытиями и достижениями. Здесь печатались русские авторы, а также переводы статей Дарвина, Дж. Леббока, К. Фогта, Спенсера и др. За время своего существования журнал подвергался преследованиям цензуры и даже был приостановлен в июне 1875 г. на шесть месяцев за статьи: «Наука и метафизика», «Теория развития в применении к языку», «Физиологические объяснения некоторых явлений спиритизма». Редакторами журнала в разное время были А. П. Бородин — композитор и профессор химии, С. П. Глазенап — профессор астрономии, Д. А. Коропчевский — фольклорист и этнограф, П. А. Хлебников — профессор физики и физической географии.

Герман Гельмгольц, немецкий физик, математик, физиолог и психолог, в начале 1870-х гг. занимался геометрией. Он доказывал, что все аксиомы геометрии имеют опытное происхождение. Эти идеи легли в основу его книги «О происхождении и значении геометрических аксиом» (русский перевод: СПб., 1895). Стремясь к популяризации научных знаний, Гельмгольц написал для широкой аудитории статью под тем же названием, что и книга. Именно эта статья и была переведена в журнал «Знание». Обращаясь к своим читателям, Гельмгольц писал: «Задачей настоящей статьи является обсуждение философского значения новейших изысканий в области геометрических аксиом и обсуждение возможности создания аналитическим путем новых систем геометрии с иными аксиомами, чем у Эвклида. Труды ученых, посвященные этому предмету, недоступны большинству читающей публики, так как имеют в виду главным образом одних специалистов; в статье своей я постараюсь сделать предмет этот доступным и для нематематиков».⁶ Далее Гельмгольц в популярной форме давал понятие о различного рода поверхностях и пространствах и приступал к изложению новейших геометрических теорий.⁷ Свой рассказ он начинал с характеристики работ Гаусса, а затем переходил к объяснению сущности геометрии Лобачевского, получившей дальнейшее развитие в трудах Бельтрами и Римана.

⁵ См. там же, с. 157.

⁶ Знание, 1876, № 8, с. 1 (2-я pag.).

⁷ В трактовке пространства Гельмгольц отдавал дань кантианству. Непоследовательность его философской позиции критиковал В. И. Ленин (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 246).

О том, что именно статья Гельмгольца впервые знакомила русскую читающую публику с идеями неевклидовой геометрии, можно судить и по одному из писем Чернышевского. Находясь в ссылке в Вилуйском остроге, Чернышевский, тем не менее, внимательно следил за новейшими достижениями науки во всех областях знаний и обсуждал все интересные, с его точки зрения, проблемы в письмах к сыновьям, стремясь таким образом руководить их образованием и воспитанием.

Статья Гельмгольца о происхождении геометрических аксиом также попала, хотя и с опозданием, в поле зрения Чернышевского и была для него неожиданностью. Из его письма к сыновьям от 8 марта 1878 г. ясно, что о проблемах неевклидовой геометрии он узнал из этой статьи впервые, хотя о существовании Н. И. Лобачевского знал и прежде и даже имел с ним в 1851 г. деловые контакты.⁸

Чернышевский не принял неевклидову геометрию, считая, что «геометрия без аксиомы параллельных линий», как она существует у Эвклида, невозможна. Называя Гельмгольца «одним из величайших <...> натуралистов», Чернышевский, тем не менее, статью его квалифицировал как «детскую шалость, не стоящую внимания».⁹ Несмотря на то что Достоевский в своих сочинениях и записной тетради нигде не упоминает о журнале «Знание», он вполне мог знать о его существовании, так как это издание, судя по всему, пользовалось успехом в среде русской интеллигенции, чему немало способствовала (помимо того что во главе его стояли известные ученые) и его цензурная история. Запрещение журнала в 1875 г. несомненно привлекло к нему особое внимание. О статье Гельмгольца, напечатанной в этом журнале, Достоевскому мог рассказать и Н. Н. Страхов, который был не только соратником, но и одним из любимейших собеседников автора «Братьев Карамазовых». А. Г. Достоевская по этому поводу пишет: «Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу».¹⁰ Будучи холостяком, Страхов по многолетней традиции каждое воскресенье обедал в семье Достоевских. Как известно, Страхов первоначально поступил в Петербургский университет на математическое отделение,¹¹ поэтому проявленный им особый интерес к статье Гельмгольца оправдан.

Статья о геометрических гипотезах появилась в августе, а 12 октября того же 1876 г. Страхов писал о ней Л. Н. Толстому, не называя, однако, ни ее автора, ни издания, в котором

⁸ См.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1939, т. 1, с. 403; 1949, т. 14, с. 217.

⁹ Там же, 1950, т. 15, с. 192, 184, 193.

¹⁰ *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971, с. 319.

¹¹ Закончил Главный педагогический институт по естественно-математическому отделению зоологом.

она появилась: «... с 1868 года учение об *эмпиричности* нашего пространства стало сильно распространяться и принято первыми авторитетами. Родоначальником его был действительно Лобачевский у нас, но силу ему дали Гаусс и Риман в Германии. Я принялся все это разбирать, — сообщал далее Страхов, — и оказалась целая литература по этому предмету. Буняковский¹² не знал и десятой доли того, что мне теперь известно — это меня немало удивило. При помощи Публичной библиотеки все у меня оказалось под руками, и предмет втягивает меня все больше и больше».¹³

Из письма Страхова к Толстому ясно, что о неевклидовой геометрии он впервые узнал из статьи Гельмгольца. И если Чернышевский отозвался об этой статье как о незаслуживающей внимания, то Страхов решил посвятить проблемам, затронутым в ней, цикл полемических работ. Он тогда же писал Толстому:

«Математики говорят: пространство есть один из способов определять отношение между вещами и, следовательно, в других мирах может существовать другой способ. Мое опровержение будет состоять в следующем: я покажу неправильность обобщения и невозможность его, когда оно делается правильно. <...> Мне мерещатся целые ряды статей; первую я назвал о *свойствах пространства* и буду доказывать, что пространство не имеет никаких свойств (*Eigenschaften*), и что в этом его натура».¹⁴

Итак, письма Чернышевского и Страхова дают основания утверждать, что русские читатели могли узнать о существовании неевклидовой геометрии из статьи Гельмгольца, опубликованной в августовском номере журнала «Знание» за 1876 г. Несомненно также и то, что Страхов, столь увлеченный затронутыми в статье проблемами, рассказывал о ее содержании Достоевскому. Однако характер откликов Достоевского на эту статью свидетельствует, что он знал о ней не только из рассказов Страхова, но и прочитал ее сам, вероятнее всего в тот период, когда шла работа над главами пятой книги «Братьев Карамазовых» — «Братья знакомятся» и «Бунт», т. е. в конце апреля—начале мая 1879 г. (см.: 15, 422—423). Первые черновые наброски к этим главам о параллельных, которые «сойдутся» (15, 228, 231), могли быть сделаны по воспоминаниям о давних рассказах Страхова, относящихся к осени 1876 г., когда появилась статья Гельмгольца, окончательная же разработка этой темы в тексте романа несомненно потребовала обращения к самой статье. Так, Иван говорит не только о геометрах, но и о философах, занимавшихся проблемами не-

¹² Виктор Яковлевич Буняковский — математик, в то время вице-президент Петербургской Академии наук.

¹³ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914, с. 89 (Толстовский музей; т. 2).

¹⁴ Там же, с. 90, 91. — Замысел Н. Н. Страхова остался неосуществленным. Только после его смерти были опубликованы фрагменты статьи, очевидно, из «этого ряда» под названием «О времени, числе и пространстве» (Рус. вестн., 1897, № 1, 2).

эвклидовой геометрии, т. е. кратко пересказывает содержание начала статьи.

По всей вероятности, статья эта была в поле зрения Достоевского и тогда, когда он в июне—июле 1880 г. работал над главой «Черт. Кошмар Ивана Федоровича». См.: 15, 442—445. В тексте главы откликов на статью нет,¹⁵ но сразу же после завершения работы над этой частью романа Достоевский сделал 17 августа 1880 г. две записи, свидетельствующие, что проблемы неэвклидовой геометрии продолжали его волновать: опираясь на обобщения геометров, он пытался найти ответ на вопрос, мучивший его всю жизнь, есть ли бог?

Еще в период работы над главой «Третий сын Алеша» из первой книги «Братьев Карамазовых», в конце 1878 г., Достоевский пытался примирить в мировоззрении этого «образованного реалиста» научные и религиозные представления, ум и веру. «Я должен сказать, что, предавшись раз, он (Алеша. — *Е. К.*) уверовал вполне, несмотря на то, что ум его был сильно развит». Эта запись в черновых набросках к роману свидетельствует, что автор «Братьев Карамазовых» допускал возможность противоборства «сильно развитого ума» «безусловной вере». В то же время, раскрывая отношение Алеши к миру и религии, Достоевский писал: «Он понял, что знание и вера — разное и противоположное». «Реализм» религиозных представлений Алеши основывался на его *ощущении*. «Он понял — постиг, по крайней мере, или почувствовал даже только», что «есть другие миры» и «что человек бессмертен». «А что до доказательств, так сказать, научных, то он хоть и не кончил курса, но все-таки считал и был вправе верить этим доказательствам» (см.: 15, 201 и 415).

В законченном тексте романа рассуждения о существовании «других миров», о соотношении научных доказательств и веры отсутствуют. Вместо этого об Алеше сказано: «Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: „Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю“» (14, 25).

Однако самого Достоевского не могло удовлетворить такое отношение к религии. Он искал научных доказательств. Об этом и свидетельствуют упомянутые выше записи, сделанные 17 августа 1880 г.

Вот первая из них: «Если б где в мире был конец, то был бы всему миру конец. Параллелизм линий. Треугольник, слияние в бесконечности, одна квадриллионная все-таки ничтожность перед бесконечностью. В бесконечности же параллельные линии

¹⁵ Возможно, что проблемы, затронутые в статье Гельмгольца, каким-то образом должны были отразиться в легенде черта о «мыслителе и философе», осужденном идти «во мраке квадриллион километров» (15, 78). Ср. ниже в заметке самого Достоевского: «... одна квадриллионная все-таки ничтожность перед бесконечностью».

должны сойтись. Ибо все эти вершины треугольника все-таки в конечном пространстве, и правило, что чем бесконечнее, тем ближе к параллелизму, должно остаться. В бесконечности должны слиться параллельные линии, но — бесконечность эта никогда не придет. Если б пришла, то был бы конец бесконечности, что есть абсурд. Если б сошлись параллельные линии, то был бы конец миру и геометрическому закону и богу, что есть абсурд, но лишь для ума человеческого» (27, 43).

Несмотря на то что зафиксированные здесь размышления носят незавершенный характер, все же можно утверждать, во-первых, что Достоевский понял и принял представление о бесконечности пространства, и, во-вторых, что он уловил сущность римановой геометрии, не отвергающей эвклидову, а трактующей ее как часть общей теории, справедливую для небольших (по сравнению с космическими) областей ее применения. Вслед за приведенной выше Достоевский рядом сделал новую запись, в какой-то степени уточняющую предыдущую и отражающую следующий этап осмысления проблемы:

«Реальный (созданный) мир конечен, невещественный же мир бесконечен. Если б сошлись параллельные линии, кончился бы закон мира сего.

Но в бесконечности они сходятся, и бесконечность есть несомненно. Ибо если б не было бесконечности, не было бы и конечности, немислима бы она была. А если есть бесконечность, то есть бог и мир другой, на иных законах, чем реальный (созданный) мир» (там же).

Итак, бытие бога и «другого мира» вытекает из признания бесконечности пространства, для которого справедливы иные, чем для Земли, неэвклидовы закономерности. Сам Достоевский готов был смириться с таким доказательством существования бога, именно *смириться*, потому что объяснить зло «реального (созданного) мира» оно не могло. Протест против божьего земного мира он вложил в уста Ивана Карамазова.

Некоторые исследователи считают, что Достоевский критикует «эвклидовский ум» Ивана, его неспособность приобщиться к иному, «неэвклидовскому» сознанию. Однако это справедливо лишь отчасти. Коллизия: автор — созданный им герой, иная.

Так, Иван говорит, что у него ум «эвклидовский, земной» и что он не берется судить о том, «что не от мира сего» (14, 214), в действительности же, далее, в разговоре с Алешей, обнаруживает понимание проблем неэвклидового пространства и готовность согласиться с тем, что параллельные в бесконечности сойдутся. Он, как и сам Достоевский, признает и доказательства существования бога, вытекающие из идеи бесконечности Вселенной. Отличие его позиции от позиции автора романа в том, что он, Иван, не хочет все это принять, вопреки очевидности и истине. Вот его слова: «Ну так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого божьего не принимаю и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не бога не принимаю,

пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять. <...> Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу; увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму» (14, 214—215).

В то же время сомнения Ивана Достоевский изображает как трагедию сознания, отражающую действительную реальность. Созданный богом мир Иван называет «эвклидовской чушью». Он говорит: «Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что всё одно из другого выходит прямо и просто, что всё течет и уравнивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться!» (14, 222).

Сомнения, о которых говорит Иван, одолевали всю жизнь и самого Достоевского.

Здесь уместно вспомнить давнишние размышления его на эту тему, о которых он написал в феврале 1854 г. из омской ссылки Н. Д. Фонвизиной: «Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (28₁, 176).¹⁶

Если принять во внимание это признание Достоевского, то можно сделать вывод, что в «Братьях Карамазовых», в Алеше и Иване, отразились две противоположные ипостаси сознания самого их автора.

Алеша интуитивно принял «символ веры», в котором все «ясно и свято», а Иван, напротив, одержим «неверием и сомнением» и не желает принять созданного богом мира. Алеша, по замыслу

¹⁶ Попутно отмечу характерное фразеологическое совпадение заключительных слов Достоевского со следующими словами Ивана: «И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. <...> Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, *хотя бы я был и неправ*» (14, 223).

романиста, его единомышленник, Иван — идейный антипод. Достоевский осуждает Ивана не за его «эвклидовский» ум, а за то, что он «исказил Христову веру», «соединив ее с целями мира сего». Так, во всяком случае, пояснил трагическую ошибку Ивана автор, его создавший, назвав своего героя при этом «страдающим от неверия¹⁷ атеистом» (15, 198).

Таков, так сказать, идейно-мировоззренческий смысл восприятия Достоевским неэвклидовой геометрии. Однако эта проблема имеет и другой аспект.

Почему именно Достоевский, он один из числа современных ему писателей, не только понял, но и усвоил, естественно включил в систему своего представления о мироздании основные идеи неэвклидовой геометрии, с трудом осваивавшиеся специалистами-математиками? Пытаясь ответить на этот вопрос, нельзя забывать о том, что Достоевский получил основательные знания по математике в Инженерном училище. Но это — только предпосылка, главная же причина, очевидно, кроется в индивидуальных особенностях личности Достоевского. Он обладал исключительным даром проникать в сущность явлений, даже если эта сущность внешне проявлялась в парадоксальной форме. Приведу только один пример. Князь Мышкин — «идиот», воспринимался в обыденной жизни как личность не адекватная реальности; в действительности — он носитель высшего нравственного идеала, «положительно прекрасный человек», в котором, по мысли Достоевского, аккумулярованы силы, способные изменить мир.

Эта способность автора «Преступления и наказания», «Идиота», «Братьев Карамазовых» выявлять причинную зависимость парадоксального и очевидного, столь ярко обнаружившаяся в его художественных созданиях, очевидно, и обусловила известную реплику Эйнштейна: «Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс».¹⁸

¹⁷ Другой вариант: «неверием».

¹⁸ См.: *Мошковский А.* Альберт Эйнштейн. М., 1922, с. 162.

ИСПОВЕДЬ КАК НАКАЗАНИЕ В РОМАНЕ «БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ»

Потребность в «исповедальном самовысказывании», как указал М. М. Бахтин, всегда присуща герою Достоевского.¹ Но этот акт самопознания немислим без участия другого человека, принимающего исповедь, или хотя бы незримого присутствия тех, к кому эта исповедь обращена. Исповедуясь, человек пытается самоопределиться относительно того, что ему известно о себе, и, вынося себе приговор, надеется на ответную реакцию со стороны собеседника, воспринимаемую им в контексте его собственных суждений о себе. Реакция слушающего не исключает, разумеется, ни взаимной откровенности, ни рассуждений по поводу исповеди, но само содержание этой исповеди-признания, где самым существенным становится факт анализа человеком своих деяний, не всегда является предметом спора, столкновения мнений, а потому и не требует от собеседника полемической активности. В такой форме общения более важен внутренний, духовный контакт, умение передать невыразимые словами мысли и чувства, поскольку один взгляд, жест может решить все: станет человек на путь греха или с этой минуты начнется его нравственное перерождение.

Сложность психологической ситуации, в которой находятся оба участника исповедального диалога, приоткрывает всю глубину морально-этической проблематики, волновавшей Достоевского в связи со всегда актуальной для него темой вины и наказания человека. Исповедь грешника перед человеком, по своей нравственной природе близким и даже родным исповедующемуся, вызвана не только его потребностью снять с себя бремя греха или преступления, искупив признанием хотя бы малую часть своей вины, но и страстным желанием обрести с принимающим исповедь некий особый союз, существующий вне обычных человеческих взаимосвязей.²

¹ «Только в форме исповедального самовысказывания, — писал ученый, — может быть, по Достоевскому, дано последнее слово о человеке, действительно адекватное ему» (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с. 83).

² Не пустая патетика, а глубоко искренняя просьба звучит в словах Дмитрия к Алеше перед исповедью «горячего сердца»: «Слушай: если два существа вдруг отрываются от всего земного и летят в необычайное, или по крайней мере один из них, и перед тем, улетаая или погибая, приходит

Пробуждение сознания вины глубоко индивидуально, и потому характер исповеди зависит в первую очередь от нравственно-психологических особенностей исповедующейся личности. Однако, несмотря на все многообразие человеческих переживаний, существует, по убеждению Достоевского, общий закон, определяющий взаимоотношения людей, сблизившихся в момент исповеди. Особенно важно здесь то, что сама форма исповедального диалога возводилась Достоевским к древней традиции покаяния грешника перед святым и праведным, который в зависимости от степени вины либо приговаривал виновного к публичному покаянию перед народом, либо отпускал ему грехи, принимая их на себя.³ Горячий сторонник подобной исповеди в «Братьях Карамазовых» — старец Зосима, в нравственный опыт которого его приемник Алеша привносит новое содержание, соответствующее тревожному времени всеобщего обособления. В своей предсмертной беседе Зосима предлагает ученикам в своем роде «классический» образец поведения в этой сложной ситуации. И все отступления от него, вольно или невольно сделанные Алешей, лишь подтверждают верность основному тезису: «...возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской <...> чуть только сделаешь себя за всё и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть на самом деле и что ты-то и есть за всех и вся виноват» (14, 290).⁴ Исповедь преступника требует от «второго» не только высокой моральной чистоты и способности к участию и состраданию, но прежде всего ответного чувства разделения вины с согрешившим человеком, без которого, по

к другому и говорит: сделай мне то и то, такое, о чем никогда никого не просят, о чем можно просить лишь на смертном одре, — то неужели же тот не исполнит... если друг, если брат?» (14, 97). См., например, следующее высказывание М. М. Бахтина по поводу особой функции «второго» в исповедальном диалоге: «Этот другой человек — „незнакомец, человек, которого никогда не узнаете“, выполняет свои функции в диалоге вне сюжета и вне своей сюжетной определенности, как „чистый человек в человеке“, представитель „всех других“ для „я“. Вследствие такой постановки „другого“ общение принимает особый характер и становится по ту сторону всех реальных и конкретных социальных форм» (там же, с. 356).

³ См. по этому поводу: *Ветловская В. Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977, с. 96—97, 180.

⁴ Подобная этическая позиция восходит к традициям раннехристианской философии и культуры, и проникновение ее в поэтику Достоевского не только не случайно, но, наоборот, продиктовано особенностями мировосприятия самого писателя. Интересно в этом плане вспомнить замечание С. С. Аверинцева по поводу поэмы Романа Сладкопевца, известного поэта ранневизантийской эпохи: «Отметим далеко не простое соотношение между словами и рефреном: проклинай Искарюта в основном тексте, автор (Роман Сладкопевец. — *О. С.*) отнюдь не молится за него в рефрене, что и было бы немислимо, — но, молясь за себя или, что то же, за всех предстоящих во храме («милостив буди к нам»), он воспринимает Иудин грех как свой собственный, не отделяя себя от евангельского предателя в его виновности и ощущая развертывающуюся перед Иудой адскую бездну как заслуженную угрозу для себя самого» (*Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 216).

мысли автора «Братьев Карамазовых», невозможно нравственное возрождение грешника. Характерен в этом плане эпизод с «тайным посетителем». Выслушивая его исповедь, Зосима приговаривает его к публичному покаянию (14, 280—281). И это вмешательство в чужую судьбу требует и от него самого готовности пережить испытания, которые выпали на долю убийцы. Разделивший вину в момент сопереживания становится на место виновного и, являясь как бы соучастником совершенного им преступления, вынужден одновременно подняться до морального суда над ним, выступая как обвиняющая совесть преступника. Принцип «всякий человек за всех и вся виноват» основан именно на таком типе отношений между людьми, и нравственно-философское содержание последнего романа Достоевского, в сущности, является доказательством этого морально-этического тезиса. По Достоевскому, каждый из людей привносит частицу зла в мир и тем самым нравственно виновен в отдалении мировой гармонии. Беда людей в том и состоит, что, отдаваясь своим страстям, они лишают себя счастья. «... жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы всем на свете рай», — утверждает брат старца Зосимы (14, 262). Этим и объясняется сложность в определении вины человека. На свете нет невиновных, т. е. не принимавших участия в увеличении зла, а потому каждый человек лично виновен в чужих грехах и в проступке отдельного человека. На соблюдении этой заповеди настаивает старец Зосима, завещая людям беречь и любить друг друга: «... каждый единый из нас виновен за всех и вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый из всех людей и за всякого человека на сей земле» (14, 149). Вследствие этой общности человек, знающий о преступлении своего ближнего, должен отвечать за него как за свое собственное, поскольку сам прямым или косвенным образом причастен к распространению зла в мире. Мысль о взаимосвязи всех со всеми в едином потоке бытия очень близка мировосприятию «позднего» Толстого.⁵ Никто из людей, по убеждению писателя, не вправе по своему своеволию разрывать эту живую связь, а если это все же происходит, люди начинают испытывать страдания. «Мучительность страдания, — писал Толстой в трактате «О жизни», — это только та боль, которую испытывают люди при попытках разрывания той цепи любви к предкам, к потомкам, к современникам, которая соединяет жизнь человеческую с жизнью мира».⁶ Каждый человек в поступках своих должен исходить из ощущения этого живого единства, иначе он рискует поплатиться за непонимание основного закона жизни.

⁵ Особый интерес и сочувствие Толстого вызвали в «Братьях Карамазовых» поучения старца Зосимы. См. об этом: *Покровская И. А. Материалы о Достоевском в архиве Л. Н. Толстого.* — В кн.: Яснополянский сборник. 1974. Тула, 1974, с. 85—88.

⁶ *Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1936, т. 26, с. 430.*

В сущности трагическая вина человека Достоевского, приводящая его к страданиям и болезни и, наконец, мучительной самоказни в момент исповеди, только в том и состоит, что он слепо следует голосу своих эгоистических страстей, нарушая тем самым нравственное равновесие мира, которое и есть основа всеобщей гармонии и сама гармония. Так, Дмитрий Карамазов виновен в том, что поддался духовному «безудержу» и фатуму страсти, Иван — честолюбивому желанию пересоздать человечество «по новому штату», Алеша — слишком личной любви к Зосиме, Грушенька — капризному желанию испытать могущество своего женского обаяния, Катерина Ивановна — озлоблению гордости и т. д. Все это делает карамазовскую трагедию неизбежной и в то же время лишает людей морального права перекладывать ответственность за всеобщее своеволие на какого-либо отдельного человека, хотя бы и самого грешного из всех.

Но вернемся к эпизоду с «тайнственным посетителем». Горячее желание Зосимы разделить с убийцей его страдания («...сам бы разделил его участь, лишь бы облегчить его». — 14, 280) вызывает в последнем ненависть к сострадающему как соучастнику преступления, обвиняющему судье и карающей совести. Для преступника непереносимо сознание, что кто-то другой знает всю его душу так же, как и совершенное им злодеяние, и потому вправе требовать от него публичного покаяния перед людьми. «Возненавидел я тебя, будто ты всему причиной и всему виноват», — признается «тайнственный посетитель» Зосиме и так объясняет мотивы своей ненависти: «Как я стану глядеть на него, если не донесу на себя?»; «...он единый связал меня, и судия мой, не могу уже отказаться от завтрашней казни моей, ибо он всё знает» (14, 283).⁷ Именно морально-психологические последствия признания вины становятся, по Достоевскому, самым тяжелым и страшным моментом в жизни человека, переживающего ощущение вины как величайшее наказание, посланное ему богом, законы которого он пограл. И это наказание тем более справедливо, что ни в коей мере не является возмездием за грехи, уничтожающим человека, но наоборот, искуплением их, необходимым нравственным испытанием перед будущим возвращением к людям и возрождением к новой жизни. По Достоевскому, человек снимет с себя бремя вины, когда раскается публично, принимая ненависть и презрение людей как неизбежную расплату за обособление от них в своевольной гордыне преступления. О сложности психологического состояния человека, побуждающего его признать свою вину, размышлял Лев Толстой, предполагая ввести в «Воскресение» сцену публичного покаяния Нехлюдова во время суда над Катюшей.⁸ Но то, что у Толстого осталось делом личной совести героя, у Достоевского происходит как событие всечеловече-

⁷ Ср. со следующей записью в черновых материалах к роману: «Это совесть моя будет смотреть на меня (убить приходил)» (15, 246).

⁸ См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1932, т. 3, с. 69—70.

ского значения, и акт покаяния грешника перед людьми, столь значимый в поэтике писателя, одновременно становится и его нравственным подвигом во имя этих людей, их будущей счастливой общей жизни. Переживая неизбежные в эту минуту унижение, стыд и оскорбления, человек тем самым утверждает столь необходимый всем остальным людям пример истинно христианского поведения, высшая цель которого, по убеждению Достоевского, состоит в преодолении «себя», т. е. обособленности и эгоизма своего индивидуально-личностного мировосприятия (см., например, слова «таинственного посетителя» о периоде человеческого «уединения», предвещающем наступление «царствия небесного» и соединения со «всеми» в едином чувстве виновности: «...всякий-то теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты существа своего впадают в совершенное уединение». — 14, 275). Не случайно, приговаривая «таинственного посетителя» к покаянию, Зосима видит в этом необходимом для страдальца нравственном очищении своего рода подвиг самопожертвования: «Поймут все подвиг ваш <...> не сейчас, так потом поймут, ибо правде послужили, высшей правде, неземной...» (14, 280). А Дмитрий Карамазов, исповедуясь перед Алешей накануне суда, сам приговаривает себя к подвижническому труду на каторге, убежденный, что страдания вследствие несправедливого обвинения есть единственный путь преодоления «карамазовщины» и воспитания в себе подлинной, глубокой человечности (см.: 15, 31).

Однако следует заметить, что готовность перенести позор публичного покаяния перед людьми, как правило, сопровождается у героев Достоевского вспышкой ненависти и презрения к ним. Человек как бы заранее занимает оборонительную позицию по отношению к тем самым людям, перед которыми намеревался каяться, убеждая себя, что все они так же преступны, как и он, а главное — исполнены лжи и лицемерия и потому недостойны такого подвига. Этот «вызов от виноватого к судьбе» (слова Тихона Ставрогину по поводу «слога» его исповеди — 11, 24), когда виновный как бы становится на место своего морального судьи, чтобы узнать, вправе ли тот подвергать его наказанию, присутствует почти во всех исповедальных диалогах в романах Достоевского. Исследуя глубины «подпольной» психики, писатель понимал, что искренность самообвинения как нравственного порыва противостоит у такого человека одному из самых сильных его стремлений — потребности утверждения своего «я» в обособлении от всех людей, неспособных восстать против несправедливого мира, не видящих различия между добром и злом, а значит и не имеющих права судить и наказывать. О положении такого человека в мире «всех», равнодушном и беспощадном, и намеревался сказать Достоевский в предполагаемом предисловии к «Подполью»: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий

в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды — не от кого, веры — не в кого! Еще один шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство)» (16, 329).

Но всякое раскаяние обращено к людям, и именно в раскаянии «гордый человек» испытывается «на прочность». Проверять искренность и чистоту своего порыва, он часто оказывается бес- сильным подавить в себе ненависть к людям, дерзнувшему вынести ему моральный приговор, стать ниже тех, ради которых он страдает и которых в то же время презирает.⁹ Человек же, вышедший такое страшное испытание (характерна в этом плане дуэльная история старца Зосимы) и сумевший победить в себе все себялюбивое, ушлоличное, обретает единственно верный путь к общему благу. Соединение с людьми в чувстве виновности посредством публичного покаяния перед ними есть, по Достоевскому, не только самое гуманное наказание, но и лучшее средство разрешения всех социальных и нравственных конфликтов. «... Должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, — проповедует «тайнственный посетитель», — хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль...» (14, 276). И потому поведение человека в момент исповеди, являясь своего рода психологической подготовкой к перенесению такого наказания, определяет, способен ли он вообще сознавать себя наказанным. Особенно характерно в этом плане различие между двумя братьями — Дмитрием и Иваном Карамазовыми, так по-разному реагирующими на участие и сострадание Алеши. Если полное доверие Мити, его предельная открытость перед братом («Ты выслушаешь, ты рас- судишь, и ты простишь... А мне того и надо, чтоб меня кто-нибудь высший простил». — 14, 97)¹⁰ по сути дела есть один из симптомов возрождения души, стремящейся изжить ужас и позор карамазовщины, то Иван, наоборот, не желает допустить в свой внутренний мир Алешу, именно тогда, когда он наиболее нуждается в нем. Для Ивана «второй» даже более необходим, чем для Дмитрия: произнося приговор мирозданию, он тем не менее за-

⁹ Особенно характерны в этом плане переживания Ивана Карамазова накануне суда над Дмитрием. Иван, лелея в душе возможность «рыцарского поступка» на суде (т. е. покаяния и самообвинения, как ему язвительно намекает черт, — 15, 73, 87), оказывается неспособным к нему именно потому, что не в силах вынести последующие за ним ненависть и глумление «толпы», которым он противопоставляет, в свою очередь, озлобление мучимого угрызениями совести преступника: «...завтра я пойду, стану перед ними и плюну им всем в глаза» (15, 88).

¹⁰ Сам того не подозревая, Митя избирает структуру исповеди, предложенную Зосимой (см. выше). К этой форме исповеди герой прибегает в минуту крайнего напряжения своих духовных сил накануне решения основного вопроса своей жизни (см., например, беседу Мити с Алешей накануне суда (15, 34, 35), а также аналогичную ситуацию в исповеди Грушеньки (14, 377)).

блуждается относительно самого себя. И причина его нравственных мук в том и состоит, что герой не может постичь степень своей виновности в происшедшей «катастрофе». Обособив себя от людей и не имея возможности проанализировать свои поступки перед лицом «второго», Иван начинает мучительно колебаться между самооправданием и самообвинением. Психологическое состояние брата понятно Алеше, убежденному, что Ивану не следует вступать на опасный для него путь самообвинения, который может привести его к нарушению нравственного равновесия и духовному краху. «...Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты... — обращается к нему Алеша. — Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные два месяца <...> Ты обвинял себя <...> Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца <...> И это бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с этого часа навсегда возненавидел меня...» (15, 40).

Но не менее страшен для героя и путь самооправдания. Испытывая огромную потребность в реальном собеседнике и не имея возможности удовлетворить ее, сознание Ивана начинает создавать воображаемого участника исповедального диалога. Так появляется черт — загадочный двойник и бунтующая совесть героя, тайственный свидетель убийства Федора Павловича и нравственный обвинитель Ивана. Разоблачая этическую позицию героя, черт толкает его к моральному нигилизму («Для бога не существует закона!» — 15, 84), закономерным следствием которого должно стать претворение в жизнь принципа «все дозволено». Иван одинок и беспомощен перед страшными вопросами своего двойника («...я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы?» — 15, 88), и эта необходимость признать свою вину при отсутствии участия и сострадания приводит героя Достоевского к разложению сознания, моральному и психологическому «двоению». Болея чужими страданиями, творец Великого инквизитора считает, что имеет *право* переступить через свои нравственные муки («Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги». — 15, 87), оставаясь равнодушным к суждению людей («Мнение ваше презираю, ужас ваш презираю» — 15, 87) и не понимая, что оно-то и есть для него самое страшное наказание. И хотя человеческое в герое Достоевского в конце концов одолевает «сверхчеловеческое» (Ивану, презирающему людей, далеко не безразлично, что думают о нем Алеша, Катерина Ивановна, Лиза и другие герои карамазовской трагедии), он держится за выстраданное им жизненное кредо до конца, оставаясь самим собой даже во время вынужденного покаяния на суде, столь чуждого его натуре. Для Ивана невозможен порыв духовного очищения, столь близкий Дмитрию (значительно, что Иван понимает, но не приемлет «гимн» брата),¹¹

¹¹ «Понимает про гимн и Иван, уж понимает, только на это не отвечает, молчит. Гимну не верит», — говорит Митя Алеше накануне суда (15, 35).

на глазах равнодушной и жадной до скандала «толпы». Но несмотря на то что герой отвергает то единственное, что могло бы его спасти, Достоевский провидит возможность возрождения и выздоровления больного сознания Ивана Карамазова (15, 89), указывая, однако, что безысходность страданий Ивана может стать причиной его нравственной и физической гибели.

Убежденный, что наказание человека человеком должно существовать вне сложившейся в буржуазном государстве системы социально-правовых отношений, Достоевский надеялся, что общество предоставит виновному и преступному возможность возрождения и исправления на основе христиански окрашенных гуманистических заповедей. Принцип «каждый за всех и вся виноват» должен, по мнению Достоевского, восторжествовать в русском суде, который впоследствии станет истинно гуманным и справедливым, т. е. всемерно способствующим восстановлению личности, пережившей состояние нравственного хаоса и обособления. И хотя «беспорядок» настоящего исключал возможность приближения к желанному идеалу, Достоевский верил, что прообразом его является исповедь.

Свое отношение к нравственному состоянию брата Иван высказывает и на суде: «Ну, освободите же изверга... он гимн зашел, это потому, что ему легко!» (15, 117). Это обострение ненависти к брату объясняется прежде всего тем, что «слабый» Митя на деле оказался сильнее его, Ивана, и в грехе, и в покаянии. И хотя Иван ошибочно приписывает Дмитрию убийство отца, сам он страдает от мысли о превосходстве брата над ним самим, ведь факт убийства еще раз подтверждает, что Митя совершил то, на что Иван неспособен (см.: 15, 56).

О ДВУХ ИСТОРИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ЗАМЫСЛАХ
ДОСТОЕВСКОГО

1

Изучение незавершенных творческих замыслов Достоевского показывает, что далеко не всегда препятствием к их завершению были внешние обстоятельства. Грандиозные планы писателя подчас претендовали на окончательное решение вопроса и тем самым противоречили специфике его художественного мышления. Поэтому-то Достоевский в ряде случаев «был не готов» и создавал лишь «первую пробу мысли» (22, 7). Это одна из характеристических черт работы Достоевского, другая же состоит в том, что незавершенные замыслы продолжали жить в памяти писателя, включались в новые планы.

Сказанное относится как к художественным, так и к публицистическим замыслам. Среди последних обращает на себя внимание широкий круг тем, намеченный в записных тетрадях периода «Времени» и «Эпохи» (1861—1865 гг.). Этот сравнительно короткий, но напряженный этап биографии Достоевского — своеобразный генератор идей для всего последующего творчества писателя. Мировоззренческий переворот, завершившийся в эти годы, повлек за собою столько новых планов, что только небольшая их часть могла быть реализована сразу же. Однако, вчерне сформулированные, идеи уже существовали и по-своему претворялись затем. Еще не выявлено особое, принципиальное значение некоторых из этих замыслов. Среди них — подготовительные записи, датируемые 1864 г., для исторической статьи о Дмитрии Донском. По объему статья должна быть «велика», планировал автор, что же касается ее принципиального значения, то в ней «все идеи „Эпохи“ о „почве“ должны быть выражены» (П., I, 357, 354).¹

Предыстория замысла такова. В издаваемом императорской Академией наук «Месяцеслове на 1864 г.» рядом со сведениями статистическими, географическими, метеорологическими и т. п.

¹ В общем плане вопрос об этой статье был поставлен А. С. Долиным (см.: П., I, 568—569). См. также: Черепнин Л. В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968, с. 150—151; Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 190 (комментарий Л. Р. Ланского и С. С. Борщевского); комментарий Т. И. Орнатской и К. А. Кумпан (20, 364—365).

Была опубликована статья известного историка Н. И. Костомарова «Куликовская битва». Популярно, с живыми подробностями излагались события 1380 г., приведшие к великой битве, и описывался ход самого сражения. Однако тенденциозность Костомарова в оценке фигуры Дмитрия Донского явилась поводом для развернувшейся затем полемики, на которую так или иначе откликнулись ведущие русские журналы.

Источником Костомарову послужил летописный текст («Сказание о Мамаевом побоище»). Внимание историка привлек эпизод, когда Дмитрий, сражавшийся в одежде простого воина, в самом разгаре битвы, усталый, израненный, или, как сказано в летописи, «притруден велми изыде с побоища едва в дубраву, и вниде под новосечено древо многоветвено и листовенно, и ту скрыв себя лежаще на земле». Костомаров тенденциозно «перевел» это так: «Дмитрий почувствовал на своих доспехах несколько ударов, побежал в лес, запрятался под срубленное дерево и там улегся чуть не без чувств».² Подобная неисторическая интерпретация образа Донского вызвала возражения М. П. Погодина: «Тон делает музыку, а тон г. Костомарова недопустимо ироничен по отношению к Дмитрию».³ Не согласился Погодин и с утверждением Костомарова, что московский князь взял на себя роль собирателя русских земель, исходя будто бы по преимуществу из своекорыстных интересов, и добился своей цели благодаря хитрости, изворотливости, политическим интригам. За мнимой беспристрастностью Н. И. Костомарова скрывалось искажение русской истории. К началу 60-х гг. Костомаров опубликовал ряд работ («Две русские народности», «Мысли о федеративном начале в Древней Руси» и др.), в которых доказывал, что русская история представляет собою борьбу свободного вечевого и единойдержавного начал.⁴ Выразителем первого историк считал «южно-русскую народность». Однако в условиях татаро-монгольского ига возросли авторитет и власть великого князя, и в результате благодаря этому «Русь нашла свое единство, до которого не додумалась в период свободы».⁵

² Месяцеслов на 1864 г. СПб., 1863. Приложения, с. 21. О современных интерпретациях этого эпизода см.: Робинсон А. М. Эволюция героических образов в повестях о Куликовской битве. — В кн.: Куликовская битва в литературе и искусстве. М., 1980, с. 22—25.

³ День, 1864, № 4, с. 13.

⁴ Среди них — в более объективном ключе — книга «Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада» (1863), которая дважды рецензировалась журналом братьев Достоевских «Время». Автор первой рецензии, Ап. Григорьев, увлекшись декларируемой в книге идеей народа как исторической силы и в не меньшей степени картинностью и живостью изложения, дал почти восторженную оценку (1863, № 1). Редакторы-издатели журнала М. М. и Ф. М. Достоевские напечатали, не дожидаясь обещанного продолжения статьи Ап. Григорьева, другую рецензию (П. В. Знаменского), значительно более критичную (1863, № 4).

⁵ Костомаров Н. И. Собр. соч.: Исторические монографии и исследования. СПб., 1905, кн. 5, т. 12, с. 42.

Буржуазно-либеральная трактовка русской истории привела Костомарова к уничижительным характеристикам многих ее действующих лиц. Правда, замечает современный исследователь, «яркие краски нигилизма <...> заметно блекнут по мере движения костомаровской кисти из глубины веков к современности»⁶ и полностью исчезают, когда речь заходит о правлении дома Романовых.

Полемическая статья Погодина в «Дне» вызвала новое выступление Костомарова, где вопреки очевидности он утверждал, что Дмитрий лично не был героем и даже просто мужественным человеком. Костомаров доказывал это, ссылаясь на бегство князя от Тохтамыша из Москвы через два года после Куликовской битвы. Идеализация Дмитрия как личности, по Костомарову, — застарелый «предрассудок, которым нас напичкали с детства».⁷

Достоевский внимательно следил за спором двух историков и за теми противоречивыми отзывами, которые он вызвал в русской прессе.⁸ Достоевский воспринял этот спор не столько в узкоспециальном, научном, сколько в более широком общественном и историко-культурном значении. На расширительный смысл задуманной им статьи указывает письмо М. М. Достоевскому от 2 апреля 1864 г.: «Я ведь не историческую статью хочу писать <...> Не беспокойся, я знаю, что сказать и достаточно даже специалист — не в истории, а в развитии наших идей исторических в литературе, во взглядах наших историков (главнейших) <...> тут все идеи „Эпохи“ о „почве“ должны быть выражены» (П., I, 354).

Какие конкретно идеи «почвы» мог иметь в виду Достоевский?

За два года до своего исторического замысла Достоевский, составляя программный документ почвенничества, объявление о журнале «Время», писал о значении и необходимости отрицания, обличения, но при этом предостерегал от крайностей: «Мы в благородном движении вперед отрицали всё сплошь («потому что оно старое», — добавляет писатель в окончательном варианте. — В. В.) и отбросили даже то, без чего нельзя было идти вперед» (19, 216). Задача нового журнала виделась Достоевскому охранительной в смысле охранения исторических и культурных национальных ценностей, и в связи с этим вставала задача борьбы с нигилистическими тенденциями, которые писатель не без основания увидел в «мизерном либерализме» Костомарова. Среди заметок того времени, когда Достоевский готовил свою статью, читаем: «Мы многому научились, что бранить на Руси, и иногда бранимся дельно. Но мы совершенно не знаем и не умеем до сих пор, что хвалить на Руси...» (20, 178).

⁶ Астахов В. И. Курс лекций по русской историографии. Харьков, 1965, с. 396.

⁷ Голос, 1864, 1 февр. — Ср. позднейшую оценку полемики в кн.: Костомаров Н. И. Автобиография. М., 1922, с. 355, 364—365.

⁸ См.: Рус. слово, 1864, № 2, с. 89—92; Библиотека для чтения, 1864, № 3, с. 53—54.

Статья должна была быть направленной против костомаровского «разбивания народных кумиров» (выражение самого историка), — об этом ясно говорят и сохранившиеся наброски 1864 г., и позднейшие высказывания на ту же тему. Так, Е. А. Белов в письме Достоевскому (1873 г.) напоминает адресату его резкое выражение: «У Костомарова мания пакостить дорогие русскому народу имена».⁹ К тому времени Н. И. Костомаров предпринял попытки развенчать Минина и Пожарского, повторил свой выпад 1862 г. против исторической роли Сусанина в либеральном «Вестнике Европы». Достоевский, бывший тогда редактором «Гражданина», напечатал (1873, № 47) статью М. П. Погодина «За Сусанина» (ранее в «Гражданине» публиковались антикостомаровские статьи Погодина «За Скопина-Шуйского», «За Пожарского», «За Минина»). Наконец, уже в 1880 г. в письме О. Ф. Миллеру по поводу намечающегося заседания Славянского благотворительного общества в честь пятисотлетия Куликовской битвы Достоевский предлагает обязательно вспомнить на этом чествовании журнальный эпизод полуторядесятилетней давности: «Какая прекрасная мысль особое торжественное заседание нашего общества на память 500-летия Куликовской битвы <...> Это именно надо теперь. Надо возрождать впечатление великих событий в нашем интеллигентном обществе, забывшем и оплевавшем нашу историю <...> Как бы хорошо было упомянуть хоть вскользь об „ушедшем спать“ великом князе (вероятно, от трусости) (намек на статью Костомарова. — В. В.), когда другие бились. Нужно высоко восстановить этот прекрасный образ и затереть бездну мерзких идей, пущенных в ход об нашей истории за последние 25 лет» (П., IV, 197).¹⁰

Но встал ли бы Достоевский безоговорочно на сторону Погодина? Вряд ли, по крайней мере одна фраза из его письма брату по поводу будущей статьи: «Я не знаю историю так, как они оба (Костомаров и Погодин. — В. В.), а между прочим мне кажется, что есть что сказать и тому и другому» (П., II, 270) — говорит о большей сложности и объемности его позиции по сравнению с Погодиным.

Несколько слов в связи с этим следует сказать об отношении Достоевского к М. П. Погодину вообще. Оно всегда было осторожным при всех, даже позднейших, во времена «Гражданина», уверениях в близости их политической программы. Эта осторожность кажущегося единомышленника вызывала порой в Погодине враждебное чувство.¹¹ Достоевскому, несомненно, была известна

⁹ Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 342. — Свое мнение о споре Костомарова и Погодина Е. Белов высказал позднее (Гражданин, 1875, № 11, с. 273).

¹⁰ Интересно, что эти слова Достоевского кое-что должны были напомнить и самому О. Ф. Миллеру, который в 1864 г. публично вставал на сторону Костомарова (см.: Библиотека для чтения, 1864, № 3, с. 54).

¹¹ См. переписку М. П. Погодина с Ф. М. Достоевским: Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусству и общественной мысли XIX в. М.; Л., 1936, т. 4, с. 449.

нашумевшая в свое время оценка Гоголя, близко знавшего Погодина и написавшего о нем в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной...».¹²

При всей субъективно-личной окрашенности этой характеристики следует все же отметить, что Гоголь уловил смысл взглядов М. П. Погодина, полагавшего, что история как наука должна быть «охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия».¹³

Стоит в связи с этим обратить внимание на заметку среди подготовительных записей Достоевского к неосуществленной статье о Дмитрие Донском: «Кто слишком крепко стоит за *насильственную* целостность России, во что бы то ни стало (курсив мой. — В. В.), тот не верит в силу русского духа» (20, 178). Реплика эта явно и недвусмысленно направлена против официозного «подкупного» патриотизма антикостомаровских статей Погодина, где теоретик «официальной народности» писал: «Злоупотребления и насилия в порядке человеческих вещей, были везде...».¹⁴

Достоевский, судя по его общественной позиции в публицистике 60-х годов, не мог принять того умиротворенного тона, который «делал музыку» в выступлениях Погодина. Писатель не мог и не хотел закрывать глаза на то, что «лжи и фальши в допетровской Руси — особенно в московский период — было довольно», на то, что в общественных отношениях этого патриархального периода «преобладало притворство, наружное смирение, рабство и т. п.» (20, 12).

Реконструировать точку зрения Достоевского в споре о Дмитрие Донском помогают его «Замечания на статью Семевского о книге Устрялова „Царевич Алексей Петрович“» (1861; также незавершенный замысел Достоевского). Писатель возражает здесь против разоблачительного пафоса Семевского по отношению к Петру I, во многом родственному пафосу Костомарова, и одновременно отказывается подпевать официальным панегирикам в честь царя.

Особая позиция Достоевского в подобной спешке двух крайних мнений имеет свои традиции в русской литературе и историографии. Вслед за Пушкиным (он, кстати, цитируется в «Замечаниях...») Достоевский хочет понять не только величие, но и конкретно-исторические противоречия Петра как человека и государственного деятеля.

Симптоматично то, что имя Пушкина встречается и в подготовительных записях к статье о Дмитрие Донском (кстати, оно фигурировало и в полемике Костомарова и Погодина).¹⁵ Послед-

¹² Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1952, т. 8, с. 232.

¹³ Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 1846, с. 16.

¹⁴ День, 1864, № 4, с. 21—22.

¹⁵ Отношение А. С. Пушкина к донскому герою ясно из следующих строк его письма Н. И. Гнедичу: «Тень Святослава скитается не воспе-

ний цитировал известные пушкинские строки: «Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман...» и, опираясь на авторитет Пушкина, хотел подкрепить свою мысль о приоритете истории как «охранительницы и блюстительницы» власти над историей-наукой. Много в ответной критике Костомарова, уловившего «полицейский» смысл статьи Погодина, было справедливо. В том впоследствии его поддержали В. А. Зайцев и Д. И. Писарев.¹⁶ Но при этом Костомаров осудил и пушкинские строки как «пошленькие стишонки», ничтожные даже «по версификации».¹⁷

Достоевский, как видно из подготовительных записей к статье, намеревался особенно выделить этот мотив полемики. «Костомарову. Да и время наше есть время опошленных истин. Вы не такой пошляк, как Пушкин, писавший пошленькие стишонки» (20, 176). Попытки ниспровержения авторитета великого русского поэта всегда вызывали у Достоевского негодование, будь их авторами Зайцев и Писарев, Костомаров или Катков. Кстати, видимо, не случайно среди рассматриваемых нами заметок появилось и имя последнего: «Не в господине же Каткове совокупилась русская красота» (20, 178). Это лишний раз подтверждает, что литературную и научную полемику Достоевский воспринимает расширительно, с широкой точки зрения развития русской национальной культуры. Для него Костомаров в одном ряду с «нигилистами» «Русского слова», от которых хочет «пожинать лавры», но одновременно — и с Катковым, ибо все они — разрушители «русской красоты».

Был ли писатель в споре о Пушкине, поэте и историке, целиком на стороне Погодина?

В четвертом номере «Эпохи» за тот же 1864 г. в «Заметках летописца» напечатана была статья «Пушкина ругают». Как известно, рубрику эту в журнале вел Н. Н. Страхов. Однако, как не без оснований предположили Л. Р. Ланской и С. С. Борщевский, в редактировании заметки мог принять участие и редактор — Ф. М. Достоевский.¹⁸ Во всяком случае можно с уверенностью утверждать, что точка зрения, здесь выраженная, Достоевским разделялась.

тая <...> А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит Поэту» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1937, т. 13, с. 145).

¹⁶ См.: *Зайцев В.* Перлы и алмазны русской журналистики. — Рус. слово, 1864, № 6; *Писарев Д.* Прогулка по садам российской словесности. — Там же, 1865, № 3.

¹⁷ В этом Костомарова поддержал О. Ф. Миллер в статье «Русский народный эпос перед судом г. Соловьева»: «...эти стихи и должны представляться такими, какими представились они г. Костомарову — пошлыми, и только пошлыми, хотя бы их написал Пушкин» (Библиотека для чтения, 1864, № 3, с. 54).

¹⁸ Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 189.

Ссылка Погодина на пушкинские строки о «возвышающем обмане» в целом одобряется «летописцем», хотя и с еле уловимым оттенком иронии: «... сослался он на них в простоте души».¹⁹ Сам «летописец» в отличие от Костомарова, а равно и Погодина, пытается понять пушкинские строки из стихотворения «Герой» не в их «простоте», однозначно-прямолинейной, а в сложном переплетении истины как «низкого» факта (ее в стихах выражает Друг) и как «высокого» народного предания (его у Пушкина отстаивает Поэт). Споря с Костомаровым, «Эпоха» тем не менее удерживалась от метафизической прямолинейности Погодина, полностью сводившего Пушкина, автора «Героя», к Поэту. Костомаров, говорит «летописец», по-видимому, не заметил сожаления Пушкина по поводу несовпадения правды факта и правды предания, «он, кажется, полагает самым пошлым образом, что Пушкин предпочитает обман истине».²⁰ Прямо нападая на Костомарова, «летописец» «Эпохи» косвенно целит здесь и в «простоту» Погодина. Эта двойная направленность заметки «Пушкина ругают» еще раз свидетельствует об особой позиции, которую занял журнал братьев Достоевских в рассмотренном нами споре двух историков.

Открывается теперь и смысл цитированной выше фразы из письма к брату, где Достоевский обещает коснуться в своей статье «взглядов наших историков (главнейших)». В числе их, видимо, должен был фигурировать не только Карамзин, которого спорящие тянули каждый в свою сторону, но и Пушкин — образец диалектического подхода к сложным вопросам русской истории.

Как мог бы Достоевский интерпретировать характер Дмитрия Донского? Здесь мы вступаем в область предположений, руководствуясь набросками к статье, а также теми материалами, которые были опубликованы в журнале братьев Достоевских.

Ф. М. Достоевский согласился с братом, что первое выступление журнала следует поручить Д. В. Аверкиеву, а собственная его статья продолжит начатый разговор. Статья Д. В. Аверкиева «Г-н Костомаров разбивает народные кумиры» была напечатана в третьем номере журнала за 1864 г. Продолжения, написанного Ф. М. Достоевским, как мы уже знаем, не последовало. Полемичку с Костомаровым продолжил сам же Аверкиев.

Д. В. Аверкиев (1836—1905) пришел в редакцию «Эпохи» в первый год ее издания молодым человеком, возможно, еще не освободившимся от того качества, о котором семь лет назад писал близкий знавший его Н. А. Добролюбов: «... по молодости пусто-ват; подвижен оттого, что ни на чем еще порядком не установился».²¹ Решающее влияние на нового сотрудника оказал Достоевский. «Некоторые из тамошних статей («Эпохи». — В. В.), обо-

¹⁹ Эпоха, 1864, № 4, с. 383.

²⁰ Там же, с. 386.

²¹ Добролюбов Н. А. Собр. соч. М.; Л., 1964, т. 9, с. 249.

значенных моим именем, — впоследствии признавался Аверкиев, — были написаны при ближайшем сотрудничестве Достоевского <...> то, конечно, был самый талантливый, самый влиятельный и любимый мой учитель».²² Видя в это время в Аверкиеве своего единомышленника, Достоевский и впоследствии даже переоценил его литературный талант, приписав ему во многом собственное писательское качество — объективность в изображении героев (П., II, 187—188). Был ли Аверкиев в вопросе о Дмитрие Донском своеобразным «отражением» Достоевского или выразителем коллективного внутривыпускного мнения (многие взгляды Достоевского, писал впоследствии Аверкиев, «были общим убеждением кружка <...> вырабатывались дружными усилиями всех его членов») ²³ — в любом случае статья Аверкиева в принципе совпала с точкой зрения Достоевского. Возможно, что это и было одной из причин, почему писатель не довел до конца своего замысла: журнал уже высказал свою позицию, и острая необходимость в его статье отпала.

В цитированном выше письме к брату Достоевский предупреждал, чтоб Аверкиев «собственно о Костомарове писал, а не о споре его с Погодиным». Однако тот написал именно «о споре», и досталось здесь не только Костомарову, но — пусть в смягченной форме — и Погодину. Так что Аверкиев занял ту же неоднозначную позицию, которую, как нам представляется, предполагал отстаивать и Достоевский.

Логика автора статьи «Г-н Костомаров разбивает народные кумиры» видна из следующего хода суждений. Преследовал ли Дмитрий Донской только личную корысть в куликовских делах, как то утверждает Костомаров? Цепь поступков князя, взятая в целом, противоречит этому утверждению.

Автор «Эпохи» предлагал искать истину лишь в «совокупности фактов», а не в отдельных эпизодах, вырванных из контекста судьбы героя и из контекста русской истории. И под верховною властью Орды великий московский князь — вопреки Костомарову — мог бы утолить жажду власти и корыстолюбия: аккуратно платить «выход» своим покровителям, а дальше поступать вполне самовластно и возмещать утраченное на спинах своих соотечественников. Однако Дмитрий избрал не этот куда более легкий путь, а прямо противоположный. Он обращается к русским князьям с призывом объединиться против Орды как *общего* врага. «Какая простота, какая твердость», — восклицал Аверкиев по поводу речи Дмитрия, обращенной к войску: «Лепо нам, братья, положить головы за православную веру... да не будем рассеяны

²² Аверкиев Д. В. Дневник писателя. 1885 год, вып. 1. СПб., 1885, с. 3—4 (об Аверкиеве как сотруднике журнала Достоевских см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975, с. 33—36).

²³ Там же, с. 2.

по лицу земли». Костомаров, в свою очередь, называл эту речь Дмитрия «хвастливой».

Еще одна психологическая деталь, которую Костомаров упомянул, но также не смог истолковать, исходя из «совокупности фактов»: проходя войском через земли враждебного Рязанского княжества, Дмитрий пресекает малейшие попытки грабежей, вполне привычных для тогдашних военных действий. Этим необычным приказом московский князь давал понять Олегу Рязанскому, идущему на соединение с Мамаем: мы своих, русских, не трогаем и против русских воевать не собираемся. У нас другой, общий враг. Не благодаря ли этому *осознанному*, продуманному шагу Дмитрия в будущей великой битве наконец-то не встал брат на брата?

Достоевскому, видимо, важна также была психологическая *последовательность* поступков Дмитрия, говорящая об осмысленной, осознанной цели предпринимаемого тяжкого дела, важно было увидеть, как в кризисной исторической ситуации, решавшей судьбу нации, на трагическом изломе складывался русский национальный характер, основное требование которого заключалось не в разрозненности корыстных интересов, а в слиянии частных побуждений в одно общее патриотическое чувство. Эта мысль — одна из главных для братьев Достоевских; поэтому, видимо, к своему историческому замыслу писатель относился с особым воодушевлением (напомню: «... все идеи „Эпохи“ о „почве“ должны быть выражены»). В программном объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 г. Достоевский называл одно историческое событие после петровских реформ, где «народ заявил себя», «один только случай соединения — двенадцатый год» (18, 36). В аналогичном ключе трактовался теперь «Эпохой» 1380 год. Позднее, в «Дневнике писателя» 1876 г., еще раз обращаясь к этому важнейшему рубежу в жизни нации, автор формулирует мысль, сложившуюся у него в 60-х гг.: в борьбе с нашествием русские люди «создавали царство и *сознательно* создали его единство» (22, 111).

Таким образом, ничуть не оправдывая княжеского деспотизма, темных сторон московского феодального периода русской истории, Достоевский стремился увидеть и те ситуации, в которых московский князь защищал общенациональные интересы. Писатель не избежал при этом другой крайности; он «переносил» подобную ситуацию в современность, — события Куликовской битвы или 1812 года питали его иллюзии о возможности примирения самодержавной власти с народом в настоящем и будущем. В этом — утопизм, наивная ограниченность Достоевского-публициста. Но следует оценить и прогрессивное начало диалектики, вносимое им в спор «на два фронта»: с отрицанием общенациональных ценностей русской истории и с официальным патриотизмом.

Сильные стороны историзма писателя проявили себя и еще в одном из пунктов полемики. Достоевский не собирался идеализировать Дмитрия, обелять его во всем и во что бы то ни стало,

как М. П. Погодин: «...кто боится Тохтамыша, а кто боится потерять популярность „Искры“ и у Абличительного поэта» (20, 176) — эта ироническая фраза, заготовленная против Костомарова и намекающая на заискивание его перед демократическим лагерем, не отводит упреков по адресу Дмитрия, но переводит разговор в другую плоскость: кто полагает, что сам он без греха, пусть бросит камень в историческое лицо. Характерный для писателя ход мысли, повторенный им при подготовке некрасовского выпуска «Дневника писателя»: «Но мы имеем ли право быть такими судьями? <...> Он не прав — это несомненно. Но и мы-то святые ли?» (26, 200). С помощью этого своеобразного аргумента *ad hominem* Достоевский и в 1864 г., и в 1877 г. призывает не судить историческое лицо, исходя из одних лишь абсолютных критериев морали, но учитывать реальные условия места и времени.²⁴

В упоминавшейся статье Д. В. Аверкиева «Г-н Костомаров разбивает народные кумиры» и в его же драме «Мамаево побоище» (Эпоха, 1864, № 10) этот постоянный сотрудник журнала значительность личности Дмитрия Донского выводит из уяснения им задач общенациональных («где нужны Леониды, а где Дмитри-рии»). Мысль о значении в истории личности, сумевшей проникнуться общими народными интересами, и была близка Достоевскому, которого в эти годы занимал вопрос, каким должен быть новый «русский деятель». Трактую в 1862 г. личность Петра I (20, 14—15), а в 1869 г. — Ермака (П., II, 193), Достоевский приходит к близкому выводу: «русский деятель» должен «угадывать» общенародную потребность, — только тогда его деятельность принесет полезные плоды. Писатель-реалист понимает постепенность и сложность этого исторического процесса. Поэтому и предлагает судить характер исторического лица в движении, в процессе осознания им своего назначения. Такой, по всей видимости, была и точка зрения Достоевского на личность и историческую роль Дмитрия Донского.

В «Дневнике писателя» 1880 г., вновь обращаясь к переломному моменту русской истории XIV в., Достоевский повторяет ту оценку событий, к которой он пришел в 1864 г.: «после нашествия Батыева» «единственно всеединящим духом народным была спасена Россия» (26, 132). «Единственно», потому что не внешние условия (татаро-монгольское иго или княжеский деспотизм) сыграли (так полагал Костомаров) решающую роль в объединении Руси, но закономерный внутренний процесс национальной консолидации. В этом историческом движении Дмитрий Донской сумел стать полномочным представителем «всеединящего духа

²⁴ Оригинальное объяснение поведения Дмитрия во время нашествия Тохтамыша давал Д. В. Аверкиев: «Он рассудил как истый внук Калиты: не удалось против Тохтамыша, удастся против Олега»; «Он о земле своей радел, а не о том, чтобы прослыть отважным храбрецом» (Эпоха, 1864, № 3, с. 296).

народного», а впоследствии, в народной памяти, и его патристическим, легендарным символом. Ученый, не чувствующий этой внутренней закономерности национальной истории, превозносящий самоценность изолированного эмпирического факта, по Достоевскому, не историк, не ученый. « $2 \times 2 = 4$ — не наука, а факт. Открыть, отыскать все факты — не наука, а работа над фактами есть наука» (20, 177), — так в заостренной форме Достоевский намеревался ответить Н. И. Костомарову. Из этой аналитической и обобщающей функции истории вырастает, по Достоевскому, ее воспитательное, патристическое значение. Анализировать факты русской истории — значит постигать рост национального самосознания, а следовательно, и воспитывать, обогащать духовный опыт новых поколений.

«Всякому обществу, чтобы держаться и жить, надо кого-нибудь и что-нибудь уважать непременно...» (23, 152—153). В последние годы жизни на часто задаваемый ему вопрос «что читать детям?» автор «Дневника писателя» не устает отвечать: исторические сочинения. В письме Н. Л. Озмидову (1880 г.) писатель вспоминает свое детское чтение Вальтера Скотта, «высокое впечатление» от которого составило в душе «большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными <...> и растлевающими». Рекомендуя читать труды историков, Достоевский особо оговаривает: «Костомарова пока не давайте» (П., IV, 196). «Пока» не оформилась, не сложилась слабая еще духовная натура юного читателя — так, видимо, следует понимать оговорку Достоевского. Пройдет время, и духовно окрепший читатель сам разберется, где подлинная правда, а где «соблазнительное и растлевающее» правдоподобие.

Историческая память, по Достоевскому, нравственно формирует личность и отдельного человека, и целой нации. К этой мысли писатель возвращается, набрасывая пушкинскую речь. Здесь слышны отголоски давнего спора об исторической «фактологии»: «Если б умер кто, на Куликовом поле, право было бы приятно <...> Пушкин именно разумел доблесть, доблестных предков — не давить хотел он аристократическим происхождением <...> Пушкин — факт» (26, 209, 211). Историческая память созидательна; поэтому, мечтал писатель, история России, поэтически осмысленная, должна стать «великою национальной книгой и послужить к возрождению самосознания Русского человека» (П., II, 193).

* * *

Одно методологическое примечание. Колебания, разрушение абсолютов нередко выводили из себя и противников, и союзников писателя.²⁵ Для него истина не посередине, она в диалектическом

²⁵ Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. СПб., 1909, т. 4, с. 922. — Любопытна в этом плане реакция Н. И. Костомарова на пушкинскую речь Достоевского: «...его идеал — в тумане <...> сквозь который он представ-

снятии противоположностей путем познания *движущейся* исторической действительности. Достоевский создает адекватную своему миросозерцанию форму публицистики не столько доказывающей, силлогистичной, сколько ищущей, гносеологичной. Стилевая доминанта его публицистического слова — процесс познания истины. А потому неприемлемы в своей метафизической абсолютизации ни апологетический, ни разоблачительный подход к публицистическому наследию писателя.

2

На протяжении 1863—1865 гг. Ф. М. Достоевский неоднократно обращался к замыслу статьи о «нигилистических романах». Статья так и не была написана, сохранились лишь разрозненные заготовки для нее в записных книжках 1864—1865 гг. Восстановить, хотя бы предположительно, ход мысли писателя особенно важно, если учитывать, что именно на эти годы падает основная часть работы Достоевского над «Преступлением и наказанием». Осмысление опыта «нигилистического романа» 60-х гг. и отталкивание от него входят в творческую историю книги о Раскольнике.

Истоки замысла можно отнести еще к началу 1862 г., когда состоялся известный диалог в письмах между Достоевским и Тургеневым по поводу «Отцов и детей». В ответ на письмо Достоевского (не сохранившееся) автор романа признался: «Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумления — и удовольствия. Точно Вы в душу мне вошли и почувствовали даже то, что я не считал нужным вымолвить».²⁶ Достоевский, по мнению Тургенева, единственный, кроме Боткина, кто понял, что в Базарове автор «попытался <...> представить трагическое лицо», а не карикатуру.²⁷

Три с половиной года отделяют письмо Достоевского к Тургеневу от известного его же письма к Каткову о замысле повести — «отчета одного преступления» в сентябре 1865 г.²⁸ Естественно предположить, что мысли Достоевского, высказанные Тургеневу²⁹ и столь поразившие последнего, в указанный период

ляется наблюдающим глазам в различных образах, и чаще всего в таких, каких на самом деле он не имеет. Мне кажется, этих господ не понимают, но виноваты они сами, потому что все, что они нам показывают, дают нам видеть не иначе, как сквозь дымку тумана, искажающего правильное очертание видимых образов» (Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 522).

²⁶ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Письма. М.; Л., 1962, т. 4, с. 358.

²⁷ Там же, с. 385.

²⁸ Заметим к слову, что Достоевский обращается в тот самый журнал, где были напечатаны «Отцы и дети». Это обстоятельство заставляет несколько другими глазами посмотреть на данную в письме характеристику будущего героя-нигилиста.

²⁹ Попытки реконструировать суждение Достоевского о Базарове предпринимались в следующих работах: Фридендер Г. М. К спорам об «Отцах

не только не забылись, но продолжали зреть и углубляться. Так, в февральском выпуске «Времени» 1863 г. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» упомянул «беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» (5, 59).³⁰

В 1863 г. вышли еще два крупных романа о «новых людях» — «Что делать?» Н. Г. Чернышевского и «Взбаламученное море» А. Ф. Писемского. Для первого номера нового журнала «Эпоха» Ф. М. Достоевский обещает брату статью принципиального характера: «Разбор Чернышевского и Писемского произвел бы большой эффект и, главное, подходил бы к делу. Две противоположные идеи и обеим по носу. Значит, правда» (П., I, 341; письмо от 19 ноября 1863 г.). Что в задуманной статье могло «произвести эффект»? Видимо, принцип «обеим по носу» — характерная для Достоевского-публициста и вообще для почвенничества борьба на два фронта. Почему статья не была написана? Кроме прочих причин — занятость, осложнившиеся семейные обстоятельства, удаленность от журнала и т. д. — есть еще одна, для Достоевского-журналиста немаловажная: его опередили. В «Отечественных записках» (1863, № 11—12) печатается большая анонимная статья, в которой сталкиваются оба романа и оба признаются односторонним отражением такого общественного явления, как «новые люди» 60-х гг. «Эффекта» уже не получалось.

Видимо, в это же время Достоевскому приходит мысль перевести полемику из сферы публицистической в художественную. В первом сдвоенном номере «Эпохи» за 1864 г. была напечатана первая часть «Записок из подполья». Основная работа над ней пришлось на январь—февраль 1864 г., т. е. непосредственно на период, последовавший за работой над статьей о Чернышевском и Писемском. Это была не столько прямая публицистическая атака на «хрустальные дворцы», сколько спор по главному вопросу искусства — о понимании человека. Концепции рационального, ясного характера Достоевский противопоставляет концепцию иррационально-противоречивой личности, «беспокойной» и «тоскующей».

Достоевскому суждено было еще раз вернуться к замыслу статьи о романах про «новых людей», когда в 1864 г. выходят «Марево» В. П. Ключникова, «Некуда» Н. С. Лескова и «Мудреное дело» Д. Н. Ахшарумова. Сохранились разрозненные записи этого этапа работы над статьей, которые делают возможной реконструкцию замысла Достоевского. Отметим примечатель-

и детях». — Рус. лит., 1959, № 2; *Манн Ю.* Базаров и другие. — Новый мир, 1963, № 10; *Тюнькин К. И.* Базаров глазами Достоевского. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971; *Буданова Н. Ф.* Проблема «отцов» и «детей» в романе «Бесы». — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974, т. 1.

³⁰ Сопоставление этой характеристики с образом Раскольникова см.: *Бялый Г. А.* Русский реализм конца XIX в. Л., 1973, с. 45—46.

ную черту в словоупотреблении писателя: в этих записях он пользуется выражением «нигилистические романы», одинаково относя его и к антинигилистическим произведениям, и к демократической беллетристике. В глазах Достоевского эти два направления разрабатывают некий общий (в художественном плане) жанр, тип сюжета и героя. Задумываясь в это же время над собственным «нигилистическим романом», писатель не мог не сравнивать. Следы такого сравнения мы находим в записях 1864—1865 гг.

Достоевский выделяет некий уже оформившийся сюжетный стереотип: «NB. Нигилистический роман. Его концепция — всегда одно и то же: муж с рогами, жена развратничает и потом опять возвращается. Дальше и больше этого они ничего не могли изобрести» (20, 202). Здесь в подтексте — требование новой «концепции», которая пошла бы «дальше» и отразила не отдельные черты и взгляды нигилистов, например, на семью (этот мотив в «Преступлении и наказании» будет выведен на периферию романа в пародийные разглагольствования Лебезятникова),³¹ а в целом раскрыла бы философию и психологию нигилизма как значительного явления русской пореформенной действительности.

Отсутствие таковой «концепции», бытовая поверхностность сюжета именно в это время отмечается Достоевским у одного из антинигилистических писателей: «Весь реализм Писемского сводится на знание, куда какую просьбу нужно подать» (20, 203), а далее — явно об уязвимости позиции автора «Взбаламученного моря»: «Сила не нуждается в ругательствах» (20, 203). Последняя запись обычно трактуется как заготовка для полемики с «Современником» (см.: 20, 391), однако, учитывая двойную направленность идейной борьбы Достоевского-публициста и то, что запись непосредственно следует за репликой о Писемском, можно отнести ее и к последнему. Та же обоюдоострая критика — равно как в адрес Чернышевского, так и в адрес Писемского — просматривается и в записи: «ваши романисты выдумали только разврат в браке» (20, 203). Обратим внимание на характерные «словечки» в двух приведенных записях: «романисты *выдумали* только...» и «больше этого не могли *изобрести*». По-видимому, речь идет о «выдумывании» и «изобретении» сюжета, достойно и глубоко отражающего такое сложное общественное явление, как нигилизм.

Достоевский пытается понять, в чем же «ошибка» его идейных противников, к которым он испытывает не ненависть, а сочувствие и страстное желание помочь найти истину (а для этого необходимо найти ее самому). С этой сверхзадачей и обращается Достоевский к анализу типических сюжетных коллизий «нигилистических романов».

³¹ Отмеченный Достоевским сюжетный мотив «нигилистического романа» («жена развратничает и потом опять возвращается») войдет и в «Бесы», и вновь на правах второстепенного (история жены Шатова).

Такова одна из записей: «Да чего ж он не сунулся-то к ней (к Лилиньке). Ведь он бы жил. Да что в том, что он бы жил; она бы жила на его руках, и он бы чувствовал, что она бы жила (хотят счастья только себе). Расходятся из эгоизма направления, в безмолвном и гордом страданье. Бессмысленные романтики — да им всех хочется, так и прите за всех на крест, а то счастье.

Что останется после их счастья? Есть, жиреть и в карты играть. Китайский уклад. О бессмыслица!

Да бедны мы. Э—эх!

«... Немецкий это расчет, а не гуманный. Да даже и расчет на их стороне. Ведь работает же Лилинька, работает же и он, — ну, работайте вместе» (20, 195).

Характерная интонация этой записи выдает человека, страстно желающего открыть глаза заблудшим, потерявшим первоначальную истинную цель («им всех хочется») и подменивших ее, не заметив того, на противоположные буржуазные ценности («Есть, жиреть и в карты играть. Китайский уклад»). Т. И. Орнатская установила, что речь здесь идет о рассказе А. В. Корвин-Круковский «Сон» (см.: наст. том, с. 238—240). Но ситуация, которую критикует Достоевский, совпадает и с *типовым* поворотом сюжета в ряде «нигилистических романов», когда любовь приносится в жертву узко понятому убеждению. Это финал и отношений Лизы и Райнера в «Некуда», и отношений Инны и Русанова в «Марева»; похожая ситуация есть и в «Мудреном деле», везде герои «расходятся из эгоизма направления, в безмолвном и гордом страданье». Через страничку, переходя к анализу сюжета «Мудреного дела», Достоевский развивает свою мысль: «— Не хочу жить на твой счет, — говорит героиня герою. Все они боятся этого как чумы. Это безнравственно. Это — делиться, начала разделения, это — хлопотать о своей ювелирской вещице — личности. Еще правило — *единственность* сюжета нигилистических романов.

Еще что

Тут нигилисты противуречат себе, тут они мещане и собственники.

NB. Из этого статью: «Нигилистические романы» (20, 196).

Запись «Тут нигилисты противуречат себе, тут они мещане и собственники» — более поздняя вставка, она соотносит критику «нигилистических романов» с ведущейся в это время полемикой «Эпохи» с новой редакцией «Современника», во многом отошедшей от традиций Чернышевского и Добролюбова, сотрудников которой — Антоновича, Пыпина и др. — Достоевский называл «мещанами социализма». Сравнивая новую и старую редакции, Достоевский в своих статьях поставил вопрос о перерождении идеалов «Современника». Так, упрекая противников в бесперемонности, грубости полемических приемов (когда полемику берет в свои руки Антонович), писатель констатировал: если раньше «Современник» такого не позволял, значит «он изменил свое на-

правление» (20, 118). Публикуя грубую, полную непристойных личных намеков статью Антоновича против «стрижей» (Современник, 1864, № 7), редакция сделала оговорку, что не разделяет бесцеремонных полемических приемов автора, но печатает статью, так как цель ее «действительно стоит того, чтобы для ее достижения употребить даже те неодобрительные средства, которые употребил автор». Достоевский иронизировал: «„Цель оправдывает средства“ — правило старинное, всем известное и вдобавок западничское» (20, 125). Намек раскрывается, если мы обратимся к записным книжкам Достоевского, где автор прямо пишет об опасности для всего человечества «привнесения в революцию иезуитизма» (20, 190).

Журнальная полемика по вопросу о целях и средствах также входит в генезис «Преступления и наказания», особенно если иметь в виду тему искажения первоначальных убеждений героя, превращения их в свою противоположность.

Обращаясь к идейным оппонентам, автор хочет показать: вот к чему вы можете прийти, если отбросите нравственное обоснование своих идей. Но обязательно ли «социалисты» должны прийти к «раскольниковскому» варианту? Н. Н. Страхов отвечал на этот вопрос вполне утвердительно;³² позиция Достоевского была сложнее, он не переставал верить в нравственные начала молодого поколения, которые окажутся спасительными.

Точка зрения Достоевского в задуманной им статье должна была, как нам представляется, сводиться к идее *переходности* типа нигилиста в русской истории. В ряде заметок проводится даже мысль о неизбежности, пусть болезненной, этого перехода. Так, в записи «В полемику» Достоевский делает ценное для нас признание: «... Мы-ведь этому, хоть бы нигилистскому или естественно-научному направлению даже рады. Оно придает некоторую смелость мысли <...>. Но не беспокойтесь, всё это, *перейдя* через эту некоторую смелость мысли, *придет* на почву и к народным началам. Да и единственный ведь это *путь*. Нигилисты, стало быть, отстали. *Ничего, догонят*» (20, 176; курсив наш. — В. В.).

Тип нигилиста под пером Достоевского обретает черты психологической сложности, в этом он как бы возвращает «нигилистические романы» к опыту Тургенева (имя последнего фигурирует и в записных книжках: Достоевский защищает его от плохой критики Антоновича — 20, 199), к типу «беспокойного» и «тоскующего» героя. Любопытно, что такую же эволюцию проделал впоследствии и Писемский — от «Взбаламученного моря» к роману «В водовороте». Обращаясь к Раскольникову, каким он предстает с точки зрения рассмотренного нами генезиса романа,

³² Анализу взаимоотношений Страхова с Достоевским периода «Эпохи», в частности их трактовки «нигилистических романов», был посвящен наш доклад на VII чтениях «Достоевский и мировая культура» (Ленинград, 1982).

следует сказать, что вряд ли в этом герое действовал «механизм самообмана», скорее — перерождения. Если даже не было у Раскольникова высоких целей спасти человечество (в чем мы также сомневаемся), то наверняка были высокие побуждения, неравнодушные и обостренное чувство несправедливости, чужих страданий. В Раскольникове типизирована определяющая черта молодого поколения «шестидесятников» — уязвленность, страдание от чужой боли, совестливость. Трагедия героя в том, что высокие нравственные побуждения *переходят* в свою противоположность. Этот сложный социально-психологический феномен, проанализированный в романе, писатель позднее довольно четко сформулировал: «сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании человечества, может даже *обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему*» (24, 49).

Пафос творчества Достоевского, как он складывался в первой половине 60-х гг., заключался прежде всего в стремлении понять и с философских, социально-психологических позиций осмыслить явление нигилизма как трагического и переходного *состояния* всего общества, в целом современной буржуазной цивилизации (ср. позднейшее «мы все нигилисты»).³³ Глубокое убеждение, что это состояние должно в конечном счете разрешиться на путях сближения с народом и что этот путь «единственный», делает Достоевского весьма далеким от ортодоксального антинигилизма.

³³ Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 674.

СТАВРОГИН ДОСТОЕВСКОГО И КАРАЗИН М. ГОРЬКОГО

Рукописи главы «У Тихона» («Исповедь Ставрогина»), не включенной в текст романа «Бесы» при печатании его в журнале «Русский вестник» по настоянию М. Н. Каткова, хранились у А. Г. Достоевской и незадолго до ее смерти, в 1918 г., поступили от нее в Централхив. Первая редакция, а также незавершенный список этой главы были опубликованы в 1922 г.¹

Год спустя М. Горький написал рассказ «Карамора». Это исповедь Петра Каразина — революционера, ставшего провокатором. Если сопоставить этот рассказ с главой «У Тихона», можно обнаружить, как нам представляется, немало общего в Ставрогине и Каразине как литературно-психологических типах.

Следует сразу же отметить: проблема восприятия и интерпретации Горьким наследия Достоевского освещена в нашем литературоведении еще сравнительно скудно, хотя, по совершенно справедливому замечанию М. Я. Ермаковой, «в истории русской литературы вопрос об отношении М. Горького к Достоевскому как художнику и человеку является поистине феноменом исключительным, ибо трудно назвать другой подобный пример, когда один классик литературы так много, систематически и очень часто столь противоречиво говорил бы о другом классике, то восторгаясь им, то осуждая его творчество».²

В 40-х гг. о Горьком зачастую писали по преимуществу как о борце против реакционных идей автора «Бесов». В таком аспекте написаны и статьи Б. А. Бялика.³

Однако уже в 1959 г. была опубликована статья Ю. Юзовского «Спор Горького с Достоевским», в которой автор, сопоставляя роман Горького «Трое» с «Преступлением и наказанием»,

¹ См.: Документы по истории литературы и общественности. М., 1922, вып. 1. Ф. М. Достоевский, с. 3—40; Былое, 1922, № 18, с. 227—252 (см.: 12, 237—246).

² Ермакова М. Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века. Горький, 1973, с. 263.

³ См.: Бялик Б. А. 1) Борьба Горького-художника против реакционных идей Достоевского. — В кн.: Горьковские чтения. М., 1951, с. 418—419; 2) Достоевский и Достоевщина в оценках Горького. — В кн.: Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959, с. 65—100. — Правда, в последней статье Б. А. Бялик считал нужным подчеркнуть, что «Горький высоко ценил искренность Достоевского», и подкрепить эту мысль ссылкой на письмо Горького к Иванову-Разумнику от 29 октября 1913 г. (с. 99).

счел нужным подчеркнуть и весьма важное сходство между героями этих романов — то, что и Раскольников, и Лунев, совершившие убийства, страдают от чувства своей разъединенности с людьми, а кроме того, что «им обоим, так же, как и их авторам, важен был не только психологический и даже моральный (безотносительно моральный) мотив, а его философская направленность, его перспектива».⁴

В 1967 г. вышла книга Л. Ф. Ершова «Русский советский роман», в которой он утверждает в связи с повестью «Трое», что Горький «учился у великого художника искусству проникновения в тайное тайных человека», высказывает мнение, что автор «Клима Самгина» не сумел бы создать своего героя, «если бы не опирался на огромный опыт аналитической школы Достоевского». Обобщающий вывод исследователя таков: «Хотя Горький жестоко и неуклонно боролся с „достоевщиной“ <...> нельзя сказать, что сам он остался в стороне от дороги, проложенной Достоевским».⁵

Эта мысль нашла свое дальнейшее развитие в статье А. С. Мясникова «Достоевский и Горький» и в уже упоминавшейся выше книге М. Я. Ермаковой. Мясников, подчеркнув, что «Горький отрицал не Достоевского в целом, а ту „социальную педагогику“ Достоевского, которая противостояла лучшим идеям самого писателя», призывает читателя «подумать и о том, что и в какой мере сближало Достоевского и Горького, попытаться выявить в художественном творчестве и публицистике Достоевского те животворные черты, которые помогали рождению нового художественного метода, противостояли заблуждениям самого Достоевского, заставляли Горького творчески подходить к великому наследию одного из самых трагических писателей XIX века».⁶

Ермакова же говорит прямо: «От Достоевского литература шла к Горькому».⁷ Следует заметить, что она первая предприняла попытку рассмотреть воздействие Достоевского на Горького на примере конкретных произведений последнего, в частности — рассказа «Карамора».⁸ «Почему М. Горький при решении столь большой философско-психологической темы обратился именно к образу провокатора Петра Каразина...? Конечно, это было сде-

⁴ Вопр. лит., 1959, № 5, с. 130.

⁵ Ершов Л. Ф. Русский советский роман. Л., 1967, с. 181.

⁶ См.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972, с. 546.

⁷ Ермакова М. Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века, с. 293.

⁸ Необходимо оговориться, что в связи с «Караморой» имя Достоевского всплывало и ранее, но только в ином плане. А. К. Воронский, например, еще в 1928 г. писал: «Неудачной вещью является „Карамора“. Рассказ возбуждает чувство недоумения и досады. Есть в нем много от пастроений Достоевского: „позвольте подлость сделать“, и непароком герой рассказа — провокатор — говорит, что он теперь хорошо чувствует Достоевского. И потом, нельзя так двойственно писать о провокаторах, нельзя, особенно у нас в России» (Воронский А. Литературно-критические статьи. М., 1963, с. 379). — Ошибочность суждения Воронского очевидна.

лано М. Горьким не случайно. Ведь для обнажения сущности вышеуказанной темы и проблемы художнику выгоднее взять, — как делал это и Достоевский, — факт исключительный, наиболее рельефный, в такой резко очерченной форме, где никаких светотеней, которые могут несколько „размыть“ контуры объекта». ⁹ И, наконец, В. И. Кулешов в своей книге «Жизнь и творчество Достоевского», изданной уже в 1979 г., очень верно заметил: «Когда Горький в своих произведениях касался старого мира, он широко использовал опыт Достоевского». ¹⁰ Попробуем же проследить, как в «Караморе» использован опыт Достоевского — автора «Бесов».

Первый эпиграф к «Караморе» Горький взял из слов рабочего Захара Михайлова, провокатора, представшего в 1917 г. перед следственной комиссией: ¹¹ «Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, — порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать, — самому близкому». ¹²

Собственно говоря, ни Ставрогин, ни Каразин подвигов не совершают, хотя оба обладали бесстрашием и любили опасные моменты. Раздвоенность их в другом. «Жили во мне два человека, и один к другому не притерся. Вот и всё», — говорит Каразин. ¹³ «Я все так же, как и прежде всегда, могу желать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие», — так писал Ставрогин Дарье Шатовой незадолго до самоубийства (10, 514).

Следует сразу же оговориться, что все так называемые «добрые дела» Ставрогина, равно как и смелые поступки Каразина, совершались не столько из любви к людям, сколько для самоутверждения, для возвышения в собственных глазах. Кроме того, в обоих вечно жило сильнейшее желание первенствовать, а для этого необходимо общество. «В каждом человеке живут двое: один хочет знать только себя, а другого тянет к людям», — совершенно четко определяет свою раздвоенность Каразин, ¹⁴ и эти слова вполне приложимы и к Ставрогину. «Всякое чрезвычайно позорное, без меры унижительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, — пишет Ставрогин, — всегда возбуждало во мне, рядом с безмер-

⁹ Ермакова М. Я. Романы Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века, с. 294—295.

¹⁰ Кулешов В. И. Жизнь и творчество Достоевского. М., 1979, с. 203.

¹¹ В первые годы после Октябрьской революции в связи с раскрытием дел царской охранки всплыло немало имен провокаторов. Перед судом революционного народа предстали в разное время Михайлов, Окладский, Серебряков и другие. Каждый такой процесс воспринимался Горьким с глубоким волнением, обнажая перед ним разнообразные закоулки низких предательских душ, исследованию которых посвящено столько страниц у Достоевского, и поневоле заставляя взглянуть на своего предшественника по-новому, как на художника великой прозорливости.

¹² Горький М. Полн. собр. соч. М., 1973, т. 17, с. 366.

¹³ Там же, с. 367.

¹⁴ Там же, с. 372.

ным гневом, непомерное наслаждение <...> Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости» (11, 14).

Каразин же, став провокатором, тоже мог бы сказать о себе, что «тут рассудок мой бывал совершенно цел». Он так и пишет: «Разумом я сознавал, что делаю так называемое подлое дело, но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувством самоосуждения, раскаяния или хотя бы страхом. Нет, ничего подобного я не испытывал, кроме любопытства...»; и далее: «Я первый открыл, что у человека нет сил протестовать против подлости в себе самом, да и не надо протестовать против нее: она — законное и действительное орудие взаимной борьбы».¹⁵ Такое философское обоснование Ставрогину еще было неведомо, он вообще в отличие от Каразина почти не пытался оправдываться. В одном из вариантов списка А. Г. Достоевской главы «У Тихона» написано даже так: «При этом объявляю, что ни средю, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу» (12, 109). Но, как бы то ни было, и Ставрогин, и Каразин, чувствуя свою раздвоенность, порой наслаждались своими поступками молча, наедине с собой, а иногда их «тянуло к людям», и тогда Ставрогин рисовал в своем воображении, как весь мир (или хотя бы пока только Тихон) узнают о его поступке с Матрешей и поразятся; Каразин же откровенничал перед своим собутыльником, начальником охранного отделения Симоновым. «Цельный человек похож на вола — с ним скучно, — заметил Каразин и тут же добавил: — Я думаю, что цельность — результат самоограничения ради самозащиты».¹⁶

Перед тем как читать исповедь Ставрогина, Тихон процитировал ему отрывок из Апокалипсиса: «Сие, глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания божия: знаю твою долю; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих» (11, 11). Эта евангельская мысль крайне важна для понимания как Ставрогина, так и Каразина. Оба они боялись «потеплеть», интуитивно чувствуя, что это принесет им гибель. Усталость души и скука — их постоянные спутники. Ставрогин, охотно признавая свое «звериное сладострастие», свое нередкое упоение «подлостью и низостью», замечает, однако: «Никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание, самое полное (да на сознании-то все и основывалось!). И хотя овладевало мной до безрассудства, но никогда до забвения себя» (11, 15).

Столь же скучно было Каразину в среде революционной молодежи: «Девятнадцать лет жил я среди однообразно мыслящих людей, жил, так сказать, в атмосфере мысли одноцветной окраски.

¹⁵ Там же, с. 396—397.

¹⁶ Там же, с. 379.

Эта окраска не удовлетворяла меня, она казалась мне скучной, безрадостной, как осенний, непогожий день». ¹⁷ И вполне справедливо отозвался о Ставрогине Вяч. Полонский: «Он не революционер и никогда им не был. Если он и соприкасался с революцией, то „случайно“, как „праздник человек“, который ищет, куда избыть свою тоску». ¹⁸ Каразин с годами превратился в провокатора и притом остался столь холоден, как прежде: «Я всё ждал, что внутри меня вспыхнет протест. „заговорит совесть“, но совесть молчала». ¹⁹

Томясь от своей постоянной цепенящей холодности, желая испытать хоть какие-то горячие чувства, оба тоскуют по наивности. Караморе хочется видеть наивность и в культуре, и в революционной борьбе, и в любви — но он ее не видит; Ставрогин нашел наивность в Матреше, но, найдя, пережил лишь мгновение ее горячих объятий — и снова видит кругом одно смрадное болото. Но вот что показательно: пока Ставрогин был «не холоден и не горяч», он жил, и лишь когда перед ним встала перспектива размеренной, почти филистерской жизни с Дашей в швейцарском кантоне Ури, перспектива «тепленького», уныло однообразного существования — тут он не выдержал и вложил голову в петлю. ²⁰ Видимо, это мог предчувствовать Тихон, сказавший ему: «Вы не хотите быть только теплым» (11, 12).

Перед Каразиным подобной перспективы нет (есть другая — смертная казнь, но и это ему неизвестно).

Ставрогин экспериментировал над собой всю сознательную жизнь, ²¹ Каразин начал после истории с Поповым. Но, экспериментируя, оба были предельно рационалистичны. За несколько минут до растления Матрешы, пишет Ставрогин, «я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя: могу ли я остановиться? И тотчас ответил себе, что могу» (11, 16). А далее: «...я встал и начал к ней подкрадываться». Несмотря на свое «звериное сладострастие», действует он продуманно, расчетливо. Матреша для него не столько женщина, не столько даже объект похоти, сколько подопытный объект. Нет, он не насильник («насилие — мерзость», — говорил еще Свидригайлов), ему необходимо возбудить эту девочку и склонить ее к добровольному сближению («лицо ее выражало совершенное восхищение»). Но вот цель достигнута.

¹⁷ Там же, с. 397.

¹⁸ Спор о Бакуinine и Достоевском. Л., 1926, с. 193.

¹⁹ Горький М. Полн. собр. соч., т. 17, с. 397.

²⁰ А. С. Долинин в статье «Исповедь Ставрогина» заметил, что эта форма самоубийства «может быть художественно оправдана только в связи с „Исповедью“: суровое возмездие за преступление с „отроковицей“ скандализует и в одинаковости орудия смерти и обстановки — тоже чуланчик и петля и для насильника» (Литературная мысль, Пг., 1922, № 1, с. 149).

²¹ «Необъятная сила (...) с радостью бросающаяся — во время исканий и странствий — в чудовищные уклонения и эксперименты...», — такую запись о Ставрогине сделал Достоевский 1 января 1870 г. (см.: 9, 128).

«Когда всё кончилось, она была смущена. Я не пробовал е-
разуверить и уже не ласкал ее. Она глядела на меня, робко улы-
баясь. Лицо ее мне показалось глупым». Как видим, даже наслаж-
дение ласками юного существа для Ставрогина ничто по сравне-
нию с любопытством экспериментатора: что же из этого получится?⁹
Видя, что Матреша эволюционирует слишком медленно (че-
рез два дня только слегка похудела и была в жару), Ставрогин
решает ускорить ход событий — на глазах у Матрешы запирается
с Ниной, уже изрядно ему надоевшей, чтобы увидеть, как это
отзовется на Матреше. Результат налицо: Матреша, почувствовав
себя окончательно опустошенной, растоптанной и оплеванной,
решила повеситься. Но за каких-то несколько десятков минут
до ее рокового шага, когда она вновь была одна со своим оболь-
стителем, Ставрогину, по его словам, «решительно доставляло
удовольствие не заговаривать с Матрешей». Момент же наивыс-
шего удовольствия настал для него тогда, когда ему стало ясно,
зачем несчастная девчонка заперлась в чулане. Он фиксировал
и запоминал все мельчайшие подробности этого момента:
«... жужжала муха и всё садилась мне на лицо <...> взял книгу
и стал смотреть на крошечного красного паучка на листке герани
и забылся. Я всё помню до последнего мгновения». И даже
когда, приподнявшись на цыпочки, дабы убедиться, умерла ли
Матреша, он заглядывает в щель чулана, то подчеркивает, что
об этой детали (встать на цыпочки) думал еще заранее: «Встав-
ляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой сте-
пени явственно я владел моими умственными способностями»
(см.: 11, 16, 18, 19).

Каразин в этом плане несколько отличается от Ставрогина.
Как только стал он чувствовать «непрочность побуждений к ре-
волюционной работе», так им овладело, по его словам, «состоя-
ние тихого, но упрямого бунта, который вызывал во мне стран-
ную вялость мысли, чувства и настойчивую потребность испытать
что-то неиспытанное». Правда, его первое преступление — убий-
ство провокатора Попова — не было заранее обдуманном, реше-
ние это возникло внезапно, и, приняв его, он «вдруг заторопился,
сам себя подхлестывая на решение неожиданное». О самом ре-
шающем моменте сказано с предельным лаконизмом: «Попов
повесился на отдушнике печи. Я держал его руки, пока он дры-
гал ногами и громко выпускал кишечный газ». Состояние убийцы
после смерти Попова было скверное. «Но незаметно, — шипит
он, — откуда-то из глубины, вдруг встал предо мной тревожный
вопрос: а почему, собственно, я заставил Попова удавиться так
неожиданно для самого себя и так торопливо заставил, точно
чего-то испугался, но — не в нем, в — в себе? Как будто я не
преступника уничтожил, а свидетеля, опасного для меня, и не-
тем опасного, что он предатель, а с какой-то другой стороны
опасного?». Опасность такова: слушая Попова в его предсмертные
часы, Каразин как бы видел в нем будущего себя. Не случайно
он проговаривается: «И вообще назойливо шептались его цинич-

ные мыслишки, так странно знакомые мне, как будто я их слышал давно и часто». Однако состояние подавленности, растерянности длилось лишь до тех пор, пока Симонов не предложил ему, уже арестованному, заменить убитого. Охотно изъявив согласие, Каразин обрел полную уверенность в себе: «Хорошо помню, что меня не испугала петля, накинутая на шею мою <...> Хорошо помню, что я сам был удивлен быстротой и легкостью, с которыми это решение возникло...». Это назойливо повторяющееся «хорошо помню» — уже чисто ставрогинское. С этого момента и эксперименты у Караморы начинаются ставрогинские: он стремится узнать, до каких же пределов он способен дойти: «...я беспощадно нахлестывал себя, чтоб дойти до ответа. Я выдал охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей, человека на редкость хорошего <...> Выдал его и ждал, что теперь в душе моей что-то вззоет. Ничего не взвыло. А несколькими строчками выше было сказано: «Людей я не чувствую, они мне не нужны». Это не совсем точно. Люди и Ставрогину, и Каразину нужны — не для того, чтобы испытать радость от единения с ними, а для экспериментов. В Ставрогине, сколько бы он ни экспериментировал, тоже «ничего не взвыло». Но если оба они были лишены чувства стыда, раскаяния, угрызания совести, то страх все-таки был им знаком и действовал на них озлобляюще. Это чувство было тем острее, что каждый из них привык чувствовать себя бесстрашным и любил опасность. Ставрогин сознается, что часто «сам искал» опасностей, любил стоять под наведенным дулом пистолета и т. п. Поведение его во время дуэли с Гагановым говорит само за себя. Каразин, точно вторя ему, заявляет: «Смел я был до нахальства и особенно любил себя в те минуты, когда жизнь моя висела на волоске».²²

Пишешь доброго — ищи, где он зол; пишешь бесстрашного — ищи, где ему страшно. Едва ли не первая заповедь реализма.

Эту задачу Достоевский и Горький решают по-разному.

Ставрогин испытал острый приступ страха вечером того самого дня, когда он растлил Матрешу. «Я никогда не чувствовал страху и, кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни после ничего не боялся <...> Но в этот раз я был действительно испуган и действительно чувствовал страх, не знаю почему, в первый раз в жизни, — ощущение очень мучительное» (11, 17). Растлитель боится не уголовного наказания: он боится огласки и всеобщего осмеяния. В тот момент он этого еще не осознает, но впоследствии — прозревает. И не случайно его в дальнейшем так мучительно преследует видение Матрешы, грозящей ему своим маленьким кулачком — момент наиболее «некрасивый» во всей этой истории. Тихон быстро уловил в своем госте эту черту, он даже предупреждает его, что тот не вынесет в случае опубликования исповеди со стороны людей «их смеху». Этим же пугает его в последнее утро своей жизни и Лиза Дроздова.

²² Горький М. Полн. собр. соч., т. 17, с. 374, 385—388, 399.

Страх Каразина — совсем не то. Пережит он был во сне, еще задолго до ренегатства. На первый взгляд, он навеян чисто внешними причинами («совпадением условий», как выражается сам Каразин). По сути своей он прямо-таки контрастен ставрогинскому сну о золотом веке: «... я хожу по краю плоского круга, покрытого сводом серенького неба <...> Как тусклое зеркало, небо отражает мое уродливо изогнутое тело, лицо у меня искаженное, руки дрожат, и мое отражение протягивает ко мне эти дрожащие руки <...> В непоколебимом молчании, в совершенной безжизненности мое движение по кругу становится всё быстрее <...> Круг, сжимаясь, становится всё меньше, купол неба всё ниже, я бегу, задыхаюсь, кричу <...> Страшнее этого сна я ничего не помню».²³

Известно, какое значение имели сны в романах Достоевского. Ставрогину снится сон о золотом веке — и вдруг картина блаженства омрачается малюсенькой точкой, приобретающей затем очертания того красного паучка, который полз по листку герани, когда вешалась Матреша, а затем возникала и сама Матреша, грозящая своим маленьким кулачком. Блаженство кончалось, сон обрывался. Это был, как и у Свидригайлова, сон-наказание. У Каразина — другое. Будучи ссыльным в Уржуме, он еще не имеет на совести никаких пятен, морального наказания не заслужил. Это похоже на то, как у Раскольникова, когда ему снится забитая насмерть лошадь, сон-пророчество, сон-предчувствие. Каразину снится воплощенная в картине куска космического пространства, сжимающегося до размеров тюремной камеры, *безысходность одиночества*, т. е. то, что неизбежно ожидает его, равнодушного к людям эгоцентрика, в будущем. «Уродливо изогнутое тело», «искаженное лицо» — эти чисто внешние атрибуты предваряют искаженную мораль циника-провокатора, уродливо изломанную судьбу. Через месяц-два после своего предательства Каразин чувствовал себя в каком-то неправдоподобном мире, и то, что «на земле существует жизнь, существует множество людей» — все это проходило как-то мимо: «случилось как-то так, что во множестве товарищей у меня не нашлось друзей». Не было их и у Ставрогина.

Как правило, подобные люди любят повелевать другими. Это вовсе не обязательно связано со стремлением к политической власти — чего нет, того нет: как ни искушал Петр Верховенский Ставрогина стать Иваном-царевичем, так ничего определенного от него и не услышал. Каразин совершенно равнодушно отнесся к предложению Симонова о переводе в столицу. Но им обоим непременно было нужно, чтобы на них смотрели снизу вверх. Ставрогин привык первенствовать среди своих собутыльников, привык, что на него с обожанием смотрят женщины — отсюда понятна та вспыхнувшая в нем дикая ненависть к Матреше, кото-

²³ Там же, с. 376.

рая его — его, Николая Ставрогина! — заставила пережить минуты смертельного страха.

Каразин терпеть не мог, когда кто-то оказывался сильнее или умнее его. Собственно, с этого и началась его революционная деятельность. О знакомстве с Леопольдом он говорит: «Обидно было: я, здоровый русский парень, а вот эдакий ничтожный чужой мальчишка оказывается умнее меня; учит, раздражает, словно соль втирает в кожу мне». А кончилось твердым убеждением, что «забота о людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими, чтоб с их помощью, их силой, утвердить свою идею, свою позицию, свое честолюбие». И — уже о себе: «Что бы там ни пели разные птицы, а власть над людьми — большое удовольствие. Заставить человека делать и думать то, что тебе нужно, это <...> ценно само по себе, как выражение твоей личной силы, твоей значительности».²⁴

И у Ставрогина, и у Каразина довольно сложные отношения с религией. По словам Кириллова, «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует» (10, 469). Другими словами, нет для него абсолюта — ни в вере, ни в неверии. Достоевский, поставленный в известность о том, что глава «У Тихона» не будет напечатана, пробовал ее переделать и писал по этому поводу Н. А. Любимову в марте 1872 г.: «Клянусь Вам, я не мог оставить сущности дела. Это целый социальный тип в моем убеждении, *наш* тип, русский <...> Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной совершенно иначе...» (II, IV, 297).

Ставрогину небезынтересна была вера Кириллова, но примкнуть к ней он не смог. Со всем пристрастием атеиста допрашивает он Шатова о его вере, а затем по совету того же Шатова отправляется к Тихону. Зачем? Размножить и опубликовать листки своей исповеди он мог бы и без него. И после ознакомления Тихона с его рукописью говорит: «Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче» (11, 26). Но «вера наших верующих» в лице Тихона его отвергла, «вера полная совершенно иначе» — не пришла.

Атеизм Каразина, на первый взгляд, — атеизм человека, овладевшего основами научной теории: «Веруют в бога по невежеству, из страха, по привычке, из упрямства, а некоторые даже потому, что в душе отчаянно пусто и они набивают пустоту ватой религии». Так говорит Каразин верующему фанатику. Но, вспоминая об этом, он тут же считает нужным оговориться: «Говорил я не столько ему, сколько сам себя экзаменуя, просматривая мое мнение о боге, религии и всей этой лирике нищих духом».²⁵ Когда человек сам себя экзаменует, это значит, что он не очень уверен и тверд в своих убеждениях. Его иронический отзыв о «товарище Басове, специалисте по атеизму», — конечно,

²⁴ Там же, с. 368, 371, 376—377.

²⁵ Там же, с. 375.

не случайность. Ни атеист, ни верующий, Каразин упорно ищет какое-то кредо и в конце концов повторяет давным-давно до него сказанное «человек человеку — волк». Бывший революционер и бывший провокатор, а ныне подследственный заключенный, он с упоением приближается к своему открытию: «...я призван открыть ложь, я первый, кто должен открыть людям, что все они обмануты, жизнь действительно голая, зверья борьба, и не зачем сдерживать, главное — нечем сдерживать эту борьбу». Кем обмануты люди — властями, духовенством? Ничего подобного: «...все эти „учителя жизни“, социалисты, гуманисты, моралисты — врут; никакой социальной совести нет, сознание связи между людьми — выдумка, и вообще ничего нет, кроме людей, каждый из них стремится жить за счет сил другого, и это дано навсегда».²⁶

Итак, религия самопоклонения...

Странно, что Каразин, прочитавший столько книг по философии и экономике, забыл, что социальный пессимизм — отнюдь не новость. Но, видимо, он не слишком глубоко впитал научный материализм, поскольку рассуждает в конечном счете совершенно субъективно: если во мне совесть молчит — значит и никакой социальной совести нет; если я подл — значит и вообще «у человека нет сил протестовать против подлости в самом себе».

Между созданием «Бесов» и написанием «Караморы» легло полвека. За это время Ставрогин был восторженно оценен А. Л. Вольнским. Он писал, что Ставрогин «...большое психологическое явление, в то время еще совсем не обозначившееся в русской жизни и едва обозначившееся в Европе, получившее впоследствии название декадентства».²⁷ Достоевский в письме к М. Н. Каткову от 8 (20) октября 1870 г. писал: «Николай Ставрогин — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это — лицо трагическое <...> По моему мнению, это и русское, и типическое лицо» (П., II, 288—289).

Каразин — даже и не злодей, хотя он прямой духовный и моральный потомок Ставрогина. Он скорее комическое лицо, чем трагическое. Не случайно прозвище Ставрогина Принц Гарри восходит к герою шекспировской хроники, а прозвище Карамора (крупный комар, похожий на паука) говорит само за себя. Ставрогин беспощаден к себе и во всем идет до конца — он в некотором смысле напоминает медика, ставящего опыты на самом себе. Каразин действует «в пределах» — Тасю Миронову он все-таки не решился выдать. Ставрогину свойственно «звериное сладострастие», Каразин в сексе тривиален, о чем свидетельствует его «деловая любовь» с Александрой Варвариной. Ставрогин собирается своей исповедью повергнуть человечество в изумление и не делает этого, не желая быть смешным, Каразин пробалтывается о своих психологических экспериментах Симонову за бу-

²⁶ Там же, с. 306.

²⁷ См.: Вольнский А. Л. Достоевский. СПб., 1906, с. 393.

тылкой вина, и, видимо, сам не подозревает, насколько он комичен, потешая своего шефа анекдотами о революционерах, чтобы услышать в ответ:

«— А Попенко рассказывал эти шутки забавнее, чем вы».²⁸

Наконец, Ставрогин, всю жизнь распоряжавшийся своими поступками сам, самолично распорядился и своей смертью. Каразин задается вопросом: «Пожалуй, они оставят мне жизнь. Интересно: что я буду делать с нею?». Расставаться с ней добровольно он не намерен.

За семнадцать лет до «Караморы» Горький написал статью «Разрушение личности». Работая над ней, он намеревался ввести подзаголовок — «От Прометея до хулигана». Сопоставляя героя «Караморы» с героем «Бесов», мы видим измельчание декадентской личности от Ставрогина до Каразина.

Каразин — выродившийся и измельчавший Ставрогин.

Ставрогин же (о чем не раз писалось) не убийца-исполнитель (как Раскольников или Рогожин), а убийца-вдохновитель. Убийца чужими руками — Верховенского и Федьки-каторжного. В «Братьях Карамазовых» мы видим то же самое: здесь есть и исполнитель убийства Федора Павловича (Смердяков) и вдохновитель (Иван). Ставрогин в отличие от Петра Верховенского автору не мерзок.

Обратимся к Горькому. Первый же его рассказ «Макар Чудра» (1892) венчается убийством Радды. Мотивы его у Лойко Зобара во многом напоминают рогожинские. И это далеко не единственное у молодого Горького убийство «по Достоевскому». Вспомним финал рассказа «Хан и его сын», некоторые эпизоды из «Старухи Изергиль» (где она рассказывает о себе). И наряду с этим — Ларра, прямой наследник Раскольникова и Ставрогина.

Одновременно впитывая опыт Достоевского и отталкиваясь от его выводов и морали, Горький в 1900—1901 г. пишет роман «Трое», в котором совершенно явственно слышна перекличка с «Преступлением и наказанием» и «Бесами».²⁹ Илья Лунев, как и Раскольников, «себя убил», его убивают тоска, раздражение, отвращение ко всем окружающим, чисто раскольниковское (выше уже приводилось высказывание Ю. Юзовского по этому поводу). Автор сочувствует Илье, как сочувствует он позже и Ваське Пеплу («На дне»), и Акимову («Враги»), и некоторым убийцам в «Сказках об Италии». Но — время шло, и в 1915—1925 г. Горький в результате своеобразного восприятия исторических событий стал испытывать к людям, убивающим себе подобных,

²⁸ Горький М. Полн. собр. соч., т. 17, с. 395.

²⁹ Характерно, что в этом романе главный герой, еще будучи совсем юным, слышит произнесенные кем-то из посетителей трактира слова: «Понеже тепл еси, а не студен еси, ниже горящ — имам ти изблевати из уст моих» — слова пророческие: «тепленькая» филистерская жизнь владельца галантерейной лавочки — не для Ильи Лунева. Трагический финал его жизни заставляет вспомнить не столько о Раскольникове, сколько о Ставрогине.

независимо от мотивов и обстоятельств отношение резко отрицательное. В рассказе «Герой», написанном во время первой мировой войны (первая публикация в журнале «Беднота», 1923) русский снайпер, уничтоживший десятки неприятельских солдат, изображен крайне самодовольным, тупым и бесчеловечным. В рассказе «Испытатели» (1923) сказано: «Обыкновенно убийца — безнадежно тупое существо, получеловек, неспособный отдать себе отчет в преступлении, или — хитренький пакостник, визгливая лисица, попавшая в капкан, или же — задержанный неудачами, отчаявшийся, озлобленный человечиска».³⁰ В этом же рассказе описан некто Меркулов — ломовой извозчик, совершивший два убийства с экспериментальной (подобно Ставрогину и Каразину) целью, как он сам выражается — «из любопытства». В итоге Меркулов, как и Ставрогин, удавился.

Если в рассказе «Палач» (напечатан одновременно с «Испытателями») Горький с сочувствием говорил о террористе Саше Никифорове, убившем начальника Нижегородского охранного отделения, то в рассказе «Убийцы», опубликованном двумя годами позже, наряду с естественным протестом против того ажиотажа, который нередко создает пресса вокруг имен убийц, заметно и другое — тенденция к стиранию граней между революционерами-террористами и убийцами-уголовниками. Вот, вспоминает автор, увидел он одного террориста. Кто-то прошептал:

«— Это он убил N-ского губернатора.

„Он“ <...> держит руки в карманах и жует мундштук погашшей папиросы. От него крепко и душно пахнет идиотом».³¹

Перед этим было несколько беспощадно злых зарисовок убийц-уголовников, после этого — еще об одном террористе, убившем провокатора (не прообраз ли Каразина, убившего Попова?), тоже с величайшей брезгливостью.

Стремясь отделить себя от паникующих обывателей, Горький оговаривается: «Разумеется, я — понимаю: политическая борьба, „тираномахия“ и так далее. Да, да. А все-таки: когда же люди перестанут и перестанут ли убивать друг друга, любоваться убийцами? Политические убийства становятся столь же часты, как и уголовные».³²

Надо полагать, что отношение к Достоевскому в середине 20-х гг. было у Горького несколько иным, чем ранее. В очерке «В. И. Ленин» (1924) читаем: «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренне любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение».³³

³⁰ Горький М. Полн. собр. соч., т. 17, с. 138—139.

³¹ Там же, 1973, т. 18, с. 26—27.

³² Там же, с. 26.

³³ Там же, 1974, т. 20, с. 26.

Раздвоение души, любовь сквозь ненависть — это темы всего творчества Достоевского, темы — испепеляющие, и Горький устами (вернее — пером) Караморы говорит: «Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель, наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, метельной, внеразумной игрою своего воображения, — игрою многих в себе одном.

Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, стращает людей темнотою души человека затем, чтобы люди признали необходимость бога, чтобы покорно подчинились его непостижимым заветам, неведомой воле.

„Смирись, гордый человек!“

Если это смирение и нужно было Достоевскому, то — между прочим, а не прежде всего. Прежде же всего он был сам для себя <...> Умел жечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь, до последней капли». ³⁴

Наличие сближающих Ставрогина и Каразина черт не означает близости авторских позиций по отношению к героям.

Достоевский видит в Ставровине несмотря на всю глубину его нравственного падения лицо крупное, трагическое. Тихон так определил суть этой трагедии: «... великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость» (11, 25). Но это лишь одна сторона, ибо в «великой праздной силе» есть и великое бесстрашие, и великая непримиримость к филистерству. Горький же не дает оснований говорить о крупных масштабах личности Каразина. Здесь отношение иное: видя в нем личность по-своему незаурядную, человека ищущего, «взыскующего града», ³⁵ как любил Горький выражаться, он смотрит на него с известной долей сожаления, не более. Оставляя ему крохи человечности (любовь к Тасе Мироновой, спасение некоторых своих бывших сотоварищей), автор «Караморы» лишает его права на трагедию, выводя на суд читателей обнаженным.

И все-таки, сопоставляя разделенные полувеком исповеди Каразина и Ставрогина, мы вправе сделать вывод, что от путей, проложенных Достоевским, не остался в стороне и рассказ «Карамора». Его уже упоминали в связи с Достоевским Б. А. Бялик, Г. М. Атанов и М. Я. Ермакова. ³⁶ Хотя сам Горький в письмах к В. Я. Зазубрину, А. К. Воронскому (Анисимову) отрицал влияние Достоевского на «Карамору».

Разумеется, работая над этим рассказом, Горький отнюдь не ставил себе целью развить или повторить какие-либо мысли Достоевского. Но на протяжении всей своей писательской деятельности борясь с «достоевщиной», Горький постоянно чувствовал

³⁴ Там же, т. 17, с. 386.

³⁵ Отсюда — упреки А. К. Воронского в «двойственном» отношении автора к провокатору.

³⁶ Ср.: Творчество Достоевского. М., 1959, с. 87; Атанов Г. М. Роман-эпопея «Жизнь Климса Самгина» и его истоки в творчестве М. Горького. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1971, с. 14—15.

незримое присутствие в жизни Достоевского, великого национального писателя. Под свежим впечатлением главы «У Тихона», то в споре с автором «Бесов», то в единомыслии с ним, основоположник социалистического реализма написал рассказ, сильнейший по своему проникновению в сознание «декадента» — рассказ, который, не будь в постоянном мироощущении автора героев Достоевского вообще и Ставрогина в частности, — был бы, думается, качественно иным или вообще не был бы написан.

Вот почему сопоставление текста «Караморы» с «Бесами» и особенно главой «У Тихона» проливает, как можно полагать, дополнительный свет на изучение вопроса о воздействии художественного мира Достоевского на Горького-художника.

ДОСТОЕВСКИЙ, СИМВОЛИСТЫ И АЛЕКСАНДР БЛОК

В художественном сознании Александра Блока образ Достоевского, человека и писателя, и связанные с ним капитальные идеи всегда занимали особое, пусть и не главное место. Как бы ни менялось отношение поэта к автору его любимого романа «Братья Карамазовы», в этом отношении всегда ощутима определенная традиция восприятия Достоевского, сложившаяся в конце XIX—начале XX в. в кругу русских символистов.

«Книга великого гнева» и «Достоевский» А. Л. Волынского, «Лев Толстой и Достоевский» Д. С. Мережковского, «Легенда о великом инквизиторе» В. В. Розанова, «Философия трагедии» Льва Шестова, выдержавшие в начале XX в. несколько изданий и имевшие тогда немалый читательский успех, создали новый облик великого русского писателя и надолго определили отношение многих читателей к Достоевскому. Один из этих читателей вспоминал потом: «Понадобилась работа целого поколения, труды Д. С. Мережковского, А. Волынского, чтобы научить нас видеть в Достоевском иное, чем бытоописателя, а в каком-нибудь Раскольникове не просто представителя психологии „голодающего студенчества“, что видел в нем Писарев».¹ Уже из этих слов видно, что в своей оценке Достоевского символисты были не менее тенденциозны, нежели Писарев, ибо трактовали великого писателя как мистика и последовательного антидемократа, певца темных глубин человеческой души, «гения подполья».

Молодой Блок, пришедший в литературу в период окончательного оформления этого воззрения на Достоевского и внимательно читавший напумевшие тогда книги Мережковского, Шестова, Розанова и Волынского, многое здесь почерпнул, и поэтому его представление о Достоевском будет не до конца понятно, если мы извлечем мысли поэта из идейного и художественного контекста эпохи. К тому же надо учитывать, что у символистов и Блока были и общие источники, в значительной мере определявшие их взгляд на Достоевского — «Три речи в память Достоевского» Владимира Соловьева и знаменитая книга Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», столь повлиявшая на эстетику и творчество Вячеслава Иванова, Александра Блока и Андрея Белого.

¹ Карцевский С. Об эстетике Достоевского. — Современные записки, 1921, кн. 3, с. 118.

Со статьями Владимира Соловьева теснейшим образом связано обращение символистов к Достоевскому как своему предтече, духовному отцу, обозначившееся уже в лекции Мережковского «О причинах упадка и о новых направлениях современной русской литературы», прочитанной в 1892 г. и затем вышедшей отдельной книжкой. В начале 900-х гг. идеи Достоевского воспринимаются символистами как источник «нового религиозного сознания», «нового христианства», а сам писатель — как первый символист, русский Ницше. Сильнейшее воздействие оказал автор «Братьев Карамазовых» и на творчество символистов — прозу Федора Сологуба, Андрея Белого, Алексея Ремизова, лирику Блока, Белого, Вяч. Иванова.

Но прежде всего Достоевский был тогда для символистов религиозным философом, учителем жизни, противостоявшим другому, гораздо менее нравившемуся им «учителю» — Льву Толстому. В этом же направлении движется и Блок: достаточно вспомнить, что в его библиотеке сохранился роман «Братья Карамазовы», где в поучениях старца Зосимы отчеркнуто знаменитое место о «мирах иных», выдержанное вполне в духе соловьевского неоплатонизма и неоднократно цитировавшееся в книгах Мережковского, Шестова и Розанова.² Блок, как и другие символисты, ищет и находит у Достоевского мысли и образы, совпадающие с его идейными и художественными исканиями.³

Символисты считали, что именно они призваны завершить дело Достоевского — пророка и учителя жизни, решить поставленные им «вечные» проблемы, ответить на заданные им вопросы. Они искали и, как им казалось, находили у писателя мысли, родственные кругу идей русского декаданса. Д. В. Философов писал: «В том-то и дело, что от проблем, поставленных Достоевским, никуда не уйти, что прямой долг всякого сознательного русского — в этих проблемах разобрататься, потому что Достоевский как бы микрокосм русской культуры».⁴ Розанов, полемически противопоставляя двух учителей жизни, говорил: «Достоевский дорог человеку. Вот „дорогого“ — то ничего нет в Толстом. А Достоевский *живет* в нас. Его музыка никогда не умрет».⁵ Вяч. Иванов также призывал символистов слушать музыку Достоевского и Вл. Соловьева: «Они дали как бы музыкальную подоснову нашей умственной борьбе за религиозное мирозерцание».⁶ Эта примечательная идея — слушать именно музыку

² См.: Долгополов Л. К. Александр Блок: Личность и творчество. Л., 1980, с. 40.

³ См.: Соловьев Б. И. Блок и Достоевский. — В кн.: Достоевский и русские писатели. М., 1971; Минц З. Г. Блок и Достоевский. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971.

⁴ Философов Д. В. Старое и новое. М., 1912, с. 165.

⁵ Розанов В. В. Опавшие листья. Пг., 1915, короб 2, с. 219.

⁶ Иванов Вяч. О значении Вл. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания. — В кн.: Сборник первый. О Владимире Соловьеве. М., 1911, с. 34.

писателя, порожденная книгой Ницше, близка и Блоку, хотя впоследствии выяснилось, что он слушал ее иначе, нежели другие символисты. Но характерно, что начало века для Блока — это пора внимательного чтения Достоевского. Образ писателя возникает в его творчестве позднее.

Окончательное оформление воззрения Блока на Достоевского знаменательным образом совпадает с изменением отношения символистов к этому писателю. Их прежний восторг и преклонение перед Достоевским постепенно сменяются гораздо более холодным и двойственным чувством, на что, безусловно, повлияли приближение революции 1905—1907 гг. и сама революция.

В этот период символисты охотно использовали консервативные идеи Достоевского для борьбы с демократической интеллигенцией, и наиболее полно такой подход выразился в печально знаменитом сборнике «Вехи». Одновременно в среде символистов рождается сначала неосознанная, а затем и вполне сознательная неприязнь к великому писателю-классику. Эта глубокая неприязнь связана была с ощущением общей неудачи литературы русского декаданса, с крушением идеи «нового религиозного сознания», «соборного» искусства.

Декаданс, с которым безуспешно пытались бороться Вячеслав Иванов и другие идеологи «теургического» символизма, искажил и в конце концов отверг их положительный пафос и идеалы, и в том числе их взгляд на Достоевского как предтечу символизма и «учителя жизни». По меткому замечанию Б. В. Михайловского, эта борьба с декадансом велась на территории декаданса же,⁷ и результаты не замедлили сказаться, в том числе и на отношении символистов к Достоевскому.

От лестного сравнения себя с великим писателем они переходят к решительному противопоставлению. Розанов в 1906 г. писал: «Все главные черты Достоевского встречаются и у „декадентов“: только у него все это большое, вещественное, поражающее, наконец очаровывающее и влекущее, а у них все в „микроскоме“... У него все гигантски, все в уровень со смыслом и задачами века; а у „последующих“ тоже декадентов все рассыпалось дробью, стало мелочно, часто неумно...».⁸ Не оправдалась полностью и надежда символистов превратить Достоевского в своего предтечу и союзника. Быстро выяснилось, что и здесь сфера влияния их идей ограничена. Отношение большинства читателей к писателю, по-прежнему определявшееся в основном демократической критикой, мало изменилось, и Зинаида Гиппиус имела все основания сказать: «Достоевского упоминают реже: не очень верят, что он равен Горькому».⁹

⁷ См.: Михайловский Б. В. Избранные статьи о литературе и искусстве. М., 1969, с. 391.

⁸ Розанов В. В. Памяти Ф. М. Достоевского. — Новое время, 1906, 27 янв.

⁹ Крайний Антон [З. Н. Гиппиус]. Литературный дневник. СПб., 1908, с. 176.

Именно это ощущение неудачи заставило многих символистов обрушиться на Достоевского с весьма характерными упреками.

Андрей Белый в том же 1906 г. говорил: «...кажется нам подчас, будто Достоевский вспахал ненужные пространства нашей души: его великий труд иногда — труд безрезультатный... Мы должны бороться с Достоевским...».¹⁰ А в статье Белого «Ибсен и Достоевский» (1905) с еще большей откровенностью сказано: «Достоевский привел в болото, надо искать других путей».¹¹ Объясняя это резкое охлаждение к писателю, Философов с горечью признавался: «Оказывается, что мы до Достоевского еще не доросли. Он как-то *моложе* нас».¹² Но это искреннее признание потонуло в хоре пристрастных обвинений, трактовавших Достоевского как лжепророка, заведшего «передовую» интеллигенцию в темный и страшный лес дикого жизненного хаоса, безумствующей «русской стихии». Белый в книге «Трагедия творчества» уже показал Достоевского как вместилище этого вечно бунтующего, неуправляемого хаоса, как образец безысходной трагедии творчества, пусть гениального, но предельно далекого от стройного, светлого космоса классического искусства. Стоит здесь вспомнить и статью В. Розанова «На лекции о Достоевском» (1909), где сказано: «Гений Достоевского покончил с *прямолинейностью* мысли и сердца; русское познание он невероятно углубил, но и расшатал».¹³ Для символистов писатель стал символом кризиса культуры.

Вот тот, пусть и неполный, историко-литературный контекст, в котором мы должны читать знаменитую статью Блока «Безвременье», написанную в том же 1906 г., что и инвективы Андрея Белого. Достаточно напомнить, что в этой статье Достоевский изображен как слепой могучий демон, приведший русскую литературу к страданиям, тяжелому надрыву, творческому воплощению небытия (тема Петербурга, звучащая и в поэме Блока «Возмездие») и хаоса, «миражности» жизни. Более того, именно Достоевский, по мнению Блока, показал символистам то, что они увидели слишком поздно — «страшное лицо, воплощение хаоса и небытия: лицо Парфена Рогожина».¹⁴ Блоковская дневниковая запись 1909 г., трактующая Достоевского как трагического, дисгармоничного художника, громоздящего хаос на хаос,¹⁵ лишь разъясняет мысли «Безвременья». Именно через Достоевского Блок увидел и показал свой образ трагедии творчества, проистекающий из общей трагедии культуры. Здесь начинается спор Блока со старым миром, рождается его пророческая апокалиптика.

¹⁰ *Белый Андрей*. Достоевский. — Золотое руно, 1906, № 2, с. 89, 90.

¹¹ *Белый Андрей*. Арабески. М., 1911, с. 92.

¹² *Философов Д. В.* Слова и жизнь. СПб., 1909, с. 180.

¹³ *Розанов В. В.* На лекции о Достоевском. — Новое время, 1909,

4 июля.

¹⁴ *Блок А. А.* Собр. соч. М.; Л., 1962, т. 5, с. 79.

¹⁵ См.: *Блок А. А.* Записные книжки. М., 1965, с. 160.

Ясно, что Блок не одинок в этом своем настроении. Более того, он выглядит здесь как наследник и продолжатель, пусть и мятежный, некоторых идей Достоевского. Приведу свидетельство младшего современника Блока, философа Алексея Федоровича Лосева: «Уже у Достоевского старый мир трещит по швам. Оказывается, Мережковский тоже недаром вопил о последних временах. Дионисизм Вячеслава Иванова тоже далеко вышел за пределы поэзии, литературы и философии; и в этих оргийных манифестах экстатического самоуничтожения личности нетрудно было тоже заметить черты своеобразной и тоже космической апокалиптики».¹⁶

К именам, названным Лосевым, необходимо прибавить имена Белого и Блока, ибо и они продолжают эту традицию критики старого мира, предвещая его неизбежную и близкую гибель. «Одним из господствующих мотивов в круге русского символического искусства за десять-пятнадцать лет до революции было „дерзновение“, во всей гамме этого понятия, от чисто и узко индивидуалистического самоутверждения и демонизма, через общественно-анархическое прославление мятежа, до мировой скорби, неприятия мира, „непримиримого Нет“ и скрябинского вселенского пожара», — так характеризовал после революции это настроение Вяч. Иванов.¹⁷ Это трагическое «дерзновение» есть и у Блока, особенно позднего. И здесь автор «Скифов» близок не только символистам, но и Достоевскому, в романах которого имелись все формы «дерзновения», столь красноречиво описанные Вяч. Ивановым.

Но на этом сходство Блока с символистами кончается. Далее начинаются примечательные расхождения между ними, закончившиеся, как известно, резким разрывом после Великой Октябрьской революции. Этот раскол проходит и через воззрения на великого русского писателя. Ненависть символистов к Достоевскому, лишь увеличившаяся в эти годы, порождена их безысходным ужасом перед гибелью старой России и старой культуры. Революция казалась им апокалиптической, поистине космической катастрофой.

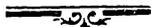
Блок же куда лучше понимал и помнил старую, Достоевским повторенную истину: зерно не воскреснет, если не умрет. Поэту ясно, что ничто подлинное в культуре не погибает, не исчезает бесследно. Традиция, по Блоку, всегда возрождается. Уже в «Возмездии» ощутимо это чувство «мирового круговорота». Поэтому он приветствует великий переворот в судьбах России и, более того, как художник, стремится запечатлеть диалектику революции в резко контрастных, экспрессионистских картинах «Скифов» и «Двенадцати». И именно здесь воскресают многие символы и идеи

¹⁶ Лосев А. Ф. Гибель буржуазной культуры и ее философии. — В кн.: Хьюбер А. Мыслители нашего времени. М., 1962, с. 316.

¹⁷ Иванов Вяч. Конст. Эрберг. «Плен». — Жизнь искусства, 1920, 13 авг., № 529.

Достоевского: Русь — Сфинкс, Христос — символ светлой правды и народного единения. Возникает в этих произведениях и лицо Парфена Рогожина, упомянутое в «Безвременье». Но в «Скифах» говорится об этом лице с совсем другой интонацией, нежели в ранней статье («Мы повернемся к вам» и т. д.). В этот период точки зрения Блока и символистов на наследие Достоевского становятся полярными.

Таков конечный результат сложной динамики этих воззрений, которые имели общие источники, часто совпадали, но в конце концов вступили в непримиримое противоречие и борьбу в силу противоположных оценок знаменательной исторической ситуации. Поэтому представляется, что взгляды Блока и символистов на Достоевского должны рассматриваться в их конкретных взаимосвязях и отталкиваниях. Это поможет правильнее понять внутреннюю логику мировоззрения, эстетики и поэтики Александра Блока, мировое значение его творчества.



В. С. ВАЙНЕРМАН

ОМСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО

Поиском материалов об окружении Достоевского в Омске занимались ранее краевед А. Ф. Палашенков, журналист А. Лейффер.¹ Предлагаемая статья основана на новых материалах, в последние годы найденных автором.

Чертеж крепостного острога

Как выглядел омский каторжный острог, в котором Достоевский провел четыре года? До сих пор существовало лишь одно его изображение, не дающее представления об условиях каторги.

В журнале «Огонек», посвященном 125-й годовщине со дня рождения Ф. М. Достоевского (1946), был помещен ранее неизвестный план омского острога, в котором с 1850 по 1854 г. отбывал каторгу великий русский писатель.²

По просьбе художника М. С. Знаменского, жившего в Тобольске, его сестра после долгих поисков нашла в Омске человека, сумевшего выполнить этот рисунок. Вот что она пишет об этом: «Добрый брат Миша! Посылаю тебе вид с острога. Извини, какой есть, кого только я не просила нарисовать, все отказывали, но наконец нашелся какой-то, и сама не знаю кто, да и снято-то плохо, ну да ты переделаешь по-своему...»³ Очевидно, автор этого изображения острога был таким, что сестра Знаменского не сочла возможным уточнить его имя. Не из арестантов ли острога он

¹ См.: Палашенков А. Ф. По местам Ф. М. Достоевского в Омске. Омск, 1965; Евсеев Е., Лейффер А. Сибирские встречи. — Сибирские огни, 1971, № 11, с. 162—177; Лейффер А. 1) Омские годы Ф. Достоевского. — В кн.: Судьбы, связанные с Омском. Новосибирск, 1976, с. 35—64; 2) «Всегда со мной». — Сибирские огни, 1975, № 7, с. 160—171; 3) Годы, прошедшие не бесплодно. — В кн.: Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома; Письма из Сибири; Воспоминания современников; «Сибирская тетрадь»; Документы. Иркутск, 1981, с. 429—459; 4) Истинное богатство. — Сибирские огни, 1982, № 1, с. 155—167.

² См.: Огонек, 1946, № 46—47, с. 27—28.

³ Там же, с. 28.

был? Среди острожников, находившихся в каторге вместе с Достоевским, есть человек, которого можно «заподозрить» в подобной работе. Это арестант из дворян Аристов, помещенный в острог за ложные обвинения, возводимые им на неповинных людей. Стараюсь приобрести расположение плац-майора, он рекомендовал себя художником-портретистом, указывают очевидцы тех событий.⁴ Аристов «упражнялся у нас отчасти и в фальшивых паспортах», писал в «Записках из Мертвого дома» Достоевский, характеризуя другую сторону «деятельности» арестанта по кличке «Крапо». Впрочем, высот профессионализма Аристов так и не достиг. «Почти год позировал „Васька“ (так в каторге звали плац-майора Василия Кривцова. — В. В.) перед „Крапо“, из-под кисти которого вместо фигуры и лица Кривцова выходило какое-то бесформенное чудовище», — приводит воспоминания современников журнал «Исторический вестник».⁵

Отсутствие профессионализма заметно при первом же взгляде на изображающий острог рисунок — нарушены пропорции в изображении казарм с разным количеством окон и кухни, палей, которыми была обнесена территория острога. Здания как будто положены набор — создается впечатление, что рисовал ребенок. Но дети не могли входить на территорию острога. Поэтому, учитывая, что над рисунком работал взрослый, нельзя не отметить подчеркнутую аккуратность и внешнюю чистоту острожных казарм. Деревья около острожных ворот могут даже вызвать удивление. Слово нарочно приукрашивает художник тяготы острожного быта. Смотришь на приятные для глаза домики, а память невольно приводит строки, написанные Достоевским по выходе из каторги: «Вообрази себе старое, ветхое, деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить. Летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать. Маленькие окна заиндевели, так что в целый день почти нельзя читать. На стеклах на вершок льду. С потолков капель — всё сквозное. Нас как сельдей в бочонке» (П., I, 136). На рисунке же — надежные крыши с печными трубами, высокие крылечки, широкие дверные проемы. Долгие годы этот рисунок был единственным известным изображением омского острога.

В 1981 г. автору настоящих строк удалось обнаружить «Чертеж крепостного острога, выполненный «по омской крепости марта 20 дня 1847 года».⁶ Выполнил чертеж «кондуктор 2-го класса Ершов», о чем в правом нижнем углу чертежа есть соответствующая надпись.

Чертеж представляет собой неизвестное ранее изображение омского острога. Сопоставление с рисунком самодеятельного автора обнаруживает, что последний точно указал количество и

⁴ См.: Ист. вестн., 1908, № 4, с. 197.

⁵ Там же.

⁶ ЦГВИА, ф. 349, оп. 27, д. 1381.

расположение окон в казармах — все окна расположены на их внутренней стороне и насчитываются на обоих планах в количестве соответственно девяти в казарме под № 119 (слева) и двенадцати в казарме под № 120 (справа). Соответствуют на обоих планах расположение входных дверей в помещении и местоположение острожных казарм, кухни и амбара на территории каторги. Чертеж более точен в обрисовке палей, отгораживающих острог от внешнего мира, — на нем более длинная часть трапецевидной линии, завершающей ограду в верхней части, находится не с правой стороны, а с левой. На чертеже, выполненном в отличие от рисунка в масштабе, четко видно пространство между казармами острога и палями. «Кругом, между строениями и забором, — писал Достоевский в «Записках из Мертвого дома», — остается еще довольно большое пространство. Здесь, по задачам строений, иные из заключенных, понелюдимее и по-мрачнее характером, любят ходить в нерабочее время, закрытые от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь с ними во время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые, клейменные лица и угадывать, о чем они думают» (4, 9). Омский каторжный острог представлял из себя «большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтораста ширины, весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль)» (4, 9).

В какой из казарм жил в эти годы Достоевский? Которая из них была та «длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым и удушающим запахом» (4, 10)? В какой из них находились нары в «три доски», составившие для Достоевского в четыре года «всё мое место»?

Чертеж позволяет заглянуть внутрь помещений каторги. Сопоставляя его с «Записками из Мертвого дома», предположительно можно определить одну из казарм, которая и была «местом жительства» великого писателя.

В главе «Представление» Горянчиков, от лица которого ведется повествование, рассказывает: «Военная казарма наша, в которой устроился театр, была шагов в пятнадцать длиною. С двора вступали на крыльцо, с крыльца в сени, а из сеней в казарму. Эта длинная казарма <...> была особого устройства: нары тянулись в ней по стене, так что середина комнаты оставалась свободной» (4, 120). Несколько выше он уточняет: «Эта казарма (военная. — В. В.) была устроена не так, как другие: в ней нары тянулись около стен, а не посередине комнаты, как во всех прочих казармах, так что это была единственная в остроге комната, не загроможденная посередине. Вероятно, она и устроена была таким образом, чтоб в ней, в необходимых случаях, можно было собирать арестантов» (4, 108—109). На чертеже острога только в здании под № 119 в его центральной комнате нары тянутся около стен. Подобное расположение имеет только эта казарма. Судя по характеру ее описания Горянчиковым, рассказывающим о ней каждый раз как о новом месте, делаем вывод, что он жил в дру-

гом помещении. Вот как, например, Горянчиков рассказывает о своем посещении представления в остроге: «Часу в седьмом пришел за мной Петров, и мы вместе отправились на представление. Из нашей казармы отправились почти все...» (4, 120; курсив наш. — В. В.). Думается, что если бы рассказчик жил в одной из комнат, соседствующих с местом представления, то о своем посещении «зрительного зала» он сказал бы другими словами. Значит, «место жительства» автора «Записок из Мертвого дома» в его омские годы — казарма под № 120.

Каждое помещение острога делилось на несколько «казарм». В первой главе «Записок» есть такая фраза: «Молча обошел он все наши шесть казарм» (4, 10). Чертеж острога позволяет установить, что два жилых здания делились на семь комнат, называемых Достоевским «казармами». Вероятно, писатель сознательно уменьшил в «Записках» число острожных казарм, увеличив при этом число арестантов (в омском остроге, согласно архивным документам, было от 150 до 170 человек, но не 250, как говорится в «Записках»).⁷ Рассказывая о Мертвом доме, писатель сознательно стремился усилить впечатление ада, созданного царизмом для людей, поставленных обществом вне закона.

В здании под № 119 три казармы. Достоевский жил, как мы предполагаем, в здании под № 120. Оно было разделено, как видно на чертеже, капитальной стеной на две равные половины, каждая из которых, в свою очередь, делилась на две казармы. По тексту «Записок» нельзя определить точно, в какой из них жил Достоевский, но можно предположить, что писатель жил в части здания под № 120, расположенной около острожных ворот. В главе «Праздник Рождества Христова» читаем: «Сквозь темноту из маленьких, залепленных снегом и льдом окошек нашей казармы видно было, что в обеих кухнях, во всех шести печах, пылает яркий огонь, разложенный еще до свету» (4, 107). Рассмотреть огонь, пылающий во всех печах, сквозь залепленные снегом и льдом маленькие окошки (не окна, а именно окошки) можно было под наиболее прямым углом, т. е. из части казармы под № 120, находящейся ближе к выходу из острога. Значит, именно здесь жил Достоевский в свои острожные годы? Подтверждает это предположение еще одна фраза из «Записок»: «Петров жил в особом отделении и в самой отдаленной от меня казарме» (4, 82). Если бы автор этих строк жил в одной из центральных казарм, то определить «самую отдаленную» было бы для него затруднительно. Значит, он жил в одной из крайних казарм, а именно, как мы установили, в находящейся ближе к острожным воротам.

⁷ См.: Ведомости о прибыти, убыти и наличном числе арестантов в омской крепостной работе состоявших на февраля 1 дня 1850 года и августа 1 дня 1853 года (ЦГВИА, ф. 312, оп. 2, д. 1280, л. 2—2 об.; д. 1814, л. 16).

«Постоянное душевное беспокойство, нервическое раздражение, спертый воздух казармы могли бы разрушить меня совершенно» (4, 80). Эти слова, вложенные Достоевским в уста Горяничкова, автобиографичны. Обстоятельства, упомянутые выше, наложили отпечаток на здоровье Достоевского. В каторге у него развилась падухая (эпилепсия) — болезнь, мучившая писателя всю жизнь. В литературе обстоятельства, связанные с первым припадком эпилепсии у Достоевского, трактуются по-разному. Первые дни, проведенные в остроге, — условия жизни, внешний вид арестантов, их отношение к нему, и, в особенности, отношение плац-майора Кривцова — потрясли Достоевского. Еще на пути в Омск ему о Кривцове рассказывали факты, говорящие о жестокости этого человека. После выхода из каторги Достоевский писал брату: «Началось с того, что он нас обоих, меня и Дурова, обругал дураками за наше дело, и обещался при первом проступке наказывать телесно» (П., I, с. 135).

Врач А. Е. Ризенкампф — юношеский знакомый Достоевского, проезжавший через Омск в 1851 г., а затем служивший здесь с 1858 г., в письме к А. М. Достоевскому так описывает отношение к писателю Кривцова: «Последний дошел до того, что воспользовался первым случаем поправления его здоровья и выпи-скою из госпиталя, чтобы назначить его к исполнению самых уни-зительных работ вместе с другими арестантами, а вследствие некоторых возражений даже подверг его телесному наказанию». Далее Ризенкампф утверждает, что «вследствие экзекуции» Достоевский «в первый раз поражен был припадком эпилепсии».⁸ Достоверность воспоминаний Ризенкампфа представляется нам сомнительной. П. К. Мартынов опровергает утверждение о телесном наказании Достоевского, приводя свидетельства очевидцев, а в первой «Биографии» писателя, составленной О. Миллером со слов А. Г. Достоевской, несомненно гораздо более осведомленной в действительно происходивших событиях, высказано предположение, стоящее, на мой взгляд, значительно ближе к истине: «Для такого человека, как он (Ф. М. Достоевский. — В. В.), чтобы занемочь подобной болезнью, совершенно достаточно было всего заурядного, испытанного им <...> не было никакой надобности самому быть наказанным, а совершенно достаточно было видеть чужие, вздутые и изборожденные кровяными подтеками спины».⁹

В годы пребывания на каторге Достоевский часто попадал в Омский военный госпиталь, где в избытке насмотрелся на истерзанные спины наказанных. Госпиталь «стоял особняком, в полуверсте от крепости. Это было длинное одноэтажное здание,

⁸ Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 548—549.

⁹ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 139—140.

окрашенное желтой краской... На огромном дворе госпиталя помещались службы, дома для медицинского начальства и прочие пригодные постройки. В главном же корпусе располагались одни только палаты. Палат было много, но арестантских всего только две, всегда очень наполненных, по особенно летом, так что приходилось часто сдвигать кровати» (4, 130). А. И. Сулоцкий писал М. А. Фонвизину 11 февраля 1850 г.: «... Достоевский всё в лазарете; главный лекарь Троицкий, по просьбе Ивана Викентьевича (Ждан-Пушкина. — В. В.), толковал с ним, предлагал ему лучшую пищу, иногда и вино; но он отказывается от всего этого, а просит только о том, чтобы принимать почаще в лазарет и помещать в сухой комнате».¹⁰ Просьба эта была исполнена. Уже 15 февраля Сулоцкий сообщал Фонвизиним: «Он (С. Ф. Дуров. — В. В.) и г. Достоевский очень благодарны, замечая, что главный лекарь принимает в них участие. Мы чрез Троицкого, наконец, добились позволения пересылать им по крайней мере книги св. Писания и духовные журналы».¹¹ О старшем докторе военного госпиталя мы узнаем и из «Записок из Мертвого дома». Причем благодарное отношение к нему высказано здесь прямее, чем, предположим, о коменданте Омской крепости. Служебное положение позволяло Троицкому относиться ко всем арестантам гуманно и соответственно давало возможность более подробно и открыто говорить об оказываемой им помощи. «Повторяю, — пишет Достоевский, — арестанты не нахвалились своими лекарями, считали их за отцов, уважали их. (...) с лекарей бы никто не спросил, если б они обращались иначе, то есть грубее и бесчеловечнее: следственно, они были добры из настоящего человеколюбия» (4, 137). Старший доктор характеризуется в «Записках» как «человеколюбивый и честный человек», но он «при случае выказывал суровую строгость, и за это его у нас как-то особенно уважали» (4, 143). Арестанты, попавшие в госпиталь, были для него в первую очередь больными людьми, и поэтому он «свидетельствовал каждого поодиночке, особенно останавливался над трудными больными, всегда умел сказать им доброе, ободрительное, часто даже задушевное слово и вообще производил хорошее впечатление» (4, 143). Писатель П. К. Мартыанов оставил нам следующий портрет этого человека: «Иван Иванович Троицкий (...) топором срубленный и лыком спитый человек, действительно вполне достоин был порученного ему места. Он начал службу ординатором в одном из госпиталей новгородского военного поселения (кажется, в Старой Руссе) и во время бунта поселаян, в 1831 году, избежал смерти по любви к нему подчиненных солдат; он переделался в солдатское платье и три дня исполнял, вместе с другими нижними чинами, обязанности госпитального служителя. Затем, перейдя на службу в Западную Сибирь, он до-

¹⁰ Лит. наследство, 1956, т. 60, кн. 1, с. 624.

¹¹ Там же.

«стиг высокого положения штаб-доктора, благодаря своим работам, попечительности и гуманному отношению ко всем больным без исключения, начиная с высшего начальства и кончая последним арестантом-преступником. Доброта его доходила до того, что тем же самым поселянам, которые искали его смерти в 1831 году и, по отбытии наказания, были сосланы в Сибирь, он платил при первой к тому возможности облегчением их участи и посильной помощью».¹² В Омск штаб-лекарь Троицкий был назначен в батальон военных кантонистов.¹³ Незадолго до прибытия в острог Достоевского коллежский советник И. И. Троицкий был назначен «главным лекарем» в Омский военный госпиталь. В первой половине 1854 г. он был произведен в статские советники и назначен корпусным штаб-доктором. О служебном продвижении И. И. Троицкого свидетельствуют материалы Государственного архива Омской области: так, если в записи от 9 января 1854 г. упоминается «омского военного госпиталя главный доктор коллежский советник» Троицкий, то 27 мая 1854 г. он назван «корпусного штаба доктором, статским советником».¹⁴

В госпитале Достоевский мог получать дополнительное питание. В письме от 18 августа 1850 г. А. И. Сулоцкий пишет М. А. Фонвизину: «О страдальцах только я и знаю, что они почти постоянно в лазарете и что, когда живут тут, пользуются столом от главного лекаря Троицкого».¹⁵ Об этом заботилась жена Троицкого — «прелестнейшая и добрейшая женщина, каких судьба посылает на землю только по одной в десятилетие».¹⁶ По архивным материалам удалось установить ее имя — Мария Николаевна.¹⁷

А. Е. Ризенкамф сообщает, что «ординатором арестантских палат был тогда Иван Яковлевич Ловчинский, добрый и сострадательный человек».¹⁸ В «Записках из Мертвого дома» он характеризуется как «молоденький лекарь, знающий дело, ласковый, приветливый, которого очень любили арестанты и находили в нем только один недостаток: „слишком уж смирен“». В самом деле, он был как-то неразговорчив, даже как будто конфузился нас, чуть не краснел, изменял порции чуть не по первой просьбе больных и даже, кажется, готов был назначать им и лекарства по их же просьбе. Впрочем, он был славный молодой человек» (4, 141). Справедливости ради следует привести и другую характеристику Ловчинского: «Главный лекарь (Троицкий), конечно, не интриган и не великий корыстолюбец, но в непрерывной борьбе с бывшими его подчиненными — врачом Крыжановским и Ловчинским,

¹² См.: *Мартьянов П. К.* Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки. СПб., 1896, т. 3, с. 279.

¹³ Государственный архив Омской области (далее: ГАОО), ф. 16, оп. 2, кн. 134, 1847 г., л. 76 об.

¹⁴ Там же, кн. 171, 1854 г., л. 5 об., 468 об.

¹⁵ Лит. наследство, 1956, т. 60, кн. 1, с. 625.

¹⁶ *Мартьянов П. К.* Дела и люди века, т. 3, с. 263.

¹⁷ ГАОО, ф. 16, оп. 2, кн. 156, л. 7 об.

¹⁸ Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 551.

которые зорко смотрят за его действиями; да он не смеет класть, как говорят, пальца в рот и другим лазаретным врачам». ¹⁹

Несмотря на сложные отношения с людьми, его окружавшими, Троицкий находил возможность помогать Достоевскому в главном. Так, с ведома Троицкого и по его разрешению Достоевский получил возможность, находясь в госпитале, писать. В тетрадь, впоследствии названную исследователями «Сибирской», он записывал арестантский фольклор. Эта тетрадь содержит около 500 записей. Многие из них использованы Достоевским при работе над произведениями послекаторжного периода, в особенности над «Записками из Мертвого дома».

Высказывалось мнение, что Достоевский начал писать это произведение в Омске и что «первые главы „Записок“ хранились долгое время у старшего госпитального фельдшера, фамилия которого, к сожалению, неизвестна». ²⁰

Первые главы «Записок», о которых здесь идет речь, нам действительно неизвестны. Скорее всего, подразумевается «Сибирская тетрадь», которую писатель вел в Омске. Эта тетрадь, как драгоценная реликвия, хранится сейчас в Рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. А вот старшим госпитальным фельдшером в омские годы Достоевского был Алексей Аполлонович Аполлонов. Записи, свидетельствующие об этом, обнаружены мной в документах за 1852 и 1853 гг. ²¹

Не установлен источник, из которого получены сведения о старшем госпитальном фельдшере как о хранителе «Сибирской тетради». В комментариях к четвертому тому Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского говорится: «По рассказам старожилов, тетрадь хранилась у фельдшера омского военного госпиталя А. И. Иванова» (4, 310). К записи дана ссылка на статью Г. Вяткина «Достоевский в омской каторге», напечатанную в № 1 «Сибирских огней» за 1925 г. Между тем в этой статье имя Алексея Ивановича Иванова никак не связывается с «Сибирской тетрадью». Здесь приводятся воспоминания сына фельдшера, В. А. Иванова. Он рассказывает, что его отец тайком приходил для лечения в госпиталь, за что, по приказу начальника госпиталя, барона Франка, был наказан «двадцатью пятью ударами». По просьбе Достоевского А. И. Иванов спешил оказать помощь арестантам, прогнанным сквозь строй, которых приводили в госпиталь. Достоевский, как вспоминает В. А. Иванов, в знак признательности «сделал отцу платяную щетку. Щетка была грубая, из серой грубой щетины, но мысль, что она сделана руками Достоевского, заставляла отца хранить ее, как реликвию». ²²

¹⁹ ГБЛ, Ф—в, п. 3, № 67, л. 25 об. (письмо А. И. Сулоцкого к М. А. Фонвизину от 3 января 1853 г.).

²⁰ См.: Палашенков А. Ф. По местам Ф. М. Достоевского в Омске, с. 31—32.

²¹ ГАОО, ф. 16, оп. 2, кн. 163, св. 175, л. 12; кн. 165, св. 177, л. 2 об.

²² Сибирские огни, 1925, № 1, с. 179—180. — Ошибочное утверждение об А. И. Иванове как хранителе записей Достоевского повторено А. Лей-

Хотя в госпитале Достоевского окружали те же арестанты, что и в остроге, и условия жизни здесь были немногим лучше острожных — но все же писателю «случалось бывать в госпитале частенько» (4, 135). Здесь начала реализоваться творческая работа, которая «кипела» в его сознании. Помощь медицинского персонала Омского военного госпиталя внесла существенный вклад в облегчение участи Достоевского-каторжника.

«Комендант крепости омской»

Помощь писателю госпитального персонала значительно облегчалась доброй на то волей коменданта Омской крепости. В его обязанности было вменено лично осматривать госпитали и «о всех беспорядках, кои <...> усмотрены будут», сообщать по начальству.²³

Когда в Омск в тюремном экипаже доставили Достоевского, комендантом Омской крепости был полковник Алексей Федорович де Граве. Отношения коменданта и арестантов были строго регламентированы царскими указами. Они гласили, что «арестантские роты состоят в полной зависимости крепостного коменданта, он отвечает за строгим соблюдением правил, существующих на содержание и присмотр за арестантами».²⁴ Здесь же указание, имеющее прямое отношение к разряду арестантов, к которому принадлежал и Достоевский: «Запрещается разжалованным арестантам давать чернила, бумагу, перья, книги и тому подобное». Обо всем происходящем в остроге комендант знал из рапортов своих подчиненных. В свою очередь, о «нарушениях порядка», происходивших в Омской крепости, вскоре из доносов некоторых омских чиновников и офицеров узнавало начальство в Петербурге.

Здесь, мне кажется, необходимо небольшое отступление. Часто разговор о коменданте Омской крепости начинают с описания статейного списка арестантов омского острога. Об этом документе говорится, как о примере тупости и бесчеловечности самодержавной судебной-бюрократической машины, емко характеризующем человека, его подписавшего. В этом списке о Достоевском сказано, что он «чернорабочий, грамоте знает».²⁵ Под статейным списком стоят две подписи — коменданта Омской крепости полковника де Граве и плац-майора Кривцова. По сути статей, где встречается упоминание об А. Ф. де Граве — коменданте крепости, получается, что он-де, конечно, дал такую характеристику Достоевскому, но вообще-то был хорошим человеком. Далее следуют

фером и В. Владимирцевым (см.: *Лейфер А.* Годы, прошедшие не бесплодно, с. 433; *Владимирцев В.* В зеркале «Сибирской тетради». — Енисей, 1981, № 6, с. 39—40).

²³ ПСЗРИ (Полный свод законов Российской империи). СПб., 1832, т. 7, с. 806, статья 5710.

²⁴ Там же, свод 2, т. 1. СПб., 1830, с. 1013.

²⁵ См.: Ист. вестн., 1898, № 1, с. 219—224.

подтверждения. Но разве возможно было в то время в графе «какое знает мастерство и умеет ли грамоте» написать о Достоевском что-либо иное? Какому «мастерству» мог быть обучен вчерашний дворянин? С другой стороны, и составлял-то этот список вовсе не комендант, а плац-майор, чья подпись стоит под статейным списком последней. О нем Ф. М. Достоевский писал брату: «... Кривцов — каналья, каких мало, мелкий варвар, сутяга, пьяница, всё, что только можно представить отвратительного <...> этот-то человек писал рапорты и подавал аттестации об нас каждый месяц в Петербург» (II, I, 135; курсив наш. — В. В.). Недолго прослужил бы высокопоставленный царский офицер, потребовавший от такого подчиненного ему «канальи», как Кривцов, отражения в ежемесячно отправляемом в Военное министерство статейном списке о политическом преступнике его прошлых литературных заслуг.

А ведь в Омске «в то недавнее давнопрошедшее время было столько доносчиков, столько интриг, столько рывших друг другу яму, что начальство, естественно, боялось доноса. А уж чего страшнее было в то время доноса о том, что известного разряда преступникам дают поблажку!» (4, 213). В таких условиях сообщение о «предосудительных действиях» коменданта не сулило ему долгой службы, а его «подопечных» грозило лишить надежного покровительства. Тем не менее де Граве находил способы помогать Достоевскому и Дурову хотя бы тем, что знал, но «делал вид, что не знает» о помощи, оказываемой его подчиненными петрашевцам.

В 1859 г., возвращаясь из Сибири, Достоевский проезжал через Омск, был в доме у коменданта. «В Омске я пробыл трое или четверо суток <...> был у старых знакомых и начальников, как то: де Граве и проч.» (II, I, с. 269). Думается, не стал бы писатель навещать человека, от которого в прошлом зависела его судьба, если бы тот равнодушно наблюдал за каторжными муками, не пытаясь помочь. Об официальных попытках коменданта облегчить участь писателя мы знаем следующее. Активный помощник Достоевского священнослужитель Омского кадетского корпуса А. И. Сулоцкий в письме Н. Д. Фонвизиной от 1 февраля 1850 г. рассказывает, что комендант справлялся у генерал-губернатора Западной Сибири П. Д. Горчакова о возможности поблажек политическим преступникам. 20 февраля 1852 г. А. Ф. де Граве посылает в Петербург запрос о том, заслуживают ли Достоевский и Дуров «быть перечисленными в разряд исправляющихся с причислением к военно-срочному разряду арестантов».²⁶ Положительный ответ сократил бы Достоевскому срок каторги на полгода. В этом же рапорте комендант спрашивает, «должно ли освобождать их и подобных им от ножных оков».²⁷

²⁶ ЦГВИА, ф. 312, оп. 2, д. 1597, л. 1 об.

²⁷ Там же, л. 2.

Работая над «Записками из Мертвого дома» — произведением, фактическая сторона которого опирается на события, происходившие в Омске, Достоевский, очевидно, задумывался о том, как рассказать о людях, ему помогавших, не навлекая на них гонений. Так, свое личное отношение к коменданту в «Записках» Достоевский не высказывает даже от лица Горянчикова, ведущего повествование. Личное отношение к коменданту объективируется, прячется за оценкой его самими арестантами. «Коменданта у нас любили и даже уважали», — говорит Горянчиков (4, 109). В противоположность озлоблявшему «уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками» плац-майору коменданта Горянчиков вспоминает как «человека благородного и рассудительного, умерявшего иногда его дикие выходки» (4, 14). Так, однажды Кривцов высек ни за что бывшего профессора математики коллежского советника Жюховского (в «Записках» — Ж-кий). «... комендант, — говорит Горянчиков, — узнав об истории с стариком Ж-ким, очень вознегодовал на майора и внушил ему, чтоб он на будущее время изволил держать руки покороче» (4, 213).

Облик А. Ф. де Граве и его манера держаться соответствовали представлению, сложившемуся в сознании острожников об идеальном командире. У него «были ордена», он был «видный собою, <...> и строг, и важен, и справедлив, и достоинство <...> свое соблюдал» (4, 91). Это описание идеального командира, не случайно приведенное Достоевским, напоминает нам словесный портрет А. Ф. де Граве, оставленный Мартьяновым: «Алексей Федорович де Граве, высокого роста, массивный и тучный старик, лет 60-ти от роду, но еще бодрый, крепкий и легкий на подъем, веселого и живого характера, с добродушной улыбкой и громким раскатистым смехом <...> дело свое исполнял добросовестно и, по возможности, облегчал положение находившихся в крепостном остроге арестантов».²⁸

В письме к брату от 22 февраля 1854 г. Достоевский сказал, что комендант был «человек очень порядочный» (П., I, с. 135). Как о «добрейшем и достойнейшем коменданте» отзываясь об А. Ф. де Граве Н. Т. Черевин, служивший в то время в Омске.²⁹

Новый свет на этого человека проливают неизвестные ранее исследователям документы. Один из них — найденный нами «Формулярный список о службе и достоинстве коменданта крепости омской, состоящего по армии полковника де Граве».³⁰ Из него мы узнаем, что родился Алексей Федорович в 1793 г., происходил «из дворян Тобольской губернии». К 1851 г. он — кавалер многих высоких орденов, знака отличия беспорочной службы

²⁸ См.: Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. 3, с. 251—252.

²⁹ Черевин Н. Т. Полковник де Граве и Ф. М. Достоевский. — Рус. старина, 1889, № 2, с. 318.

³⁰ ЦГВИА, ф. 489, оп. 1, т. 1—2, д. 7303, л. 370—375.

за 30 лет. Но наиболее приметные награды, указанные здесь, овеяны ореолом высокой солдатской доблести — это медали за участие в Отечественной войне 1812 г. 19 ноября 1812 г. Алексей де Граве был досрочно произведен в прапорщики и, что особо отмечалось, имел тогда «от роду 19 лет». За отличие в сражении при Дрездене, где был ранен, произведен в подпоручики. С 1822 г. А. Ф. де Граве служит в Омске. С 1841 г., за год до назначения «высочайшим приказом», де Граве вступил в должность коменданта Омской крепости.

Читая список, невольно вспоминаешь слова, сказанные о де Граве в уже цитированном сочинении Мартьянова: — «... по службе он особенно не выдавался, т. к. не пользовался особенным благоволением корпусного командира».³¹ Мартьянов явно ошибается — начальство отмечало А. Ф. де Граве — все повышения выходили, как гласит список, «за отличия по службе». Тем показательнее выглядит его симпатия и действенная помощь Достоевскому, тогда политическому преступнику.

Установлена мной и другая крайняя дата жизни последнего коменданта Омской крепости. В разделе «об умерших» метрической книги Соборо-Воскресенской церкви за 1864 г. я прочел: «11 мая <...> омской крепости комендант генерал-майор А. Ф. Граве <...> умер от старости».³²

О его смерти в Петербург полетела депеша. Три недели понадобилось ей, чтобы добраться до столицы. Пять месяцев не было преемника у А. Ф. де Граве. Затем последовал указ: «... омскую крепость и тамошнее комендантское управление с ордонанс-гаузом упразднить».³³ Обязанности коменданта вплоть «до преобразования линейных управлений в Западной Сибири» возлагались на дежурного штаб-офицера, на командиров линейных батальонов помер четыре и номер пять. Так закончила свое 100-летнее существование Омская крепость. Такой была жизнь ее последнего коменданта, — человека, не побоявшегося протянуть руку помощи Достоевскому в тяжелейшие годы его жизни.

Анна Андреевна де Граве

В письме к Достоевскому Чокана Чингисовича Валиханова от 5 декабря 1856 г. говорится: «Анне Андреевне я отдал Ваше письмо, она, кажется, очень довольна».³⁴ К имени, названному здесь, в конце тома имелась сноска: «Иванова Анна Андреевна — дочь декабриста Анненкова».³⁵ Десятью годами ранее в издании избранных сочинений Валиханова встречалась аналогичная сноска: «Иванова Анна Андреевна — дочь декабриста Анненкова.

³¹ Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. 3, с. 252.

³² ГАОО, ф. 16, оп. 4, кн. 20, св. 268, л. 192 об.

³³ ПСЗРИ, свод 2, т. 39, с. 15.

³⁴ Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. Алма-Ата, 1968, т. 4, с. 46.

³⁵ Там же, с. 667.

Много помогла Достоевскому во время его пребывания в омской каторжной тюрьме. . .»³⁶

Известно, что Анненкова звали не Андреем, а Иваном, Иваном Александровичем. У Анненковых действительно была дочь Анна, но она умерла на пятом году своей жизни, и других дочерей с этим именем у Анненковых не было. Вышла замуж за К. И. Иванова и носила его фамилию дочь Анненковых — Ольга, она и помогала Достоевскому в Омске.

Но ведь речь в письме Валиханова идет не о ней, а об «Анне Андреевне». Искать сведения об этом адресате Достоевского следовало в материалах об омском периоде жизни писателя и о людях, которые его здесь окружали. В Ялуторовске в середине прошлого века развил активную педагогическую деятельность декабрист Иван Дмитриевич Якушкин. Открытые им демократические школы стали широко известны в Сибири. Опыт Якушкина распространился и на Омск. В начале 50-х гг. в Омск был переведен энергичный помощник Якушкина в деле устройства школ, друг декабристов протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский. Благодаря ему в Омске, не имевшем в то время гражданских учебных заведений, было открыто первое женское училище. Его созданию в большой степени способствовало «горячее сочувствие к устройству женской школы» А. А. де Граве, жены коменданта тамошней крепости.

И. Д. Якушкин писал об этом Знаменскому: «Очень меня порадовали Яков Дмитриевич (Казимирский, омский жандармский генерал) и Наталья Дмитриевна (Фонвизина. — В. В.) известиями о вашем училище, в котором все так прекрасно устроилось при усердном участии благородной вашей сотрудницы. Дай бог ей за это здоровья!». ³⁷ Таким образом, комендант Омской крепости помогал Достоевскому, а его жена способствовала открытию в Омске новых учебных заведений.

Инициалы жены А. Ф. де Граве в очерке о Якушкине — А. А. Они совпадают с начальными буквами имени, упомянутого в письме Валиханова к Достоевскому — Анна Андреевна. Случайное ли это совпадение?

В уже упоминавшемся выше «Формулярном списке о службе и достоинстве коменданта крепости омской», в графе о семейном положении де Граве значится: «женат вторым браком на дочери титулярного советника Романова Анне Андреевой. . .».³⁸ Сомнений больше не было — совпадение было не случайным. Достоевский через Валиханова передал жене коменданта письмо. Письмо Валиханова Достоевскому датировано 5 декабря 1856 г. Следовательно, письмо к Анне Андреевне, которое передал Достоевский с Валихановым в Омск, датируется не позднее ноября 1856 г.

³⁶ Валиханов Ч. Избранные произведения. Алма-Ата, 1958, с. 615.

³⁷ См.: Знаменский М. С. И. Д. Якушкин. — В кн.: Сибирский сборник, СПб., 1886, кн. 3, с. 101, 104.

³⁸ ЦГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 7303, «Формулярный список. . .», л. 375.

К этому времени приходская школа для девочек была уже открыта — И. Д. Якушкин откликнулся на сообщение об этом еще в сентябрьском письме С. Я. Знаменскому. Возможно, Достоевский в письме жене коменданта, которую мы можем теперь уверенно называть по имени — Анне Андреевне, — высказывал свое отношение к созданию в Омске первой женской школы. Мы знаем, что проблема грамотности народа глубоко волновала Достоевского. После выхода из острога, работая над «Записками из Мертвого дома», писатель одновременно обратится к вопросам грамотности и путям образования народа в «Ряде статей о русской литературе», где по-новому поставит эту проблему.

Следовательно, адресатом Ф. М. Достоевского, упомянутым в письме к нему Ч. Ч. Валиханова, была Анна Андреевна де Граве — жена коменданта Омской крепости. Она способствовала развитию образования в Омске, участвуя в создании здесь первых гражданских учебных заведений. Помогала Ф. М. Достоевскому в сибирский период его жизни. И по крайней мере дважды Достоевский писал ей. В 1856 г. он послал ей письмо через Валиханова. В письме от 31 августа 1857 г. Достоевский сообщает В. Д. Констант, что он писал к «жене генерал-майора де Граве», которую называет своей «доброй знакомой, женщиной благородной и умной» (П., I, 225).

Семья Капустиных

В условиях небольшого города, каким был Омск в середине прошлого века, отношения людей в нем носили характер семейственности. Особенно тесные дружеские и родственные отношения связывали семьи А. Ф. де Граве и Якова Семеновича Капустина. Капустин был женат на сестре знаменитого химика Д. И. Менделеева Екатерине Ивановне.

Екатерина Ивановна Менделеева, выйдя в 1839 г. замуж за Якова Семеновича Капустина, переехала вслед за мужем в Омск. Из многих Менделеевых, живших здесь, судьба свела Достоевского лишь с Екатериной Ивановной и ее семьей.

Яков Семенович Капустин в середине прошлого века был начальником отделения Главного Управления Западной Сибири и жил с женой в двухэтажном доме на Мокринском форштадте. Семья Капустиных росла с каждым годом. С рождением детей (а их, судя по метрическим книгам, в этой семье было двенадцать) прибавлялось хлопот, Капустины стремились окружить подрастающих сыновей и дочерей влиянием наиболее образованных людей города. «Дом Капустиных в Омске, — вспоминает современник, — представлял салон, в котором собиралась молодежь с высшим образованием, занимавшаяся литературой, живописью и др. Все проезжавшие через Омск образованные люди — путешественники, ссыльные, обязательно вводились в этот салон».³⁹

³⁹ Адрианов А. В. Томская старина. — В кн.: Город Томск. Томск, 1912, с. 146.

Многие из детей Капустиных внесли ценный вклад в развитие образования, культуры. Один из сыновей Капустиных — Федор, будущий преподаватель физики в Томском и Петербургском университетах, в юности помогал в опытах Д. И. Менделееву. Другой сын — Михаил Яковлевич Капустин, избранный в Государственную Думу, способствовал созданию в Москве народного университета имени А. Л. Шаняевского.

Одна из дочерей Капустиных — Анна — вышла замуж за педагога Ивана Кузьмича Смирнова. Из семьи Смирновых вышел известный в начале XX в. археолог, сотрудник Эрмитажа Яков Иванович Смирнов. Избранный Российской Академией наук ординарным академиком по отделению русского языка и словесности, Я. И. Смирнов был одновременно крупнейшим ученым-античником и замечательным востоковедом. Его классический труд «Восточное серебро», изданный в 1909 г., явился научной сенсацией. Немногим известно, что честь первоначального составления разрозненных кусков Афины с фронтона древнего храма на афинском Акрополе принадлежит Я. И. Смирнову.⁴⁰ В годы революции и гражданской войны Я. И. Смирнов в большой мере способствовал сохранению для Советской страны сокровищ Эрмитажа.

Семен Яковлевич Капустин после окончания Казанского университета 24 октября 1852 г. начал свою деятельность в Омске. «Из числа более чем десяти человек — питомцев Казанского университета, служащих в одном Омске, — писал С. Я. Капустин Д. И. Мейеру 12 мая 1855 г., — ни один не помрачил еще чести университета каким-либо поступком, марающим человечество»; он жалуется на недостаток в «сильной и умелой деятельности, потребной молодому человеку», мечтает о привлечении на службу в Сибири людей «способных и достойных».⁴¹ Более 10 лет прослужил С. Я. Капустин в Омске и оставил по себе память как об одном из «просвещеннейших и благороднейших чиновников».⁴² С. Я. Капустин известен нам как автор статей, посвященных вопросам крестьянского быта. Одна из его книг — «Формы землевладения у русского народа в зависимости от природы, климата и этнографических особенностей» (СПб., 1877) — была в библиотеке Достоевского.⁴³

Постоянным посетителем вечеров у Капустиных после выхода из каторги стал С. Ф. Дуров. Знакомство с Е. И. Капустиной побудило Дурова называть ее не иначе как «„святою женщиною“»; в ее гостиной он находил радушный прием, он ценил это, потому что во всех других домах его чурались как опасного человека».⁴⁴

⁴⁰ См. о нем: *Варшавский С., Рест Б.* Билет на всю вечность: Повесть об Эрмитаже. Л., 1981, с. 93—99.

⁴¹ ГПБ, ф. 476, Д. И. Мейер, № 55.

⁴² *Поганин Г. Н.* Омский кружок [и новые веяния]. — В кн.: *Валиханов Ч. Ч.* Собр. соч., т. 4, с. 651.

⁴³ См.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1980, т. 4, с. 260.

⁴⁴ См.: *Поганин Г. Н.* Встреча с С. Ф. Дуровым. — В кн.: *Валиханов Ч. Ч.* Собр. соч., т. 4, с. 555.

В 1859 г., возвращаясь из Сибири в Россию, Достоевский проезжал через Омск и познакомился с Капустиными. В письме семипалатинскому знакомому А. И. Гейбовичу от 23 октября 1859 г. он писал о них: «... люди простодушные и благородные, с хорошим сердцем <...> Мы познакомились хорошо; люди без всяких претензий» (П., I, 269). В их доме он пробыл недолго, но «эти несколько часов, — писала Достоевскому Е. И. Капустина 4 января 1862 г., — я никогда не забуду».⁴⁵

Капустиных Достоевский изобразил в «Записках из Мертвого дома». Во введении читаем: «В первый раз я встретил Александра Петровича (Горянчикова. — В. В.) в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Ивановича Гвоздикова, у которого было пять дочерей разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки, четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок» (4, 6). Вспомним, что Яков Семенович Капустин в 50-х гг. XIX в. был в Омске и «старинным» и «заслуженным» чиновником. С ним в то время жили пять дочерей: Мария, Анна, Ольга, Екатерина, Надежда.⁴⁶ Полное совпадение фактов позволяет утверждать, что прототипом чиновника Гвоздикова из «Записок» был Яков Семенович Капустин.

Дочерям Капустиных в те годы давал уроки Александр Мирецкий, отбывавший каторгу вместе с Достоевским. На наш взгляд, он во многом послужил автору «Записок из Мертвого дома» «натурой» при создании образа Горянчикова. Манера поведения и факты биографии реального Мирецкого и Горянчикова (особенно во введении к «Запискам из Мертвого дома») перекликаются. Их жизнь одинаково ограничена масштабом города, где расположен острог. После каторги А. Мирецкий преподает в Омске французский язык.⁴⁷ Горянчиков, выйдя из острога, «жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей» (4, 6). Мирецкий был замкнутым человеком. Горянчиков в введении к «Запискам» «поставляет главной задачей — как можно подальше спрятаться от всего света» (4, 7). Сопоставление Мирецкого и Горянчикова дает интересный материал для изучения принципов типологии у Достоевского.

Капустины находились в тесной дружеской и родственной связи и с декабристами. Так, например, Н. В. Басаргин был

⁴⁵ Цит. по кн.: *Валиханов Ч. Ч.* Собр. соч., т. 4, с. 55.

⁴⁶ Их имена установлены по метрическим книгам: ГАОО, ф. 16, оп. 2, кн. 99, св. 102, 1840 г., л. 15 об., 16 (Мария); ф. 16, оп. 2, кн. 151, запись от 1 апр. (Анна, Ольга); ф. 16, оп. 2, кн. 180, л. 23 об. (Надежда. — Н. Я. Капустина (по мужу Губкина) известна как автор воспоминаний о Д. И. Менделееве. См.: Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди Д. И. Менделеева. СПб., 1908).

⁴⁷ ГАОО, ф. 3, оп. 13, д. 18336, кн. 1056, л. 10 об. («Рапорт исправляющего должность начальника 8-го округа жандармов генерал-майора Казимирского 1-го генерал-губернатору Западной Сибири генералу от инфантерии Гаффорту»).

женат на родной сестре Е. И. Капустиной — Ольге Ивановне, урожденной Менделеевой. Капустины были хорошо знакомы с Н. Д. Фонвизиной и дорожили ее расположением. Вот что пишет, например, М. Д. Менделеева Капустиным: «Княгиня Горчакова с Фонвизиной приехала так же к памятнику (Ермаку. — В. В.), и увидев меня в коляске со всеми детьми моими, с обычной приветливостью спросила, получила ли я письмо ваше, посланное вами через нее, и рассказала мне о вас <...> Вечером я была у нее во время экзамена в гимназии и нашла ее столько расположенною ко мне, как и прежде».⁴⁸

Достоевского сближало с семьей Капустиных и то, что он особенно ценил в Фонвизиной — умение жить ради других, жертвенность. Е. И. Капустина писала Достоевскому: «Вы много перенесли превратностей судьбы, вы испытали много, и горе и лишения знакомы вам, а все это такие спутники и учителя наши, которые более всего учат нас истине и делают не хуже, а лучше людей».⁴⁹ Как бы предваряя эти слова, Достоевский писал Фонвизиной в феврале 1854 г.: «... в несчастье яснее истина» (28, 176).

Известно, что Фонвизина многое сделала для облегчения жизни Достоевского на каторге. Она находила возможность передавать Достоевскому письма и, очевидно, получала ответы. В своем письме Фонвизиной Мария Францева — дочь тобольского прокурора — сообщает, что в Омск «опасная корреспонденция дошла благополучно и, может быть, теперь уже находится в руках наших страдальцев». В письме есть строки, развеивающие возможные сомнения относительно адресатов: «Может, они <...> пишут сегодня ответ! Очень рада, что они теперь наконец вместе, и если только письмо у них, то и Федя (подчеркнуто Францевой. — В. В.) утешен мыслью, что и он тоже не забыт».⁵⁰

Первая встреча Достоевского с Фонвизиной относится к январю 1850 г., когда она вместе с другими декабристками, в том числе П. Е. Анненковой, навестила петрашевцев в Тобольской пересыльной тюрьме (см.: П., I, 135; 4, 67; 21, 12 и 385).⁵¹ Приводим ниже материалы, из которых следует, что Достоевский виделся с Фонвизиной и Анненковой и в Омске, в 1853 г.

⁴⁸ Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди Д. И. Менделеева, с. 45.

⁴⁹ Письмо от 4 янв. 1864 г. (цит. по кн.: *Валиханов Ч. Ч.* Собр. соч., т. 4, с. 112—113).

⁵⁰ ГБЛ, ф. 319, 437, л. 14 и 14 об.

⁵¹ См. о Достоевском и Фонвизиной в воспоминаниях М. Д. Францевой (Ист. вестн., 1888, № 6, с. 628—632) и в статье С. В. Житомирской (Лит. наследство, 1956, т. 60, кн. 1, с. 615—628). Известно письмо Фонвизиной к Достоевскому от 8 ноября 1853 г. (см.: *Вопр. лит.*, 1981, № 5, с. 307—313. — К сожалению, оно опубликовано С. Кайдаш с неточными прочтениями по фотокопии, а не по подлиннику (ЦГАОР, ф. 1706, оп. 1, № 38). Это привело ее к необоснованному утверждению о приемах тайнописи в письме Фонвизиной, изобразившей якобы Россию в облике своей безобразной мачехи. — *Ред.*). Достоевский ответил Фонвизиной в феврале 1854 г. (П., I, 141—144).

В Государственном архиве Омской области есть особый фонд — метрические книги. В одной из таких книг зафиксировано, что 30 марта 1853 г. родилась девочка, которой при крещении, состоявшемся 16 апреля в градо-омской Соборо-Воскресенской церкви, дали имя «Наталья». Названы в документе родители девочки: «старший адъютант, полевой инженер поручик Константин Иванович Иванов и жена его Ольга Ивановна». Восприемниками (т. е. крестными) у девочки были: «заседатель тобольского приказа общественного призрения губернский секретарь Иван Александрович Анненков и жена государственного преступника, Наталья Дмитриевна фон Физина, полевой инженер полковник Иван Иванович Иванов же и жена губернского секретаря Анненкова Параскева Егоровна».⁵²

Достоевский писал П. Е. Анненковой 18 октября 1855 г.: «...помню встречу с Вами, когда вы приезжали в Омск и когда еще я был в каторге» (П., I, 162). Следовательно, около 16 апреля 1853 г. состоялась встреча Достоевского с Анненковой и Фонвизиной в доме Ивановых в Омске, куда они приехали в апреле того же года на крестины дочери Ивановых. В 1853 г. Достоевский все еще находился в остроге. Воспоминания Е. И. Якушкина,⁵³ сына декабриста, позволяют предстать, как Достоевский мог попасть в дом Ивановых и в это время. Впоследствии, после выхода из каторги, в этом доме писатель прожил около месяца. Здесь в феврале 1854 г. были написаны теперь широко известные и важные для понимания мира Достоевского письма — к брату и к Н. Д. Фонвизиной, по которым можно проследить развитие замысла «Записок из Мертвого дома».

Помощь семей декабристов — ядро «общественно-политической защиты»,⁵⁴ осуществлявшейся по отношению к Ф. М. Достоевскому в Омске. От жен декабристов тянутся нити к большинству людей, участвовавших в облегчении его жизни в каторжном остроге.

Всех этих людей характеризует высокий нравственный потенциал, умение «быть человеком между людьми, в каких-бы то ни было обстоятельствах не уныть и не пасть». Именно это свойство свело их с Достоевским в труднейшие годы его жизни.

⁵² ГАОО, ф. 16, оп. 2, кн. 165, л. 15 об., 16 (Метрическая тетрадь, учиненная омской крепостной Соборо-Воскресенской церкви на 1853 год).

⁵³ Е. И. Якушкин вспоминал о происшедшем в 1853 г.: «...я просил знакомого моего (...) устроить мне свидание с Достоевским. Его на другой же день привел конвойный очистить снег на дворе казенного дома, в котором я жил. Снега, конечно, он не чистил, а все утро провел со мной» (Огонек, 1946, № 46—47, с. 27).

⁵⁴ Термин В. Ф. Ретунского. См. его статью «Участие декабристов в судьбе ссыльных петрашевцев» (Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977, с. 174). См. также: *Вайнерман В. С.* «И сколько они вытерпели». — Омская правда, 1983, 20 мая; *Громыко М. М.* Ф. М. Достоевский и семья декабриста И. А. Анненкова. — В кн.: Политические ссыльные в Сибири. Новосибирск, 1983, с. 102—122.

К ПРЕБЫВАНИЮ ДОСТОЕВСКОГО НА АЛТАЕ

За годы подневольной службы в Семипалатинске Достоевскому не раз приходилось бывать в городах и селениях Алтайского горного округа: Барнауле, Кузнецке, Змеиногорске, на Локтевском руднике. «Виновницей» этих поездок была Мария Дмитриевна Исаева (см. об этом ниже).

Во время поездок Достоевский завел немало знакомств среди алтайских горных инженеров и чиновников. Гернгросс, Ковригин, Полетика, Пишке, Коптев, братья Самойловы — эти фамилии встречаются в письмах Достоевского, порой с лестными, хотя очень уж скупыми характеристиками. В алтайской глуши горные инженеры и чиновники были рады встрече с опальным писателем, человеком трудной судьбы, выдающегося ума и образованности. То, что он — бывший государственный преступник, никого не смущало. В Сибири этим не удивишь. Отношение к таким людям здесь всегда было участливым, сострадательным. Они охотно помогали Достоевскому в его многотрудных житейских обстоятельствах, за что он был им благодарен. Говорить о какой-то общности интересов, духовной близости, ставить их на одну доску, скажем, с П. П. Семеновым-Тянь-Шанским, Чоканом Валихановым, даже с А. Е. Врангелем вряд ли приходится. И хотя жизнь Достоевского богата событиями и встречами, эти люди также заслуживают внимания.

Между тем, как только речь заходила об Алтае, в работах о Достоевском допускались досадные неточности. Начало им положил А. Е. Врангель, издавший в 1912 г. свои воспоминания, написанные им в том возрасте, когда память человека уже нередко подводит.¹ Сведения, сообщенные другом Достоевского о его алтайских знакомых, были приняты на веру позднейшими авторами. В архивах Алтайского края, в документах Алтайского горного округа хранятся «формуляры о службе и достоинстве» (т. е. личные дела) всех, с кем встречался здесь Достоевский.

Однако сначала несколько слов о том, что такое Алтайский горный округ. Начало горно-заводского производства на Алтае связано с именем известного уральского заводчика Акинфия Демидова. Посланные им приказчики и рудознатцы (сам он не бывал на Алтае), разведав богатые месторождения медных и серебро-свинцовых руд, построили в 1729 г. близ Колыванского озера медеплавильный завод, который назвали Колывано-Воскресенским, а в 1739—1744 гг. — Барнаульский завод.

В 1747 г., после смерти Демидова, императрица Елизавета Петровна указала «те заводы со всеми отведенными для того зем-

¹ См.: Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854—56 гг. СПб., 1912.

лями <...> и с мастеровыми людьми <...> и с приписными крестьянами <...> взять на Нас». И до 1917 г. Алтайский край в его современных границах с частью прилегающих к нему нынешних Восточно-Казахстанской, Семипалатинской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей был личной собственностью царей. Размер царской вотчины, или Кабинетских земель, составлял 443 тысячи квадратных километров. Для сравнения напомним, что территория Чехословакии равна 127,6, а Югославии — 256 тысяч квадратных километров. Западная граница Алтайского горного округа проходила всего в 20 верстах восточнее Семипалатинска, где жил Достоевский.

В середине прошлого века в округе действовали Барнаульский, Павловский, Змеевский, Локтевский и Гавриловский серебряноплавильные заводы, Сузунский медеплавильный с Монетным двором при нем, Томский и Гурьевский железодельные, Колыванская шлифовальная фабрика, а также десятки рудников и золотых приисков. Алтай давал ежегодно 36—40 пудов золота (только с казенных промыслов), 1000—1100 пудов серебра, до 50 тысяч пудов свинца, 25—30 тысяч пудов меди. По серебру и свинцу он занимал первое место в России, по меди уступал Кавказу и Уралу. Более миллиона рублей чистой прибыли получал каждый год царь со своей алтайской вотчины.²

На заводах и рудниках трудилось около 24 тысяч человек, принудительно набранных путем рекрутской повинности. Кроме того, до 150 тысяч приписных крестьян доставляли заводам руду, древесный уголь (который сами и выжигали), флюсы, дрова, провиант и т. д. Труд тех и других был каторжным и почти даровым.

Заводы, рудники, промыслы возглавляли горные инженеры — лица, окончившие Петербургский Горный институт. До 1867 г. им присваивались звания от прапорщика до генерала. Полностью это звание писалось так: корпуса горных инженеров поручик такой-то. Но к армии горные капитаны и полковники никакого отношения не имели, хотя и носили погоны. Аналогичная картина была и в лесном ведомстве. Так, один из знакомых Достоевского, Коптев, имел чин: корпуса лесничих капитан.

В 1855 г. на Алтае служило всего 56 горных инженеров. Это была привилегированная, высокооплачиваемая, довольно образованная горнозаводская элита, тесно сплоченная и объединенная родственными связями. Алтайские горные инженеры довольно часто посылались за границу для ознакомления с новинками горнозаводского производства. В их круг волею судьбы, а точнее, стараниями Врангеля и попал Достоевский.

Врангель пишет об этом так: «Посетили мы с Ф. М. так называемый Локтевский завод горного ведомства. Расположен он был верстах в ста от Семипалатинска. Заводом управлял горный полковник Пишке, помощниками его были горные инженеры братья

² См.: Исторический очерк Алтайского округа (1747—1897 гг.). Барнаул, 1897.

Самойловы; их знаменитую сестру Веру — артистку — и брата их я встречал часто в Петербурге <...> Я скоро очень сошелся с этими братьями Самойловыми и стал ездить к ним. Сотня верст расстояния в Сибири ни по чем, их пролетишь в 5—6 часов <...> Я познакомил с ними и Ф. М. Несколько раз, с дозволения начальства, брал я Ф. М. в Локтевский завод; тут он особенно сошелся с капитаном Ковригиным <...> Особенным хлебосольством отличался лесничий, капитан Коптев <...> Сколько он получал жалованья, не знаю, но жил барином <...> В этот наш приезд мы застали там главного начальника Алтайского округа горного генерала А. Р. Гернгросса, образованного, любезного и гуманного <...> Я представил ему Достоевского; он отнесся к нему очень приветливо и настойчиво приглашал его вместе со мной погостить в Барнаул и Змеиногорск...»³ Несколько ниже, рассказывая о второй поездке в Змеиногорск, Врангель называет еще одну фамилию: «У полковника Полетики, управляющего заводом, был хор музыкантов...».

Вот, собственно, и весь известный нам перечень алтайских знакомств Достоевского. Но сведения Врангеля нуждаются в уточнении.

Управляющий Локтевским сереброплавильным заводом горный инженер Николай Эрнестович Пишке был не полковником, а подполковником. Родом из дворян Курляндской губернии, он после окончания института некоторое время служил на Урале, и к этому времени уже 16 лет на Алтае, был в трехгодичной командировке в Германии и почти годичной — в Швейцарии, владел французским и немецким языками.⁴ Биография его характерна для тогдашнего горного инженера, поэтому я привожу эти данные.

Из двух братьев Самойловых, служивших на Локтевском заводе, только старший, Сергей Васильевич, помощник управляющего заводом, был горным инженером, капитаном.⁵ Младший же брат, Иван Васильевич, пристав надворных работ завода, имел гражданский чин губернского секретаря.⁶ Они действительно были отпрысками знаменитой актерской семьи Самойловых, из которых наиболее известны: старший брат Василий Васильевич (кстати, тоже горный инженер по образованию), сорок лет прослуживший на сцене Александринского театра, и сестры Вера и Надежда, замечательные актрисы того же Александринского театра, творчество которых высоко ценил И. С. Тургенев, предназначавший для их исполнения свои пьесы «Где тонко, там и рвется» и «Провинциалка».⁷

³ Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, с. 56, 62—63.

⁴ Гос. архив Алтайского края (далее: ГААК), ф. 2, оп. 4, д. 4232, л. 11—16.

⁵ Там же, л. 20—22.

⁶ Там же, д. 4195, л. 591.

⁷ См. об этом: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Соч. М.; Л., 1961, т. 2, с. 571, 572; 1962, т. 3, с. 429, 431, 433.

В 1855 г. Сергею Васильевичу исполнилось 40 лет, из них 20 лет он прослужил на Алтае. Иван Васильевич был на шесть лет моложе брата, на Алтай прибыл «по прощению» в 1840 г. Интересно, что он единственный из братьев (цитирую формуляр) «обучался в Санкт-Петербургском театральном училище, но курс наук не кончил по случаю увольнения».⁸

П. П. Семенов-Тянь-Шанский, проживший зиму 1856—1857 гг. в Барнауле, вспоминал: «Зимний сезон был оживлен любительскими спектаклями в прекрасном здании барнаульского театра. Многие из членов барнаульского общества выдавались своими замечательными сценическими дарованиями. Совершенно первоклассным комиком был горный инженер Самойлов, старший брат знаменитого артиста, даже превосходивший своим природным сценическим талантом своего младшего брата...».⁹ На деле по документам Сергей Васильевич был не старше, а на два года моложе своего знаменитого брата.

Кстати, не один, а оба Самойловых были занятыми театрами; младший, Иван, имел театральное образование, пусть и незаконченное. Преданность их театру тем более похвальна, что связана была для них с немалыми лишениями, а, возможно, и с расходами: от Локтевского завода до Барнаула было 304 версты, и отлучаться с работы на долгое время они, конечно, не могли. Правда, в апреле 1857 г. С. В. Самойлов был назначен управляющим Сузунским медеплавильным заводом, за ним переехал туда и младший брат, но от Сузуна до Барнаула тоже был путь не близкий — 128 верст.

Интерсно, что Барнаульский любительский театр работал не только зимой. Врангель писал: «Наездная театральная группа из Барнаула летом перебиралась в Змиев (Змеиногорск. — В. Г.), так как сюда на дачи переселялось летом обыкновенно все главное начальство на три-четыре месяца».¹⁰

Капитан Николай Никифорович Ковригин, с которым, как сообщает Врангель, особенно сошелся Достоевский, никогда не служил на Локтевском заводе и мог оказаться там лишь проездом. Уроженец Забайкалья, он 20 лет провел в Восточной Сибири и лишь в 1852 г. был переведен на Алтай. Служил главным смотрителем рудников Змеиногорского края, помощником управляющего казенными золотыми промыслами, в октябре 1854 г. был назначен горным ревизором частных золотых промыслов вновь образованной Семипалатинской области. В августе 1856 г. Ковригин стал подполковником. Был он на 12 лет старше Достоевского; был примерным отцом трех сыновей.¹¹ Служебная резиденция Ковригина находилась в Семипалатинске, следова-

⁸ ГААК, ф. 2, оп. 4, д. 4195, л. 591.

⁹ Семенов-Тянь-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань в 1856—1857 годах. М., 1946, с. 195 (Мемуары; Т. 2).

¹⁰ Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, с. 89.

¹¹ ГААК, ф. 2, оп. 4, д. 4165, л. 70—81.

тельно, Достоевский мог встречаться с ним в любое время, если тот не был в отъезде.

Подполковник Ковригин в январе 1857 г. сильно выручил Достоевского, перед его женитьбой на М. Д. Исаевой. Писатель сообщал Врангелю 25 января 1857 г.: «...по первому моему слову дал мне 600 руб. серебром», помог мне, как брат родной. Я взял с условием воротить не ранее, как через год. Он просил не беспокоить себя. Это благороднейший человек!» (П., I, 211). Врангель же был о Ковригине несколько иного мнения: «Человек он был приятный и образованный, <...> доходы свои имел, как и все в то время в Сибири, и это считалось чуть ли не нормальным: как будто иначе и быть не могло <...> Об этих, как говорили, „безгрешных доходах“, знали все — и начальство, да и сам царь».¹² То же самое отмечает и П. П. Семенов-Тянь-Шанский: «Удручающее впечатление производило на меня только то, что все это интеллигентное, культурное общество (принадлежавшее, за исключением двух-трех золотопромышленников, к алтайской горной администрации) жило выше средств, доставляемых ему <...> казенным жалованьем, и, очевидно, пользовалось сверх того доходами, законом не установленными...».¹³ В те времена это действительно считалось чуть ли не нормальным делом у всей царской администрации.

Отличавшийся хлебосольством капитан Степан Борисович Коптев был на самом деле Локтевским окружным лесничим.¹⁴ П. П. Семенов-Тянь-Шанский, рассказывая о поездке по Змеиногорскому краю в июле-августе 1856 г., писал: «Спутником моим в этой поездке был прекрасно знакомый с Алтаем, образованный и культурный офицер корпуса лесничих Коптев...».¹⁵ Здесь речь идет не о локтевском Коптеве, а о его брате Александре Борисовиче. Он рано овдовел и уже в 1857 г. вышел в отставку по семейным обстоятельствам.¹⁶ Степан же Борисович служил на Алтае до глубокой старости, последние годы был управляющим лесной частью Алтайского горного округа.

Андрей Родионович Гернгросс в описываемый период был не генералом, а полковником и не Главным, а горным начальником Алтайских заводов. Главным же начальником и одновременно Томским гражданским губернатором (до 1864 г. эти должности совмещались) был при Достоевском генерал В. А. Бекман, а с 1858 г. — генерал А. Д. Озерский.

Гернгросс был наиболее крупной и влиятельной фигурой среди алтайских знакомых Достоевского. Сын горного генерала,

¹² Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, с. 56.

¹³ Семенов-Тянь-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань, с. 127.

¹⁴ ГААК, ф. 2, оп. 4, д. 4318, л. 425.

¹⁵ Семенов-Тянь-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань, с. 59.

¹⁶ ГААК, ф. 2, оп. 4, д. 4205, л. 183.

он окончил Горный кадетский корпус (позднее преобразованный в Горный институт) с большой золотой медалью; с 1834 г., т. е. с двадцатилетнего возраста, служил на Алтае. Был смотрителем рудника, управляющим Сузунским, затем Барнаульским заводом, Змеиногорским краем, в 1854 г. стал горным начальником Алтайских заводов.¹⁷ Выезжал в продолжительные командировки в Германию, Венгрию, Швецию, Норвегию. Словом, Гернгросс был крупным горным специалистом. В 1859 г. он получил назначение членом Совета и Ученого комитета корпуса горных инженеров и уехал в Петербург. Достоевский в более поздние годы и там подерживал с ним отношения.

У Гернгросса была большая даже по тем временам семья: восемь детей. Замысел неосуществленного романа Достоевского 1850-х гг. был связан с его впечатлениями о жене Гернгросса Екатерине Иосифовне и ее отношениях с Врангелем (см.: 3, 494—495). Отразились они и в повести «Вечный муж» (см.: 9, 472—474).

И, наконец, несколько слов о Полетике. Василий Аполлонович Полетика был не полковником, а подполковником и не управляющим заводом, а управляющим рудниками и заводом Змеиногорского края (чаще говорили: управляющий Змеиногорским краем). С осени 1856 г. он некоторое время возглавлял Барнаульскую Главную лабораторию.¹⁸ Семенов-Тянь-Шанский в первый свой приезд в Барнаул жил у него в доме. Отмечая гостеприимство хозяина, он тем не менее называет его «Барнаульским Алкивиадом».¹⁹ Прозвище далеко не лестное. Алкивиад — политический деятель в древних Афинах, отличавшийся беспринципностью и крайней неустойчивостью взглядов. Вскоре В. А. Полетика уехал в Петербург, вышел в отставку и стал журналистом.

Вот вкратце то, что можно узнать из сухих записей формуляров о людях, которым посчастливилось встречаться с Достоевским. Большого места в его жизни они, повторяю, не занимали, но не могут быть не интересны для тех, кто любит и изучает Достоевского.

Могло случиться, что Достоевский и сам оказался бы чиновником Алтайского горного правления, жителем Барнаула.

Две мечты, переплетаясь в одно целое, владели Достоевским в первую половину семипалатинского периода: вернуться в литературу и соединить жизнь с Марией Дмитриевной Исаевой.

Друзья Достоевского начинают в Петербурге хлопоты о его производстве в офицеры.²⁰ Одновременно с этим он не теряет

¹⁷ Там же, л. 205—211.

¹⁸ Там же, д. 4174, л. 168—180.

¹⁹ Семенов-Тянь-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань, с. 125.

²⁰ См.: Гроссман Л. 1) Достоевский. 2-е изд. М., 1965, с. 182—210; 2) Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.; Л., 1935, с. 79—85; Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском, с. 191—195; Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1978, т. 3, с. 262—265; см. также: П., I, 168—173, 177—181, 187.

надежды на переход в статскую службу, предполагает поселиться с М. Д. Исаевой после женитьбы в Барнауле (см.: П., I, 169—172, 175, 182, 184; II, 561).

Не видав еще Барнаула, Достоевский предпочитает его Семипалатинску. Это не удивит, если вспомнить, что сами же семипалатинцы называли свой городишко «Семипроклитинском», а о Барнауле шла слава, как об одном из самых культурных городов Сибири! П. П. Семенов-Тянь-Шанский недаром называл его «сибирскими Афинами».²¹ Здесь были библиотека, музей, процветающий любительский театр, окружное училище, наконец, общество образованных и гостеприимных горных инженеров.

В июне 1856 г. унтер-офицера Достоевского направляют по служебному делу в Барнаул. Отсюда он самовольно выезжает в Кузнецк для встречи с проживавшей там М. Д. Исаевой (см.: П., I, 189). О первом посещении Достоевским Барнаула никаких подробностей не сохранилось.

30 октября 1856 г. приходит долгожданный указ о производстве Достоевского в прапорщики. Правда милость царя оказалась кудей: главная мечта Достоевского — возможность печататься — пока не сбылась. Зато вполне реальной стала возможность женитьбы на М. Д. Исаевой.

В ноябре 1856 г. Достоевский вновь отправляется в Кузнецк. До Барнаула едет со своим новым другом П. П. Семеновым (тогда еще не Тянь-Шанским) и адъютантом семипалатинского военного губернатора В. П. Демчинским (см.: П., I, 200 и 203). «В Барнаул мы приехали 24 ноября (в день именин Х.),²² — общал Достоевский Врангелю, — и Гернгросс, не видав еще нас, прямо пригласил нас через Семенова на бал. Он мне очень понравился <...> О барнаульских я не пишу вам. Я с ними со многими познакомился; хлопотливый город, и сколько в нем сплетен и доморощенных Талейранов!» (П., I, 203—204). Таков первый отзыв Достоевского о Барнауле, вернее об обществе горных инженеров. На сей раз он пробыл в Барнауле сутки, да на обратном пути из Кузнецка — еще сутки. Каким же увидел Достоевский наш город?

Барнаул, хотя и являлся административным центром огромного Алтайского горного округа, по величине был больше похож на деревню. В нем проживало около 11 тысяч человек, из них каждый пятый был чиновником, каждый восьмой — военным и каждый четвертый — мастеровым сереброплавильного завода. Завод был центром хозяйственной жизни города. На нем выплавлялось ежегодно 260—280 пудов серебра — четвертая часть производимого на Алтае.

Достопримечательностью города был заводской пруд, протянувшийся чуть не на две версты вверх по Барнаулке, в сторону

²¹ Семенов-Тянь-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань, с. 56, 126.

²² Речь идет о Екатерине Иосифовне, жене полковника А. Р. Гернгросса.

соснового бора. Вода в то время была единственным источником энергии, приводившей в движение несложные заводские механизмы. Вблизи плотины высились темные от вековой копоти корпуса завода, а от пруда на север и восток, к Оби, как бы растекались прямые, широкие, местами заболоченные улицы с ровными по-военному линиями домов.

Город был в основном деревянным, одноэтажным, но имелось в нем немало и кирпичных зданий. Среди них особой красотой и единством стиля отличались окаймлявшие Демидовскую площадь белоколонные, выкрашенные охрой здания горного госпиталя, окружного училища и дома престарелых, Дмитриевская церковь. Посредине площади, обнесенной со стороны завода и пруда красивой чугунной решеткой, возвышался, прекрасно довершая ансамбль, серый гранитный обелиск с чугунным ликом основателя горно-заводского производства на Алтае — Акинфия Демидова. И здания, и обелиск были построены способным учеником Карло Росси, архитектором Алтайских заводов Яковом Поповым. Посланный начальником заводов в Петербург для обучения архитектуре, Попов два года провел в Академии художеств и шесть лет — архитекторским помощником великого зодчего, участвовал в создании Михайловского дворца, здания Главного штаба, Александринского театра.

В Барнауле бытует предание, что Достоевский, любуясь ансамблем Демидовской площади, первым назвал его «уголком Петербурга». Нетрудно представить, какие чувства породил этот «уголок» у истосковавшегося в изгнании писателя!..

Но были у города и теневые стороны. Каждому приезжему бросалось в глаза, что преобладающий цвет в Барнауле — черный. Днем и ночью, выползая из труб сереброплавильных печей, плыли над городом черные клубы ядовитого дыма, оседая густой копотью на домах, деревьях, траве. Дым этот с примесью сурьмы и колчедана был очень вреден для людей и животных, а куры от него просто дохли. Черными были улицы, вымощенные шлаком от сереброплавильных печей. Его называли плавильным соком или просто соковиной. По виду и твердости он напоминал черное битое стекло. Черными были ведущие в город дороги, по которым приписные крестьяне, погоняя усталых лошадемок, везли на завод в больших плетеных коробах руду и древесный уголь. В черный цвет были выкрашены особняки горных инженеров и чиновников. По воспоминаниям Семенова-Тян-Шанского, снаружи они не отличались особой красотой, «зато внутри их всё было убрано с комфортом и всё казалось жизнерадостным».²³ Остряки говорили, что черный цвет — это цвет горно-заводских дел. Нещадно эксплуатируя мастеровых и приписных крестьян, администрация Алтайского горного округа обеспечивала царю громадные прибыли, но немало наживалась и сама.

²³ Семенов-Тян-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань, с. 56.

Вторая поездка Достоевского в Кузнецк завершилась полным успехом. Офицерский мундир, возникшая уверенность в завтрашнем дне, а еще более — любовь и преданность, не раз доказанные им на протяжении двух с лишним лет, сделали свое дело — М. Д. Исаева дала согласие на брак.

27 января 1857 г., заняв 600 рублей у Ковригина (и еще кое у кого), Достоевский выехал из Семипалатинска в Кузнецк — на свадьбу. По дороге остановился ненадолго в Барнауле у Семенова, чтобы сделать необходимые покупки. «По несколько часов в день, — вспоминает Семенов-Тянь-Шанский, — мы проводили время в интересных разговорах и в чтении, глава за главой, его в то время еще не оконченных „Записок из Мертвого дома“, дополняемых устными рассказами. Понятно, какое сильное, потрясающее впечатление производило на меня это чтение...»²⁴

В мемуарах Семенова-Тянь-Шанского есть одна неточность. Он пишет, что Достоевский по дороге в Кузнецк прожил у него недели две в приготовлениях к свадьбе и на обратном пути — еще две недели, итого — месяц. Между тем из писем Достоевского известно, что он выехал из Семипалатинска не раньше 27 января, а вернулся 20 февраля, т. е. через три недели с небольшим (см.: П., I, 211 и 213). За это время проехал (на лошадях!) по зимним дорогам 1500 верст и около недели, видимо, провел в Кузнецке. Стало быть, на долю Барнаула остается не более 7—8 дней.

Из этого времени четыре дня на обратном пути провел в Барнауле не по своей воле. «В Барнауле со мной случился припадок, — писал он Врангелю, — и я лишних четыре дня прожил в этом месте (просрочил отпуск. — В. Г.). Припадок мой сокрушил меня телесно и духовно: доктор сказал мне, что у меня настоящая эпилепсия и предсказал, что если я не приму надлежащих мер <...> то в один из них задохнусь от горловой спазмы...» (П., I, 215). Так печально закончилось третье и последнее посещение Достоевским Барнаула.

И все же Алтай, думается, оставил добрую память в сердце писателя. В его письме Врангелю, написанном в сентябре 1859 г., уже из Твери, есть такие строчки: «Приезжайте же. Поговорим <...> об Сибири, которая мне теперь мила стала, когда я покинул ее <...> о милейших Змеиногорске и Барнауле, где я после Вас бывал довольно часто... ну да обо всем!» (П., I, 253).

Судьбе не угодно было сделать Достоевского хотя бы на некоторое время барнаульцем. К лучшему это или к худшему — кто знает... хотя для нас, понятно, это навсегда стало бы предметом особой гордости. Мы бережно храним в памяти все, что связано с кратковременным пребыванием великого писателя в нашем городе.

Имя Достоевского ныне носит одна из улиц Барнаула.

²⁴ Там же, с. 127.

ЗАМЕТКИ К ТЕМЕ «НЕКРАСОВ И ДОСТОЕВСКИЙ»

(40—60-е годы)

Тема «Некрасов о Достоевском» не раз освещалась в работах исследователей творчества и Достоевского и Некрасова — К. И. Чуковского, Л. П. Гроссмана, В. Е. Евгеньева-Максимова, А. Н. Лурье, М. М. Гина, В. А. Туниманова, Ф. И. Евнина и др.

Задача нашего сообщения — не останавливаясь на известном, поделиться некоторыми частными наблюдениями, имеющими прямое отношение к теме.

В пятом номере «Отечественных записок» за 1846 г. была напечатана (как почти всегда без подписи) рецензия на третий выпуск альманаха «Новоселье». В течение многих лет она приписывалась Тургеневу и печаталась в собраниях его сочинений. Сравнительно недавно В. Э. Боградом был найден и опубликован документ, не оставляющий сомнений в том, что рецензия эта принадлежит молодому Некрасову,¹ что позволило ввести ее в собрание сочинений писателя.²

Однако, как мне уже приходилось отмечать, комментаторы собраний сочинений Тургенева и Некрасова не обращали внимания на суждение в этой рецензии, имеющее несомненно в виду Достоевского и его «Бедных людей», хотя ни сам писатель, ни его роман здесь прямо не названы.³ Отзыв этот учтен, конечно, в Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского, но как анонимный, а не некрасовский (1, 471).

Начав отзыв о вошедшей в этот альманах повести Н. В. Кукольника «Старый хлам» самой общей оценкой — «Необходимо, хотя и выйдет плохой каламбур, сказать, что повесть вполне соответствует своему названию», — Некрасов подробно останавливается на ее содержании. Пересказывая повесть Кукольника так, что пересказ превращается по сути дела в пародию на нее, он замечает, в частности: «Ни тени мелодрамы! Естественно, оригинально, поразительно ново!.. И после этого, есть люди, которые осмеливаются тоже писать романы и даже несколько не стараются в них подражать г. Кукольнику, а идут своей дорогой, понимая по-своему естественность, оригинальность, художественность... Чудаки! Недаром „Иллюстрация“ удивляется их дерзости... Еще бы не удивляться! <...> Бедные, они потчуют публику все одним супом — вначале суп, в середине суп, под конец суп... у них нет и настолько смысла, чтоб понять, что одно кушанье приестся; — только г. Кукольник понял тайну романа и

¹ См.: Некрасовский сборник. М.; Л., 1956, т. 2, с. 412—413.

² См.: Некрасов Н. А. Собр. соч. М., 1967, т. 7, с. 119—136.

³ См. мою заметку «„Бедные люди“ или „Северная пчела“?» (Неделя, 1971, 6—12 дек., № 50, с. 9).

очень хорошо знает, что если сначала хорошо суп, так за ним всего лучше соус, а там жаркое, и так далее, и что в промежутках не худо чего-нибудь шипучего, трескучего — вот тогда и выйдет роман хоть куда...».⁴

В приведенном отрывке Некрасов бесспорно имеет в виду отзыв «Кукольника?» о «Бедных людях» в рецензии на «Петербургский сборник», появившийся еще в конце января в «Иллюстрации». Рецензию эту Достоевский сразу же в письме к брату квалифицировал как «ругательство» (П., I, 86; см. также: I, 471). Рецензент «Иллюстрации» Кукольника писал здесь, в частности, о «Бедных людях» как о «романчике», который не имеет «никакой формы и весь основан на подробностях утомительных и однообразных... подробности в романе похожи на обед, в котором вместо супа сахарный горошек, вместо говядины, соуса, жаркого и десерта — сахарный горошек».⁵ Именно этот опус автора «Старого хлама» и высмеивает, в частности, Некрасов в своей рецензии на «Новоселье».

Отзыв этот, как и вся рецензия Некрасова, — подтверждение того, что «Бедные люди», занимавшие в «Петербургском сборнике» по своему художественному и общественному значению центральное место, были восприняты как произведение, программное для «натуральной школы». Поэтому в развернувшейся сразу же после выхода «Петербургского сборника» полемике вокруг «Бедных людей» дело шло не только об оценке романа Достоевского, но и об отношении к «натуральной школе» (см.: I, 471).

Напечатанная в мае рецензия на «Новоселье» также отнюдь не рядовой отзыв об издании, не представляющем интереса в литературном отношении, как пишет комментатор Некрасова.⁶ Воспользовавшись тем, что в «Новоселье» были напечатаны повесть Кукольника, «Три искушения» Бенедиктова, статья-воспоминание Булгарина, молодой Некрасов дает бой вообще «старой риторической школе» с ее подменяющими живую жизнь трескучими эффектами, и прежде всего авторам направленных против «натуральной школы» рецензий на «Петербургский сборник».⁷ Именно поэтому высмеивает он и отзыв Кукольника о «Петербургском сборнике», подчеркивая в выделенном мной тексте естественность, оригинальность, художественность «Бедных людей» — произведения, по словам Некрасова, «чрезвычайно замечательного», которое именно он представил на суд Белинского.⁸

О том, как молодой Некрасов с Григоровичем, взволнованные,

⁴ Некрасов Н. А. Собр. соч., т. 7, с. 122—123, 125 (курсив наш. — М. Б.).

⁵ Иллюстрация, 1846, 26 янв., № 59.

⁶ Некрасов Н. А. Собр. соч., т. 7, с. 450—451.

⁷ Там же, с. 136.

⁸ См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1952, т. 10, с. 43. — Далее ссылки на это издание даются в тексте: римские цифры — том, арабские — страницы.

читали всю ночь эту рукопись — дебют никому не известного автора, — позднее вспоминали и сам Достоевский, и Григорович. Рассказал об этом и Некрасов в дошедших до нас фрагментах своей повести, известной под условным, не авторским, но ставшим уже традиционным названием «Как я велик! или Каменное сердце».

Фрагменты эти не дают достаточных оснований для решения вопроса о том, когда и в связи с чем возник замысел названной повести и была ли она завершена.⁹ Вопросы эти во многом до сих пор «представляют, — как справедливо отмечает Ф. -И. Евнин, — историко-литературную загадку».¹⁰ Но едва ли можно согласиться с исследователями, рассматривающими известные нам отрывки произведения Некрасова только как сатирическую повесть, памфлет.¹¹

Сравнение сохранившихся фрагментов повести с воспоминаниями Достоевского и Григоровича показывает, что достоверность рассказа Некрасова об истории литературного дебюта Достоевского — достоверность особого рода. События, послужившие основой для сохранившейся части повести, реальные лица, в них участвовавшие, здесь определенным образом осмыслены. Повествование подчинено замыслу: рассказать о Белинском-человеке и литературном деятеле, его роли в судьбе некоторых его современников, начинающих талантливых писателей, и прежде всего в судьбе молодого Достоевского, даже напомнить об этом, может быть, и самому Достоевскому (если предположить, что повесть создавалась после 1863 г., когда у Некрасова могли возникнуть сомнения в том, помнит ли это сам писатель).¹²

Несмотря на то что рукопись черновая (одни и те же герои повести выведены в разных местах ее даже под разными фамилиями: очевидно, что Мерцалов и Ветлугин — это одно лицо, Белинский; Чудов и Тростников — Некрасов и т. д.), на сохранившихся страницах воссозданы живые, психологически достоверные

⁹ Подробно о существующих в литературе данных см. в комментарии: А. Н. Лурье к тексту повести (VI, 523—580).

¹⁰ Рус. лит., 1971, № 3, с. 30.

¹¹ Есть на страницах этой повести и подлинно сатирическое освещение изображаемых лиц и событий. Так, в воссозданных здесь образах друзей и «литературных сочувственников» Мерцалова—Ветлугина нельзя не узнать, что известно, некоторые черты реальных лиц; однако сила сатирического обобщения в этом собирательном образе литераторов-дилетантов, мелкой окололитературной среды такова, что он не утратил интереса и в наши дни (см. об этом: Чуковский К. Плеяда Белинского и Достоевский. — В кн.: Некрасов Н. «Тонкий человек» и другие неизданные произведения. М., 1928, с. 189—230; Гин М. Достоевский и Некрасов: Два мировосприятия. — Север, 1971, № 11, с. 108).

¹² В сохранившихся отрывках почти текстуальное совпадение с высказываниями Белинского о Достоевском (ср.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956, т. 9, с. 476, 493, 549—555. — Здесь и переключка с отзывом Некрасова о «Бедных людях» в рецензии на «Новоселье»).

образы Белинского и молодого Достоевского, хотя, конечно, нельзя не почувствовать иронии Некрасова по отношению к болезненной мнительности, болезненному самолюбию Глазиевского (Достоевского), по отношению даже к его внешности.¹³

В дальнейшем, как известно, отношение Некрасова к творчеству Достоевского было далеко не однозначным. Определившееся вскоре расхождение между Достоевским и кругом «Современника» («Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди», — писал впоследствии Достоевский, — 26, 112) воспринималось настолько остро, что даже в 1849 г. поэт печатно (правда, в коллективном фельетоне в № 9 «Современника») причисляет себя к «небольшим охотникам» до «так называемых психологических повестей г-на Ф. Достоевского» (XII, 260).

Интересно в этой связи не привлекавшее внимания исследователей Достоевского свидетельство Добролюбова (более позднее) в статье «Забитые люди», опирающееся, несомненно, на воспоминания: «В половине 1849 года литературная деятельность его (Достоевского. — М. Б.) прекратилась, и литература не выразила при этом особенных сожалений. Если в течение десятилетнего молчания г. Достоевского иногда и вспоминали о нем, то разве затем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении за первую повесть, и о непомерном самолюбии, до которого довело его общее поклонение».¹⁴

Позднее, через десять лет, Некрасов, уже зрелый художник и опытный редактор, ценя талант Достоевского, стремясь поддержать его в ссылке, выражает желание напечатать в «Современнике» предложенную через брата Достоевского, по неизвестную повесть его. 26 августа 1859 г. он пишет М. М. Достоевскому: «Я всегда уважал и никогда не переставал любить Вашего брата — печатать его произведения в моем журнале мне будет особенно приятно. Уверен, что в условиях мы сойдемся легко» (X, 405—406).

Известно, что, получив для ознакомления «Село Степанчиково», Некрасов больше чем через месяц предложил условия, на которые Достоевский не согласился, посчитав их «торгашеством» редакции (см.: X, 407—408, где письмо воспроизводится по копии М. М. Достоевского — автограф его неизвестен, и П., II, 603). Но, думается, письмо Некрасова, его тон и содержание не дают для этого основания. И уж совсем никаких оснований нет для того, чтобы, приведя свидетельство П. Ковалевского о том, что Некрасов, прочитав «Село Степанчиково», будто бы «произнес (...) приговор: „Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего

¹³ Лицо молодого Глазиевского в спокойном состоянии «уподоблялось сероватой и мглистой осенней туче, готовой ежеминутно разрешиться дождем пополам со снегом и слякотью» (VI, 459). Нет ли в этом описании переклички с названием второй части «Записок из подполья» Достоевского — «По поводу мокрого снега»?

¹⁴ Добролюбов Н. А. Собр. соч. М.; Л., 1963, т. 7, с. 226.

больше“»,¹⁵ писать, что такое «отношение Некрасова не было исключением» (3, 505).

Однако читал «Село Степанчиково» Некрасов долго. Извиняясь перед Достоевским, он сообщал брату писателя в письме от 6 октября, что «долго медлил ответом» потому, что «еще давал его читать одному из ближайших сотрудников „Современника“» (X, 408). Сотрудником этим был, вероятно, Добролюбов, с которым Некрасов к этому времени очень сблизился. С августа 1858 по начало лета 1859 г. он, как известно, жил в одной квартире с Некрасовым и, по свидетельству Чернышевского, «проводил в комнатах Некрасова очень много времени <...> Тут они вместе читали рукописи, просматривали корректуры, говорили о делах журнала».¹⁶

За три месяца до того как Некрасов получил «Село Степанчиково», Добролюбов из-за перестройки дома вынужден был переехать на другую квартиру. О том, в каком тесном контакте продолжали они работать, свидетельствует хотя бы приписка Некрасова карандашом на письме Плещеева к Добролюбову: сообщение, что статью Пыпина отдал в типографию, просьба «поправить» «глупого враля Данилевского», и т. д. (X, 406). Все это касается № 10 1859 г. и написано, по-видимому, в двадцатых числах сентября.

Вспоминая первые шаги Достоевского в литературе, Добролюбов замечал, что два года тому назад писателю пришлось чуть ли не заново завоевывать читательские симпатии: «...имя его было уже слишком бледно пред новыми светилами, загоревшимися на горизонте русской словесности в последнее десятилетие», имея в виду Л. Толстого, Островского, Гончарова, Тургенева.¹⁷

К моменту же написания статьи были опубликованы уже «Униженные и оскорбленные», которым, как «лучшему литературному явлению года 1861-го» и посвящена собственно статья «Забитые люди», высоко оценившая талант Достоевского, его «гуманистическое направление».¹⁸ Известно, что именно в это время возобновляются и человеческие и литературные контакты между Некрасовым и Достоевским, писателем и редактором «Времени».

Однако в условиях наступившей в конце 1862—начале 1863 г. правительственной реакции, острой общественно-литературной борьбы, в которой и Некрасов, и Достоевский принимали, как известно, активное участие отнюдь не как единомышленники, контакты эти слабеют, а затем на длительное время обрываются.

¹⁵ Его воспоминания в литературе о Некрасове во многом недостоверны: их нет, в частности, в сборнике «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников» (М., 1971). См. об этом также в статье М. Гина «Достоевский и Некрасов: Два мировосприятия», с. 110.

¹⁶ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1939, т. 1, с. 725.

¹⁷ Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 7, с. 226.

¹⁸ Там же, с. 228, 244—245.

Возможно, что к Достоевскому относится еще одна резкая и несправедливая (если наше предположение верно), но также объяснимая исторически печатная «реплика» Некрасова в начале 1866 г., в которой имя Достоевского также не названо.

В мартовской книжке журнала за 1866 г., в пору «медленной агонии» «Современника» (XI, 53), поэт и редактор журнала, давно не выступавший на страницах литературно-критических отделов его, берется за перо, чтобы подвести итог «деятельности стихотворствующих россиян» (IX, 433). В этой «легкой» «статьке» (IX, 433, 442), возникшей, надо думать, в поисках наименее уязвимого в цензурном отношении материала и содержащей оценку вышедших недавно восьми очень разных сборников («Таинственная капля» Ф. Н. Глинки, «Стихотворения» М. А. Дмитриева, «Оттиски» Я. Полонского и др.), Некрасов выступает как подлинный мастер литературно-публицистического жанра.

Уничтожающей М. А. Дмитриева издевкой, гневом исполнены реплики, которыми поэт по своему обыкновению сопровождает цитаты из «творений» этого воинствующего реакционера, «обломка прошлого» (не случайно Некрасов пишет здесь и о его темпераменте), в которых видит «предчувствие приемов самих „Московских ведомостей“» (IX, 434).

Но едва ли самого М. Н. Каткова, как считает комментатор этой статьи Некрасова,¹⁹ имеет в виду автор «статьки», когда пишет о М. А. Дмитриеве, как авторе памятного ему еще по 1842 г. пасквиля «Безымянному критику», перепечатанному и в издании его 1866 г.: «Он <...> даже на *Белинского* (названного «безымянным критиком») *ополчается не хуже всякого современного писателя, подвизающегося на страницах „Русского вестника“*» (IX, 434; курсив наш. — М. Б.).

Начнем с того, что Катков был не «современным писателем, подвизающимся на страницах „Русского вестника“», а его бессменным редактором, которого Некрасов в ту пору едва ли и назвал бы «современным писателем». Кроме того, полемические выпады Некрасова, как известно, всегда остро злободневны. Что же было наиболее злободневно в это время для «Современника» на страницах «Русского вестника»?

С января 1866 г. здесь начал печататься роман Достоевского «Преступление и наказание». Уже в январском номере теория, порожденная, по мысли Достоевского, социалистическими идеями и как бы оправдывающая убийство Раскольниковым старухи-процентщицы («... с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка <...> всем вредная <...> С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки <...> Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу...»), характеризуется писателем как «самые

¹⁹ См.: Некрасов Н. А. Собр. соч., т. 7, с. 482.

обыкновенные и самые частые <...> молодые разговоры и мысли» (6, 54, 55).

Поэтому сразу же, в февральском номере «Современника», в анонимном обзоре «Журналистика» автор его Г. З. Елисеев пишет, что начало романа Достоевского «таково, что мы не можем его оставить без некоторого напутствия». ²⁰ Напоминая читателям, что «г-н Ф. Достоевский в начале своего литературного поприща, которое относится к сороковым годам, был одним из лучших представителей образовавшейся тогда так называемой *натуральной школы*», что некогда Белинский, рассматривая «Двойника», «находил в этом произведении высокие достоинства, но вместе с тем порицал его длину и фантастичность», Елисеев писал: «Что сказал бы Белинский об этой новой фантастичности г-на Достоевского, фантастичности, вследствие которой целая корпорация молодых юношей обвиняется в повальном покушении на убийство с грабежом?». ²¹ А в той же книжке, где была помещена рецензия Некрасова, он же писал: «Какою, например, разумною целью может быть оправдано изображение молодого юноши, студента, в качестве убийцы, мотивирование этих убеждений на целую студенческую корпорацию? Кому оказывается этим услуга, если не обскурантам, которые в распространении света видят причину всякого зла в мире?». ²²

Не исключено, что на какой-то момент по впечатлению от начала романа «Преступление и наказание» Некрасов, хотя и не называя Достоевского, поспешил названной «репликой» (в анонимной рецензии) выразить отношение к этой стороне напечатанной части нового романа.

Г. ХЕТСО

АВТОР СТАТЬИ — Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ? ¹

1

Известно, что художественное творчество у Достоевского шло рука об руку с журналистикой. Первая публицистическая статья писателя написана в 1845 г., последняя вышла в свет после его

²⁰ См. об этом: *Евгеньев-Максимов В. Е., Тизенгаузен Г.* Последние годы «Современника». Л., 1939, с. 328.

²¹ Современник, 1866, № 2, отд. II, с. 272—273, 277.

²² Там же, № 3, отд. II, с. 39.

¹ Печатаемая в настоящем сборнике статья норвежского ученого Г. Хетсо, другой вариант которой уже опубликован на английском языке (Scando-Slavica, Copenhagen, 1980, 26, 49—51; Dostoevsky Studies: J. of the Intern. Dostoevsky Soc., 1980, vol. 1, p. 73—88), редакция считает нужным предупредить читателей, что она лишь частично согласна с выводами автора. Главный недостаток работы Г. Хетсо, с точки зрения редакции, состоит в том, что предложенная им методика атрибуции текстов по лингвостили-

смерти. Притом Достоевский редактировал и возглавлял три журнала, имевших широкое влияние на русскую общественную мысль: «Время» (1861—1863), «Эпоха» (1864—1865), «Гражданин» (1873—1874) и издавал свой личный журнал «Дневник писателя» (1876—1877, 1880—1881). В Полном собрании сочинений публицистические работы Достоевского составляют несколько томов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что исследователи жизни и творчества Достоевского много внимания уделяли и уделяют его публицистике. Существует ряд специальных работ о политическом направлении издаваемых им журналов, о влиянии Достоевского-публициста на Достоевского-романиста. Двум его журналам посвящены монографии.² Тем не менее до сих пор остается открытым вопрос о том, принадлежит ли действительно Достоевскому ряд приписанных ему в ходе последующего изучения его наследия статей, печатавшихся в его журналах без подписи.

Плодотворное обсуждение проблем атрибуции Достоевскому анонимных статей «Гражданина» было проведено известным академиком В. В. Виноградовым.³ Наша же задача — решение на основе современной техники ЭВМ вопроса о принадлежности До-

стическим признакам с помощью электронно-вычислительной техники совершенно не учитывает жанровой, тематической и соответственно — стилистической неоднородности анализируемых автором статей. Кроме того, Г. Хетсо, сосредоточиваясь на статистическом обследовании текстов, отвлекается от обсуждения всего сложного комплекса вопросов, поднятых его предшественниками при обсуждении проблемы авторства той или иной статьи (например, статьи «Выставка в Академии художеств за 1860—1861 год»). С другой же стороны, он без всякого анализа готов приписать названную статью об академической выставке 1860—1861 гг. критику 60-х гг. Н. Сведенцову без применения защищаемых им методов точного лингвостилистического исследования, на основании одних наблюдений о смысловых, идейно-тематических параллелях между статьей о выставке и указанной в комментарии к академическому изданию (19, 319) статьей Сведенцова о Дале. Все это заставляет отнестись к выводам автора критически. Тем не менее методика Г. Хетсо, как представляется редакции, заслуживает внимания советских специалистов, а его выводы — дополнительного, более широкого обсуждения. Вот почему, выражая Г. Хетсо и коллективу его сотрудников благодарность за проделанную ими работу, редакция считает своим долгом, выполняя желание Г. Хетсо, познакомить с разработанной им методикой лингвостилистического анализа текста и результатами его работы также советских ученых-филологов, предлагая им высказаться по вопросам, поднятым возглавляемым Г. Хетсо коллективом норвежских ученых. Мнение редакции и коллектива сотрудников академического издания Полного собрания сочинений Достоевского по вопросу об авторстве рассматриваемых Г. Хетсо анонимных статей и о том, насколько обоснованным для части из них является предположение о возможной принадлежности их Достоевскому, изложены (особо для каждой статьи) в т. 27 Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского.

² Нечаева В. С. 1) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972; 2) Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975.

³ См.: Виноградов В. В. 1) О языке художественной литературы. М., 1959; 2) Проблема авторства и теория стилей. М., 1961; 3) Из анонимного фельетонного наследия Достоевского. — В кн.: Виноградов В. В. Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972, с. 185—211.

стоевскому ряду анонимных статей во «Времени» и «Эпохе». С просьбой принять участие в решении этого сложного вопроса к нам обратилась дирекция Института русской литературы АН СССР и Главная редакция Полного (академического) собрания сочинений Достоевского.

Сознавая трудность работы (в ряде случаев речь шла о довольно коротких текстах), мы согласились принять это лестное для себя предложение и разработали проект, исходя из списка статей, присланного нам Пушкинским домом. В материал бесспорно принадлежащих Достоевскому текстов вошли 26 статей (около 120.000 текстовых слов), а в материал приписываемых писателю текстов — 12 статей (около 58.000 текстовых слов).

Для перевода такого большого материала на язык ЭВМ и для получения необходимых частотных словарей и статистических данных потребовалось полгода. В марте 1979 г. от Норвежского совета по исследованиям в области гуманитарных наук были получены нужные нам средства для проекта (40.000 норвежских крон, т. е. около 5.000 рублей). Шесть месяцев спустя, не в последнюю очередь благодаря активному участию со стороны нашего консуланта по ЭВМ И. Фоннеса и нашего ассистента Т. У. Хельгакера, переведенные на язык машины тексты были обработаны на ЭВМ типа ДЕС-10 при вычислительном центре университета г. Осло.

В фундаментальном труде П. Вашака о методах определения авторства указываются три основных метода атрибуции:

А. Метод документальный и фактический, основанный на информации двух категорий: 1) исходящей от автора — например, рабочие тексты и автографы, переписка, дневники, автобиография и т. д.; 2) данных «неавторских», т. е. исходящих от всех лиц и учреждений, участвующих прямо или вторично в процессе генезиса и фиксации произведения. Утверждается, что «абсолютного документа» как однозначного доказательства авторства не существует.

Б. Метод идейно-тематический, основанный на конфронтации идей, идейного направления и тематики атрибутированного текста (произведения) и произведений предполагаемых авторов (литературных школ и поколений, периодов времени, и т. д.).

В. Метод языковой и стилистический, исходящий из понятия индивидуального стиля и состоящий в конфронтации лингвистических качеств атрибутированного текста и произведений предполагаемых авторов (литературных школ, направлений, периодов времени, и т. д.), с сосредоточением на подсознательных качествах писания.⁴ Мы ограничились вопросом о возможном авторстве Достоевского, исключительно исходя из метода «В», т. е. из метода языкового и стилистического. При этом важно подчеркнуть, что определение авторства в анонимных статьях

⁴ См.: Vašák P. Metody určování autorství. Praha, 1980, s. 201.

в нашу задачу не входит. Вопросов типа: «А если автор статьи не Достоевский, кто тогда мог бы написать ее?» — мы не принимаем и ниже будем давать ответы только на вопрос: есть ли, исходя из языковой информации, полученной с помощью ЭВМ, основание утверждать, что спорные, приписываемые Достоевскому статьи действительно написаны им?

Конечно, выделить из большого числа анонимных статей принадлежащие Достоевскому, не располагая документальными данными, представляется очень затруднительным делом, которое не исключает заблуждений даже со стороны самых крупных специалистов по стилистике.⁵

Главным источником установления авторства Достоевского являются данные Н. Н. Страхова в списке, переданном им вдове писателя А. Г. Достоевской (см.: 18, 209). В список этот Страхов включил свыше 20 статей и заметок. В начале 1860-х гг. Страхов был близким другом Достоевского. Надо думать, что, будучи постоянным сотрудником «Времени» и «Эпохи», он хорошо знал, какие из анонимных статей журналов действительно принадлежали перу писателя. Поэтому авторитетность атрибуции Страхова не подвергалась сомнению исследователей.

Но имеется и свидетельство самого Достоевского, что за два первых года сотрудничества во «Времени» он написал «до ста печатных листов». Хотя свидетельство это и следует считать, по мнению Б. В. Томашевского, преувеличенным, нельзя исключать возможности того, что для «Времени» и «Эпохи» действительно было написано больше статей, чем полагал Страхов.

Поэтому неудивительно, что исследователи жизни и творчества Достоевского давно стремились расширить круг статей, определенных Страховым. Серьезные попытки в этом направлении когда-то были сделаны независимо друг от друга Л. П. Гроссманом⁶ и О. фон Шульцем.⁷ Попытка последнего отличается особенной степенью гипотетичности. Основываясь главным образом на идеологических и тематических параллелях с бесспорно принадлежащими Достоевскому статьями, фон Шульц указал на семь статей, по его мнению, несомненно принадлежащих писателю, и на девять статей, вероятность принадлежности которых велика, но окончательной уверенности в этом он не имел.

Вскоре выяснилось, однако, что некоторые из атрибуций фон Шульца были более чем рискованы. Так, в рецензии на его ра-

⁵ Об исключительной трудности установления авторства анонимных статей в «Гражданине» свидетельствует тот факт, что из приписываемых Достоевскому академиком В. В. Виноградовым статей, как установила редакция академического издания Полного собрания сочинений Достоевского, рецензия на роман А. Пальма «Алексей Слободин», а возможно, и статья о «Соборнах» Н. Лескова принадлежат В. П. Мецкерскому.

⁶ См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Пб., 1918, т. 22—23 (далее ссылки на это издание обозначаются «Гросс», с указанием тома и страниц).

⁷ *Schoultz O. von. Ein Dostojewskij-Fund. — Commentationes humanorum litterarum, Helsingfors, 1924, I, 4* (далее — *Schoultz*).

боту Н. К. Пиксанова указывалось, что в состав «несомненно» принадлежащих Достоевскому статей попала одна статья Страхова.⁸

Работа фон Шульца наглядно показывает слабость и опасность методики определения авторства на основании одних субъективных впечатлений ученого. Она свидетельствует, что при решении проблем атрибуции идеологические, тематические, биографические и даже текстуальные сближения не всегда могут иметь безусловную доказательность. При единстве воззрений сотрудников «Времени» и «Эпохи» и при тесной сплоченности их в редакционной работе неудивительно, что они нередко повторяли друг друга. И даже если допустить, что Достоевский принимал активное участие в подготовке анонимных статей к печати, было бы методологически неверно приписывать ему статьи, которые он только редактировал. В этом отношении показательным, что фон Шульц в своем стилистическом анализе ограничивается указанием на сходство анонимных статей с заведомо принадлежащими Достоевскому статьями, а о стилистических различиях не упоминает.

Таким образом, методика одних субъективных стилистических сопоставлений нередко толкает исследователей на опасный путь, где желаемое часто выдается за действительное. Недаром В. В. Виноградов, ратуя за перенесение проблемы авторства на почву объективно-исторических и лингвистико-статистических методов, пишет, что «субъективные методы определения автора и реконструкции адекватного авторского текста отжили или, во всяком случае, отживают свой век».⁹

Гораздо более объективен метод показаний, включающий сопоставительный анализ языка и стиля изучаемых текстов с помощью ЭВМ. Характерным признаком этого лингвистико-статистического метода определения авторства является использование в качестве идентификаторов объективных характеристик. Установив, что предполагаемый автор имел возможность написать спорный текст (например, что он был в живых, когда текст был написан), мы должны в его бесспорных произведениях найти как можно более инвариантных явлений, по которым можем судить, соответствует ли спорный текст в лингвистическом отношении его бесспорным произведениям. Если соответствует, то предполагаемый автор является претендентом на авторство спорного текста, а если не соответствует, то мы можем в дальнейшем исключить его из числа претендентов.

Именно понятие *исключения* является во всех определениях спорного авторства коренным понятием. Надо приступить к делу, полагая (подобно Шерлоку Холмсу), что истину можно найти только путем исключения невозможного. Таким образом, исходя

⁸ Печать и революция, 1925, № 2, с. 249—251.

⁹ Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей, с. 159.

из методики языковых показаний, *нельзя доказать*, что та или иная статья написана Достоевским. Даже если язык в спорной статье обнаруживает большое сходство с языком бесспорно принадлежащих писателю статей, все же остается по крайней мере теоретическая возможность того, что она написана другим писателем, близким по манере письма Достоевскому.¹⁰

В самом деле, существует только одно несомненное доказательство факта принадлежности произведения писателю, а именно отсутствие сомнений в его авторстве. В случае же возникновения сомнения в авторстве произведения нам остается создать «нулевую» гипотезу о том, что нет существенной разницы между языком, обнаруженным в спорной статье, и языком, обнаруженным в одновременно написанных бесспорных статьях. Если на основании ряда параметров и с помощью математической статистики оказывается, что эту гипотезу следует отвергнуть, то мы имеем право исключить и возможность того, что текст написан интересующим нас писателем.

Можно возразить, что метод анализа «формальных характеристик» текста, позволяющий нам исключить, но не подтвердить авторство произведения, имеет свои ограничения. Но это не значит, что применяемая нами методика может служить лишь вспомогательным средством в руках исследователя, занимающегося проблемой определения авторства. Мы имеем дело с мощным орудием, имеющим самостоятельную, хотя только отрицательную доказательную силу. На наш взгляд, если спорная статья имеет достаточно значительный объем, скажем 3.000—4.000 текстовых слов, и при этом существенно отличается по языку и стилю от заведомо принадлежащих Достоевскому статей, то было бы весьма смело включить ее в собрание сочинений писателя, во всяком случае в основной текст собрания.

2

Ниже приводится список из 12 статей, которые в разное время различными исследователями приписывались Достоевскому. У Томашевского обсуждается и ряд других статей и заметок (см.: XIII, 610—614). Но во всех этих случаях аргументы против авторства Достоевского представляются вполне убедительными.¹¹

Что касается выбранных нами для проверки статей, то следует отметить, что выдвинутые для них аргументы в пользу авторства Достоевского обладают неодинаковой силой. Поэтому в одних слу-

¹⁰ Так, недавно в прессе сообщалось о том, что ЭВМ «нашла» новую пьесу Шекспира. Однако в действительности доказано лишь то, что данная пьеса («The Brooke of Sir Thomas More») по языку и стилю настолько близка к шекспировским пьесам, что нельзя исключить ее принадлежность перу Шекспира.

¹¹ Сюда относятся, например, отрывок «Не тронь меня», дважды приписанный Достоевскому Л. П. Гроссманом (см.: Творчество Достоевского. 1821—1881—1921. Одесса, 1921, с. 111—120; Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому: Материалы, библиография и комментарии. М.; Пг., 1922, с. 82—92).

чаях (например, № IV и VII) об авторстве Достоевского учеными говорилось вполне уверенно, в других же случаях (например, № X и XII) ими допускалось, что статьи эти могли быть написаны и другими лицами. Так как утверждение об авторстве Достоевского в этих случаях представляется спорным, мы отказались от привлечения подобного материала.

Далее мы вернемся к конкретному обсуждению проблемы авторства Достоевского для указанных 12 статей. Здесь же приведем их названия, сопровождая каждое краткими комментариями и указанием длины текста.

I. «Письмо постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г-на Панаева и „Нового поэта“». — *Время*, 1861, № 1, с. 46—54.

Статья помещена с подписью «Посторонний критик». Приписал ее Достоевскому Оскар фон Шульц, оговорившись, правда, что «пока не имеет вполне достаточно доказательств» (*Schoultz*, S. 7—8). Атрибуция фон Шульца была отвергнута Б. В. Томашевским, который считал свидетельство С. А. Венгерова о принадлежности статьи А. Ф. Писемскому «достаточно авторитетным» (XIII, 609). Со ссылкой на атрибуцию Венгерова статья указана И. Ф. Масановым в числе принадлежащих Писемскому в «Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» (М., 1957, т. 2, с. 374). Не сомневается в авторстве Писемского и В. С. Нечаева (*Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», с. 234*), отмечая, однако, что в редакторской книге журнала «Время» имени Писемского нет (там же, с. 261). В. Туниманов, комментируя статью для т. 27 академического Полного собрания сочинений Достоевского, в котором она перепечатывается в отделе «Dubia», отвергает свидетельство Венгерова, приводя ряд новых убедительных аргументов в пользу возможной принадлежности данного текста Достоевскому. Слов 5804, предложений 338.

II. «Гаваньские чиновники в их домашнем быту, или Галерная гавань во всякое время дня и года. (Пейзаж и жанр) Ивана Генслера. „Библиотека для чтения“. Ноябрь и декабрь 1860». — *Время*, 1861, № 2, с. 139—150.

Рецензия напечатана без подписи. Предположительно внесена Б. Ф. Егоровым в Библиографию критики и художественной прозы Ап. Григорьева (см.: Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, 1960, вып. 98, с. 236). К мнению Егорова присоединяется В. В. Виноградов, отмечая, однако, в рецензии правку Достоевского (см.: Рус. лит., 1964, № 2, с. 77). А. А. Григорьев числится автором статьи и в росписи В. С. Нечаевой, хотя с вопросительным знаком (*Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», с. 235*). Внесена В. В. Тунимановым в отдел «Dubia» (см.: 27, 145—155). Слов 3.328. Предложений 203.

III. «Противоречия и увлечения „Времени“». — *Время*, 1861, № 8, с. 135—142.

Статья опубликована без подписи. Несмотря на то что статья, по мнению Л. П. Гроссмана, близко напоминает «идейный строй и литературную манеру Достоевского», она при отсутствии более точных данных не была включена им в собрание сочинений писателя (см.: *Гросс*, XXII, XXV—XXVI). Б. В. Томашевский тоже пишет, что «достаточных указаний на принадлежность ее Достоевскому не имеется» (XIII, 611). По мнению В. С. Нечаевой, перед нами статья, несомненно принадлежащая редакции журнала (см.: *Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха»*, с. 263), у нее автором статьи числится М. М. Достоевский, но с вопросительным знаком (там же, с. 240). Слов 1.988. Предложений 123.

IV. «Выставка в Академии художеств за 1860—1861 год». — *Время*, 1861, № 10, с. 147—168; XIII, 529—547; 19, 151—168.

Статья помещена без подписи. Принадлежность статьи Достоевскому доказывалась уже Л. П. Гроссманом, включившим ее в собрание сочинений писателя (*Гросс*, XXII, 108—141). Полную уверенность в написании ее Достоевским выражал и О. фон Шульц. Более осторожен Б. В. Томашевский, включивший статью в отдел статей, приписываемых Достоевскому. Предположение Томашевского о возможности ее написания Платоном Кусковым (XIII, 608) убедительно опровергнуто В. С. Нечаевой, выдвигающей, в свою очередь, предположение о том, что первые 5 страниц написаны Достоевским, а следующие 22 страницы Я. П. Полонским (*Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время»*, с. 263—264). Подробно обсуждается вопрос об авторстве этой статьи Г. М. Фридендером, включившим ее — хотя и с оговорками о возможности участия в ее написании М. М. Достоевского — в основной корпус академического издания. Слов 7.229. Предложений 380.

V. «Ряд статей о русской литературе. Вопрос об университетах». — *Время*, 1861, № 11, с. 76—104, 187—210.

Статья напечатана без подписи. Она является второй из двух статей, помещенных под общим заголовком «Ряд статей о русской литературе. Статья пятая». Принадлежность Достоевскому первой из этих статей удостоверяется списком Страхова (см. настоящее исследование, 2.I. № 5).

Признавая вероятность принадлежности первой главки второй статьи М. М. Достоевскому, В. С. Нечаева приписывала вторую главку статьи Ф. М. Достоевскому (*Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время»*, с. 144—148). Г. М. Фридендер, включивший статью в отдел «Приложения» к т. 19 Полного собрания сочинений писателя, пришел к следующему выводу: «Скорее всего Ф. М. Достоевский принимал значительное (если не основное) участие в написании начала и конца статьи, материал для средней ее части (с. 188—202) подготовлен кем-то другим (М. М. Достоевским? Н. Н. Страховым?); хотя и она, по видимому, несет на себе определенные следы редактуры писателя» (19, 339). Слов 5.571. Предложений 320.

VI. «Николай Александрович Добролюбов. Некролог». — Время, 1861, № 11, с. 31—32.

Статья помещена без подписи. Вопрос о ее принадлежности Достоевскому поставлен в книге: Первая всесоюзная межвузовская конференция по проблемам изучения и преподавания литературой критики в высшей школе. Л., 1974, с. 53—60. Слов 261. Предложений 15.

VII. «Рассказы Н. В. Успенского». — Время, 1861, № 12, с. 179—183; XIII, 547—555; 19, 178—186.

Статья опубликована без подписи. Она впервые была приписана Достоевскому Л. П. Гроссманом, включившим ее в Собрание сочинений писателя (*Гросс*, XXII, 145—160). Принадлежность статьи Достоевскому доказывает и О. фон Шульц (*Schultz*, S. 41 ff.). Однако, по мнению Б. В. Томашевского, включившего ее только в отдел *Dubia*, вопрос не следует считать решенным. С другой стороны, почти полную уверенность в принадлежности статьи Достоевскому высказывает Г. М. Фридлиндер, включивший ее в основной корпус (см.: 19, 178—186). Слов 3.443. Предложений 167.

VIII. «Полемический случай с „Основой“ и „Сионом“». — Время, 1861, № 12, с. 114—116.

Статья помещена без подписи. Упомянув статью как близко напоминающую «идейный строй и литературную манеру Достоевского», Л. П. Гроссман все же при отсутствии более точных данных не считал возможным включить ее в Собрание сочинений писателя (см.: *Гросс*, XXII, XXV—XXVI). Б. В. Томашевский тоже считает, что нет достаточных указаний на принадлежность статьи Достоевскому (XIII, 611). Следуя за Томашевским, В. С. Нечаева пишет, что принадлежность ее Достоевскому «не доказана» (*Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха»*, с. 265). Слов 816. Предложений 26.

IX. «Дворянин, желающий быть крестьянином». — Время, 1861, № 12, с. 117—123.

Статья напечатана без подписи. Отмечая в статье сходство с журнальными приемами Достоевского, Б. В. Томашевский пишет, что нет достаточных оснований включать ее в Собрание сочинений писателя. С ссылкой на Томашевского В. С. Нечаева тоже заключает, что принадлежность статьи Достоевскому «не доказана» (*Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха»*, с. 265). Слов 2.091. Предложений 74.

X. «Политическое обозрение». — Эпоха, 1864, № 19, с. 1—26.

Статья помещена без подписи. Судя по редакторской книге журнала, обозрение это принадлежит А. А. Голованеву. На возможную принадлежность начала его Достоевскому впервые указала В. С. Нечаева (см.: *Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха»*, с. 80—82, 270). Слов 8.946. Предложений 380.

XI. «Наши домашние дела». — Эпоха, 1864, № 12, с. 1—28.

Статья напечатана без подписи. На возможное участие в ней Достоевского впервые указала В. С. Нечаева. Считая, что первые

шесть страниц обзора принадлежат Достоевскому, она приписывает остальную его часть А. У. Порецкому, написавшему в «Эпохе» ряд статей с тем же заголовком (см. *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», с. 44—47, 259, 271). Слов 8.391. Предложений 277.

XII. «Политическое обозрение. Общий обзор главнейших политических событий прошедшего года». — Эпоха, 1864, № 12, с. 1—32.

Статья опубликована без подписи. Исходя из сведений редакторской книги журнала, В. С. Нечаева автором статьи считает К. Немшевича, хотя и с вопросительным знаком. Вместе с тем она предполагает участие в ней Достоевского (см.: *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», с. 83—84, 259, 271). Слов 10.171. Предложений 354.

3

Надежность лингвостатистических методов в значительной степени увеличивается объемом и однородностью материала, выбранного для сопоставления. В идеале следует выбирать только авторскую речь, исключая разговоры и мысли персонажей. Очень строго соблюдался этот принцип в выборе материала для скандинавского исследования авторства «Тихого Дона». Единицей выбора материала для сопоставления в этом исследовании служил абзац. Но если в каком-нибудь абзаце были малейшие признаки, кроме авторской, речи персонажа, — абзац этот заменялся другим, содержащим только авторскую речь. Необходимо признать, что на этот раз перед нами задача гораздо более трудная. Дело, в первую очередь, в том, что некоторые из спорных текстов состоят всего лишь из двух-трех страниц, что сильно усложняет решение задачи. Все же для перевода текстов на язык компьютера мы решились включить все предложения, написанные прозой и явно принадлежащие перу Достоевского, даже в тех случаях, когда он подражает другим писателям (см., например, XIII, 304; ср.: XIII, 334). Предложения, в которых содержатся цитаты, принимались с условием, чтобы чужой материал не превышал 10 слитно написанных слов. Таким образом включались предложения типа: «„Придирка, да еще смешная!“ скажут нам просветители» (XIII, 114). Включались в материал и предложения, в которых содержатся заглавия книг, картин, статей, за исключением случаев перечислений таких заглавий (например: XIII, 540). С другой стороны, исключались из материала, разумеется, все предложения, взятые Достоевским у других писателей, а также сноски, стихотворные вставки и заголовки статей.

На основании предварительных исследований языковой почерк Достоевского-публициста мы сочли целесообразным установить, исходя из следующих параметров:

1. Общее распределение частей речи в первых двух и в последних трех позициях предложения.
2. Распределение частей речи в первой позиции предложения.
3. Распределение частей речи во второй позиции предложения.
4. Сочетание частей речи в первых двух позициях предложения.
5. Распределение частей речи в третьей с конца позиции предложения.
6. Распределение частей речи в предпоследней позиции предложения.
7. Распределение частей речи в последней позиции предложения.
8. Сочетание частей речи в последних трех позициях предложения.
9. Средняя длина слова в буквах, вычисляемая на основании выборок размером в 500 текстовых слов.
10. Общее распределение длины слова.
11. Средняя длина предложения в словах, вычисляемая на основании выборок размером в 30 предложений.
12. Общее распределение длины предложения.
13. Лексический спектр текста на уровне словаря.
14. Лексический спектр текста на уровне текста.
15. Индекс разнообразия лексики.

Принимая эти параметры в нашем исследовании, мы пользовались ручным кодированием предложений, а потом обрабатывали полученный материал с помощью ЭВМ. При этом мы старались применять определения частей речи, предлагаемые в «Грамматике русского языка», изданной АН СССР (М., 1956—1960. Т. 1—2). Правда, эти определения были приняты с некоторыми отклонениями, вызванными тем обстоятельством, что в нашем распоряжении было всего 10 цифр (0—9), из которых две были предназначены для обозначения запятой (цифра 9) и терминатора, т. е. точки, многоточия, вопросительного и восклицательного знаков (цифра 8). Поэтому в категорию «Наречие» вошли, кроме наречий, и частицы, а также междометия.

Применение указанных параметров при исследовании текста названных статей привело к результатам, отраженным суммарно в следующей таблице (здесь «плюс» обозначает совпадение (или близость) данного характера соответствующему параметру авторизованных текстов Достоевского, «минус» — противоположный, отрицательный результат сопоставления, а «0» — практическую невозможность получения в данном случае вполне определенного ответа). Постараемся коротко прокомментировать полученные результаты.

Текст I. «Письмо постороннего критика».

Результат наших вычислений — 15 плюсов. Это означает, что у нас нет возможности установить уловимые по нашим 15 параметрам стилистические различия между этим текстом и текстами, составляющими корпус Достоевского. Как отмечено выше, исходя

Параметры	Тексты											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-
2	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-
3	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-
4	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	-
5	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-
6	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-
7	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-
8	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-
9	+	+	+	-	-	0	+	0	+	-	-	-
10	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-
11	+	+	+	+	+	0	+	0	+	-	-	-
12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
14	+	+	+	-	+	0	+	+	+	-	+	-
14	+	+	+	-	+	0	+	+	+	-	-	-
15	+	+	+	-	+	0	+	0	+	-	-	-

из методики языковых показаний, нельзя *доказать*, что эта статья действительно написана Достоевским, но нет и убедительных стилистических аргументов против его авторства. Поэтому можно согласиться с В. А. Тунимановым, что статья эта заслуживает включения в раздел «Dubia».

Текст II. «Гаваньские чиновники в их домашнем быту...».

Результат наших вычислений — 14 плюсов и 1 минус — также весьма показателен, давая исследователям, на наш взгляд, право включить также и ее в раздел «Dubia». Конечно, исключить полностью ее принадлежность А. Григорьеву мы можем только на основании анализа большого числа одновременно написанных им статей. Но это — задача будущего.

Текст III. «Противоречия и увлечения „Времени“».

Результат наших вычислений предельный и здесь — 15 плюсов. Возражая против включения этой статьи в Полное собрание сочинений Достоевского, Л. П. Гроссман писал: «Имея постоянно в виду необходимость строжайшего отбора при определении автора анонимных материалов, мы не включили в это Собрание целого ряда статей, близко напоминающих идейный строй и литературную манеру Достоевского, но не представляющих достаточных указаний на его авторство» (Гросс, XXII, XXV). Конечно, осторожность ученого вполне правомерна. Отметим, однако, что язык и стиль данной статьи, по нашему мнению, намного ближе к корпусу статей Достоевского, чем статья «Два лагеря теоретиков», авторство которой тот же Гроссман считал несомненным (Гросс, 123). На основании большого стилистического сходства текста III с бесспорно принадлежащими Достоевскому статьями, мы склоняемся к включению его в раздел «Dubia».

Текст IV. «Выставка в Академии художеств за 1860—1861 год».

Результат наших вычислений — 2 плюса и 13 минусов — говорит против принадлежности статьи Достоевскому. На наш взгляд, включение ее в корпус (см.: 19, 151—168) представляется рискованным. В лучшем случае можно было бы включить ее в раздел «Dubia», как это в свое время сделал Б. Томашевский, но не в основной корпус произведений писателя. Правда, в данной статье высказываются взгляды об искусстве, о живописи, о дагерротипизме, которые во многом совпадают с положениями бесспорно принадлежащих Достоевскому статей. Однако нельзя сказать, что взгляды эти отличаются особой оригинальностью. Напротив, как свидетельствует комментарий к этой статье (19, 319—321), они высказывались и другими сотрудниками почвеннических журналов начала 60-х гг. В частности, это относится к высказанному в «Выставке в Академии художеств» предостережению об опасности дагерротипизма. Как указал Г. М. Фридендер, сходные мысли о вреде дагерротипизма в искусстве развиваются в рецензии Н. И. Сведенцова «Сочинения В. Даля» (Светоч, 1862, № 3, отд. III, с. 23—38). Г. М. Фридендер отметил и то, что в конце «Выставки в Академии художеств» анонимный автор высказывает намерение написать рецензию о сочинениях Даля. Таким образом, рецензия, опубликованная в «Светоче», в известном смысле воспринимается как продолжение статьи во «Времени».

Текст V. «Ряд статей о русской литературе. Вопрос об университетах».

Результат наших вычислений — 12 плюсов и 3 минуса — можно признать достаточно красноречивым. С точки зрения нашей методики, можно включить статьи в отдел «Dubia», как это и сделано (см.: 19, 187—210). Особенно важно учесть длину статьи: 5.571 слово. При таком объеме ее наши параметры должны действовать надежно.

Текст VI. «Николай Александрович Добролюбов. Некролог».

Результат наших вычислений — 10 плюсов и 0 минусов — с первого взгляда может показаться положительным, но на самом деле это не так. Оказывается, что длина текста (261 слово) так мала, что в 5 из 15 случаев наши параметры не действуют. Судя на основании других экспериментов,¹² объективные характеристики текста в принципе не дают возможности установить авторство текстов небольшого объема (100—300 словоупотреблений). В данном случае мы можем только подтвердить эти итоги: исходя из нашей методики, при сравнении короткого текста с большим корпусом текстов будет слишком легко получить «положительные» результаты. Поэтому установить с достаточной надежностью принадлежность этой статьи Достоевскому, ориентируясь лишь

¹² См.: *Батов В. И., Сорокин Ю. А.* Атрибуция текста на основе объективных характеристик: Итоги эксперимента. — *Изв. АН СССР. Сер. лит и яз.*, 1975, т. 34, № 1, с. 76—78.

на объективные характеристики текста, не представляется возможным. На наш взгляд, было бы весьма рискованно включить эту статью в собрание сочинений Достоевского, даже в раздел «Dubia».

Текст VII. «Рассказы Н. В. Успенского».

Результат наших вычислений — 15 плюсов при 0 минусов — предельно положительно надежен, особенно если принять во внимание большую длину статьи. В этом случае результаты нашей методики полностью совпадают с результатами методики внешних показаний, выдвинутыми Г. М. Фридендером и А. И. Батюто. Можно спорить лишь о том, следует ли эту статью включить в основной корпус произведений писателя, как это сделано в Полном собрании сочинений (19, 178—186), или в раздел «Dubia».

Текст VIII. «Полемический случай с „Основой“ и „Сионом“».

Результат наших вычислений — 12 плюсов при 0 минусов — может показаться говорящим скорее в пользу авторства Достоевского. Но и здесь нужно принять во внимание краткость текста — всего только 816 слов. Трудно поэтому дать надежный ответ на вопрос о принадлежности статьи Достоевскому. Думается, что ее можно в лучшем случае включить в раздел «Dubia».

Текст IX. «Дворянин, желающий быть крестьянином».

Результат наших вычислений — 15 плюсов при 0 минусов — свидетельствует о близости стилистическому почерку Достоевского. Во всяком случае нельзя на основании нашей методики исключить возможность написания статьи писателем. Правда, длина текста — 2091 слово — маловата для того, чтобы с достаточной уверенностью включить ее в основной корпус его произведений. Думается, что статья заслуживает включения в раздел «Dubia».

Текст X. «Политическое обозрение».

При большой длине статьи (8946 слов) и при полученном результате (15 минусов) вряд ли может быть сомнение в том, что эта статья отношения к Достоевскому не имеет. Включить такую глубоко чуждую по языку и стилю Достоевского статью даже в раздел «Dubia» было бы, на наш взгляд, непростительной ошибкой.

Текст XI. «Наши домашние дела».

Результат наших вычислений — 2 плюса при 13 минусах, — явно не говорит в пользу авторства Достоевского. Даже если допустить, что писатель в качестве редактора оставил свой отпечаток на начале статьи, этого, разумеется, недостаточно для включения ее даже в раздел «Dubia».

Текст XII. «Политическое обозрение. Общий обзор главнейших политических событий прошедшего года».

На основании наших вычислений — сплошных минусов по всем параметрам — можно, при большой длине статьи (10.171 слово), с полной уверенностью исключить возможность принадлежности ее Достоевскому.

В начале предисловия к подготовленному им двадцать второму, дополнительному, тому «Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского» в издании «Просвещение» Л. П. Гроссман писал в 1918 г.:

«В существующие „Полные собрания сочинений Ф. М. Достоевского“ включено далеко не все, написанное им. При отсутствии критического издания его сочинений большинство читателей до сих пор лишено возможности знакомиться с целыми отделами анонимной публицистики Достоевского и с многочисленными вариантами различных печатных редакций, сквозь которые часто проходили его художественные произведения, прежде чем получить свой окончательный текст.

Ввиду непрерывного роста и углубления критического и читательского интереса к творчеству Достоевского, когда каждая написанная им строка приобретает первостепенную ценность, кажется совершенно недопустимым, чтобы многие сотни напечатанных им страниц продолжали оставаться вне читательского кругозора. Нам показалось необходимым извлечь их из забытых книжек старых журналов и снова обратить на общее пользование» (см.: *Гросс*, XXII, 20).

Конечно, нельзя не согласиться с точкой зрения Гроссмана. Но само усердие исследователя ознакомить читателей с «анонимной публицистикой Достоевского» чревато и великой опасностью, а именно опасностью включения в собрание сочинений писателя не принадлежащих ему статей.

К сожалению, в истории любой, в том числе русской, литературы можно указать на ряд случаев, где исследователи, ограничиваясь лишь указанием на совпадение или близость идей, приписывали анонимные сочинения тому или иному крупному писателю. Именно таким образом, отмечает и академик В. В. Виноградов, приписано Белинскому много анонимных статей в тех журналах, в которых он был руководящим критиком, и те же принципы применялись и по отношению к публицистическим статьям Салтыкова-Щедрина и Герцена, которые, подобно Достоевскому, были редакторами журналов, где сплошь и рядом появлялись анонимные, идейно близкие к редакции статьи.¹³ «Методика сопоставления или отождествления содержания анонимного сочинения с тематикой произведений подходящего писателя, — указывает Виноградов, — самый слабый пункт современных атрибуций, направленных по пути бездоказательного пополнения сокровищницы творчества передовых представителей русской литературы XIX, а отчасти и XX века всякого рода сомнительными анонимными сочинениями».¹⁴

Таким образом, при установлении автора анонимных произведений необходимо соблюдать строжайшую осторожность. Запом-

¹³ Виноградов В. В. О языке художественной литературы, с. 306—307.

¹⁴ Там же, с. 305—306.

ним слова Брюсова о чрезмерном усердии исследователей приписывать анонимные произведения Пушкину: «Наводнять сначала журналы сомнительными сенсациями с именем Пушкина, а потом сочинения Пушкина сомнительными страницами есть подлинный грех перед русским обществом. За эфемерную и легко добываемую славу „открывателей“ должны будут горько расплачиваться русские читатели».¹⁵

Полностью присоединяясь к мнению Виноградова, что ссылка «на совпадение идей, выраженных в анонимном и псевдонимном сочинении, с мировоззрением, со взглядами того или иного автора может быть дополнительной лишь в том случае, если будет убедительно показана общность стилистических принципов воплощения «одинаковых идей»,¹⁶ мы в настоящем исследовании постарались установить некоторые важные стилистические принципы публицистики Достоевского и обследовать, насколько похожи на эти принципы язык и стиль приписываемых ему статей. На наш взгляд, этот метод, в котором все параметры были оговорены *до начала предпринятой работы*, представляет собой едва ли не единственный объективный подход к проблемам установления спорного авторства. Конечно, можно возразить, что применяемые нами 15 параметров раскрывают далеко не все стилистические принципы писателя. Но несомненно и то, что все эти широко употребляемые параметры, пользующиеся в стилометрии репутацией большой надежности, раскрывают некоторые весьма существенные стилистические принципы.

В этом отношении важно отметить, что выбранные нами объективные параметры *действуют вместе*, позволяя нам *в своей совокупности* исключить возможность принадлежности Достоевскому ряда анонимных статей. Хотя некоторые параметры коррелятивны, но это вряд ли единственное объяснение. Предпринятое нами исследование указывает на то, что раз установлена определенная тенденция к исключению возможности принадлежности Достоевскому какого-нибудь текста, она будет усиливаться при привлечении новых параметров. Уже с помощью первых восьми параметров, касающихся распределения и сочетания частей речи в начале и в конце предложения, была отмечена явная тенденция к исключению нескольких текстов, а с прибавлением еще семи параметров, и при этом достаточно различных, эта тенденция лишь только усилилась. Есть основание думать, что с прибавлением новых параметров тенденция эта будет еще более очевидной.

Возьмем для примера наличие в беспорных текстах Достоевского высокочастотных, «ключевых» слов. Под термином «ключевое слово» мы подразумеваем слово, которое употребляется писателем значительно чаще, чем у других писателей. При этом

¹⁵ Брюсов В. Мой Пушкин. М.; Л., 1929, с. 194.

¹⁶ Виноградов В. В. О языке художественной литературы, с. 311.

в исследованиях о спорном авторстве лучше всего пользоваться не «полнозначными» существительными, глаголами или прилагательными, а так называемыми «строевыми» словами, такими, которые употребляются часто и независимо от темы и жанра произведения.

В настоящем исследовании мы условно определили «ключевое слово» как слово, встречающееся в корпусе подлинных произведений Достоевского в среднем более чем один раз на каждую тысячу текстовых слов (т. е. с относительной частотой 0.100+) и минимум в три раза чаще, чем в научно-публицистических и газетно-журнальных материалах, применяемых в «Частотном словаре русского языка» под редакцией Л. Н. Засориной (М., 1977). Интуитивно предположилось, что именно с таким строгим определением легче всего найти самые характерные для Достоевского ключевые слова.

С помощью предоставленного компьютером словника языка Достоевского, в котором слова расположены в порядке убывания их частот, было найдено 7 таких слов, которые несомненно принадлежат к излюбленным словам Достоевского-публициста. Каждое из них употребляется писателем с частотой от семи до трех раз большей, чем в словаре Засориной:

	Тексты Достоевского 119.107 слов		Тексты Засориной около 500.725 слов	
	Частота	Относительная частота	Частота	Относительная частота
1) хоть	223	0.187	129	0.026
2) слишком	126	0.106	91	0.018
3) ведь	372	0.312	293	0.059
4) уж	254	0.213	223	0.045
5) потому	333	0.279	357	0.071
6) именно	224	0.188	252	0.050
7) даже	532	0.446	701	0.140

Взятые в своей совокупности, эти слова употребляются Достоевским-публицистом более чем 17 раз на каждую тысячу текстовых слов, а в современных публицистических и журнальных текстах обычно только 4 раза. Оказывается, что и в иных спорных текстах такие слова встречаются гораздо реже, чем в бесспорных текстах писателя. Ниже приводится список спорных текстов с указанием частоты этих 7 слов на каждую тысячу текстовых слов. Для сравнения в скобках даются результаты, полученные с помощью наших 15 параметров:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Текст V: 18.67 (12+, 3—) | 7. Текст IX: 7.17 (15+, 0—) |
| 2. Текст III: 18.11 (15+, 0—) | 8. Текст IV: 7.15 (2+, 13—) |
| 3. Текст VII: 14.81 (15+, 0—) | 9. Текст XII: 6.59 (0+, 15—) |
| 4. Текст I: 12.41 (15+, 0—) | 10. Текст X: 6.04 (0+, 15—) |
| 5. Текст II: 11.12 (14+, 1—) | 11. Текст VIII: 3.68 (12+, 0—) |
| 6. Текст VI: 7.66 (10+, 0—) | 12. Текст XI: 2.98 (2+, 13—) |

Как видно, в текстах, имеющих много минусов, т. е. там, где, по нашим параметрам, вероятность принадлежности текста Достоевскому сводится к нулю, ключевые слова писателя используются крайне редко.

Приведем еще один аргумент в пользу своих выводов. Давно установлено, что в случае, если какое-то слово имеет два варианта, то писатели предпочитают (и притом обычай достаточно устойчив) один из этих вариантов. Надо думать, что закон этот действует и у Достоевского. Возьмем для примера союз *чтобы* с очень распространенным у Достоевского вариантом *чтоб*. Оказывается, что в бесспорно принадлежащих Достоевскому статьях имеются 252 случая употребления формы *чтоб* при 34 случаях употребления формы *чтобы*. Итак, у Достоевского-публициста форма *чтоб* в среднем употребляется в 7—8 раз чаще, чем форма *чтобы*. Показательно, что форма *чтобы* в 10 из 26 текстов Достоевского вообще отсутствует. Так, в известной статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» (10.894 слова) мы находим 28 случаев употребления формы *чтоб* и ни одного случая употребления формы *чтобы*. В этом отношении небезынтересно отметить, что в спорных статьях, и опять-таки в самых спорных, изобилует форма *чтобы* при почти полном отсутствии формы *чтоб*. Ниже приводится список спорных текстов и указания соотношения *чтоб—чтобы*. Для сравнения в скобках опять-таки даются результаты, полученные с помощью наших 15 параметров:

	чтоб : чтобы
1. Текст I	17 : 0 (15+, 0—)
2. Текст III	8 : 0 (15+, 0—)
3. Текст II	5 : 0 (14+, 1—)
4. Текст VII	11 : 1 (15+, 0—)
5. Текст V	21 : 5 (12+, 3—)
6. Текст X	20 : 7 (0+, 15—)
7. Текст IX	4 : 6 (15+, 0—)
8. Текст IV	3 : 15 (2+, 13—)
9. Текст XI	1 : 22 (2+, 13—)
10. Текст VIII	0 : 0 (12+, 0—)
11. Текст VI	0 : 2 (10+, 0—)
12. Текст XII	0 : 8 (0+, 15—)

Создается почти та же картина, что и показанная выше. В текстах с многими плюсами изобилует форма *чтоб*, тогда как в текстах, где преобладают минусы, эта излюбленная Достоевским форма представляет редкость. Имеется в нашем материале только одно исключение, а именно текст X, но и здесь соотношение форм *чтоб* и *чтобы* значительно ниже ($20 : 7 = 2.86$), чем в среднем у Достоевского ($252 : 34 = 7.41$).

Итак, думается, что нет надобности применять в нашем исследовании большее число параметров. При наличии достаточно больших текстов электронная вычислительная техника, идя рука об руку с математической статистикой, в состоянии, как мы полагаем, предоставить исследователю мощное и адекватное орудие для подхода к проблеме атрибуции спорных текстов.

ДОПОЛНЕНИЯ К КОММЕНТАРИЮ
«ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

1. Загадочный адрес

Как известно, «Петербург Достоевского» — сложное, диалектичное понятие, он и конкретен и метафоричен одновременно. Сошлюсь, в частности, на убедительную статью Е. А. Кумпан и А. М. Конечного «Наблюдения над топографией „Преступления и наказания“»,¹ в которой показана мифичность представлений об абсолютной топографической точности одного из самых «петербургских» романов писателя. Еще одно подтверждение — записка из рассказа «Чужая жена и муж под кроватью»: «Сегодня, сейчас после спектакля, в Г—вой, на углу ***ского переулка, в доме К***, в третьем этаже, направо от лестницы. Вход с подъезда» (2, 64). Как известно, основные события рассказа произошли в квартире по этому адресу. Между тем обманутый Иван Андреевич мог попасть только на «Г—вую», т. е. Гороховую. Никакого «угла» со «***ским переулком» улица не имела. Что касается владельцев угловых домов с фамилиями на «К», то их приблизительно в это время было трое: Крюковская (д. 2), Котомина (д. 25) и Куканова (д. 51).² По-видимому, все это было известно Достоевскому, и адрес носил сознательно контактированный характер.

2. Лошадиная «фамилия»

Одна из основных тем рассказа «Маленький герой» — тема рыцарства. Центральное место здесь занимает эпизод с укрощением подростком гордого, своевольного коня по кличке Танкред. Вот как описывает Достоевский состояние героя перед поразившим всех поступком: «...в закружившейся голове моей замелькали турниры, паладины, герои, прекрасные дамы, слава и победители, слышались трубы герольдов, звуки шпага, крики и плески толпы, и между всеми этими криками один робкий крик одного испуганного сердца, который нежит гордую душу слаще победы и славы <...> Сердце мое вспрыгнуло, дрогнуло, и сам уж не помню, как в один прыжок соскочил я с крыльца и очутился подле Танкреда» (2, 285). В этом эпизоде, насыщенном средневековыми реминисценциями, «играет», «работает» и кличка коня: Достоевский использовал имя героя одноименной трагедии Вольтера, описывающей средневековые рыцарские нравы (поставлена во Франции в 1760 г., опубликована в 1761 г.; русский перевод — 1816 г.), и оперы Д. Россини (1813), наряду с «Итальянкой в Алжире», сделавшей имя композитора широкоизвестным на родине.

¹ См.: Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз., 1976, т. 35, вып. 2, с. 180—190.

² *Нистрем К.* Адрес-календарь Санкт-Петербургских жителей. СПб., 1844, т. 1, с. 28.

3. Видоплясов и Видок Фиглярин

Уже в экспозиции «Села Степанчикова» Достоевский акцентирует внимание на фамилии лакея Григория, доносчика и замороженного поэта. «Видоплясов, — раздумчиво говорит рассказчик, — . . . Видоплясов. . . скажите, какая странная фамилия?» (3, 26). Из дальнейшего становится ясно, что, присваивая персонажу заведомо искусственную фамилию, Достоевский преследовал вполне определенную художественную задачу.

Как указано А. В. Архиповой, «„Село Степанчиково“ перегружено скрытой и явной литературной полемикой. Причем, хотя здесь имеются в виду и некоторые литературные явления 50-х гг. <. . .>, полемика Достоевского в основном ориентирована на явления 40-х гг., ставшие к моменту выхода „Села Степанчиково“ достоянием истории, но в то же время тесно связанные в его понимании и со злобой дня. . .» (3, 504—505). Еще Ю. Н. Тыняновым в 1921 г. было высказано правдоподобное предположение, что в повести спародированы «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя, а в образе Фомы Опискина отразились и отдельные его черты.³ Сказанное в «Селе Степанчикове» о Григории Видоплясове указывает на то, что в повести нашлось место и для Ф. В. Булгарина, известного также под прозвищем «Видок Фиглярин».

Прежде всего следует отметить, что в словаре В. И. Даля «фигля» (множественное — «фигли») объясняется как «ужимки, телодвижения, рожи в виде знаков», и, следовательно, «Видоплясов», т. е. «видом пляшущий», соответствует прозвищу «знаменитого Фаддея». Идентичность понятий «фигляр» и «шут» позволяет думать, что слова Ростанева о Видоплясове: «мальчишки дворовые его вместо шута почитают» (3, 104) также связаны с кличкой «Фиглярин». Любопытно, что, предлагая фамилии для замены, Видоплясов называет и «Уланов» (3, 105), хотя о его военном прошлом в повести ничего не говорится. Но это мог быть добавочный намек на Ф. В. Булгарина: один из полков, в которых он служил, назывался «Уланский». Наконец, в своих мемуарах Ф. В. Булгарин сообщает, что баловался стихами, которые пользовались успехом у сослуживцев.⁴ Может быть, Достоевскому запомнилась фраза: «В Уланском полку прослыл я поэтом за пустые стишки, которые писал иногда для забавы нашего офицерского общества».⁵ В заключение отмечу, что, вероятно, и лакем-то Григорий⁶ Видоплясов изображен для того, чтобы реализовать расхожую метафору «лакей Фиглярин».

³ См.: Тынянов Ю. Н. Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977, с. 198—226.

⁴ Булгарин Ф. Воспоминания. СПб., 1849, ч. 6, с. 110—112.

⁵ Там же, с. 110.

⁶ Имя персонажа, означающее «бодрствующий, неспящий», по-видимому, выбрано не случайно.

4. «Wallonieff»

Эта фамилия возникает в «Подростке» при первой встрече Аркадия с Тришатовым и Андреевым. «... Знаете, — говорит Тришатов, — французы в „Journal des Debats“ часто коверкают русские фамилии ...» «В „Indépendance“, — возражает Андреев. «Ну, все равно, и в „Indépendance“. Долгорукого, например, пишут Dolgorowky, — я сам читал, — а В—ва всегда comte Wallonieff» (13, 344). Указание на графский титул свидетельствует о том, что речь идет о высокопоставленном чиновнике. Последующее исправление «опечатки», сознательно допущенной Достоевским («п» вместо «и»), позволяет загадочного «Wallonieff» превратить во вполне реального «Wallouieff», т. е. установить, что «В—в» — это П. А. Валуев, который в 1872—1877 гг. был министром государственных имуществ.

5. Две реминисценции в «Исповеди» Версилова

I

Объясняя Аркадию причины своего отъезда за границу («от тоски», а не участвовать в заговорах), Версиров говорит: «Я эмигрировал без всякой злобы <...> Я уехал скорее в гордости, чем в раскаянии, и, поверь тому, весьма далекий от мысли, что настало мне время кончить жизнь скромным сапожником. Je suis gentilhomme avant tout et je mourrai gentilhomme!». «Я прежде всего дворянин и дворянином умру! — *франц.*» (13, 374). В контексте диалога высказывание Версирова о нежелании «кончить жизнь скромным сапожником» воспринимается как парафраз известной шутки Ф. В. Ростопчина. Она зафиксирована в двух вариантах. Первый содержится в «Характеристических заметках и воспоминаниях о графе Ростопчине» П. А. Вяземского (1877): «Говоря о так называемых декабристах, сказал он (Ф. В. Ростопчин) однажды: „В эпоху Французской революции сапожники и тряпичники (chiffonniers) хотели сделаться графами и князьями. У нас графы и князья хотели сделаться тряпичниками и сапожниками“». ⁷ Другой появился в печати спустя почти полвека: «Во Франции повара хотели попасть в князья, а здесь князья — попасть в повара». ⁸ Какой вариант слышал Достоевский, мы не знаем, однако несомненно, что ему была известна интерпретация этой шутки Н. А. Некрасовым. Я имею в виду следующие строки из поэмы «Княгиня М. Н. Волконская», опубликованной в январском номере «Отечественных записок» за 1873 г. («Подросток» печатался в том же журнале в 1875 г.). Героиня поэмы вспоминает:

В салонах Москвы повторялась тогда
Одна Ростопчинская шутка:

⁷ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1881, т. 7, с. 510.

⁸ Лернер Н. О. «Ростопчинская шутка» о декабристах. — В кн.: Бунт декабристов. Л., 1926, с. 398—399.

«В Европе сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует, понятное дело!
У нас революцию сделала знать:
В сапожники, что ль, захотела?...»⁹

Следовательно, метафора Версилова заимствована писателем из поэмы Н. А. Некрасова.

II

«Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек, и тем самым наиболее русский», — говорит о себе Версиров (13, 377). Это — парафраз известного высказывания Н. В. Гоголя о «чуткости» Пушкина: «В Испании он — испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариною времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног...» («В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», 1846).¹⁰ Позже Достоевский в Пушкинской речи развивает гоголевскую мысль о свойстве гениального поэта «перевплотаться вполне в чужую национальность» (26, 146).

В. П. ВЛАДИМИРЦЕВ

СИБИРСКАЯ ТЕТРАДЬ

(Дополнение к комментарию)

1. *Фартикультяпность* (4, 239). Диалектное слово широкого ареала, имеет самостоятельное лексическое значение, не зависящее от слова «фарт» (см. попытку такого сближения — 4, 316). На это указывают, в частности, материалы, хранящиеся в картотеке Словаря русских народных говоров (СРНГ) Института языкознания АН СССР (Ленинград): *фартикультяпный*, *фе(о)ртикультяпистый* — сделанный, приготовленный хорошо, с соблюдением всех форм, требуемых приличием и искусством (Мещовский уезд, Калужская губ., 1892 г.); производные: *фертикультяписто* сделано — ладно, хорошо (Веглуга, 1914 г.); *нефертикультяпно* — нескладно (Бронницкий уезд, Москов. губ., 1897 г.). В 1956 г. в Камском Устье автору этих строк, участнику фольклорной экспедиции, встретилось в устном бытовании слово «нефертикультяпистый», значение которого — «нескладный, несуразный» — было окрашено иронией и насмешкой.

2. *Полняк* (4, 240). По данным картотеки СРНГ, одно из значений слова — полная мера, максимум телесных наказаний («получить розги полняком»). Это соответствует показаниям фельдшера омского военного госпиталя А. И. Иванова относительно «полняка» (см.: *Владимирцев В. В* зеркале Сибирской

⁹ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Л., 1982, т. 4, с. 165.

¹⁰ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Л., 1952, т. 8, с. 384.

тетради. — Енисей, 1981, № 6, с. 42—43). Сводом военных постановлений был определен высший предел наказания палками (говоря на арестантском аргю, «полняк»): 12 тысяч ударов, или прогнание двенадцать раз сквозь строй в тысячу солдат, вооруженных шпиргутенами. См.: *Тимофеев А.* Шпиргутены. — Энциклопедический словарь. СПб., 1903, т. 39А (78), с. 845—846; *Евреинов Н.* История телесных наказаний в России. СПб., 1913, с. 113—114.

3. *Салфет вашей милости* (4, 241). Из фольклорных приветствий-причетов. «При Петре I говорили: салфет (salut) вашей милости! здравствуйте!» (*Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 4, с. 131). «Когда чихнет кто-нибудь, ему говорят:

Салфет вашей милости,
Красота вашей чести,
Цвета цветущие,
Во здравие растущие».

(*Харузина В. Н.* «Причетки», записанные в г. Веневе Тульской губернии. — Этногр. обозр., 1904, № 3, с. 71).

4. *А ты меня и бей, да только хлебом корми* (4, 242). Из просительных причитаний нищей братии, традиционное присловье испрашивающих подавание, милостыню. Почти одновременно с Достоевским вариант этой формульной просьбы отмечен Н. И. Костомаровым: «Иные просили милостыню, затягивая самым плачевным напевом: „побейте меня, да покормите! Руки-ноги поломайте, да милостинки христовой подайте!“» См.: *Костомаров Н. И.* Сын. Рассказ из времен XVII века (из архива фамильных преданий). — Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. СПб., 1859, кн. 4, с. 35.

5. *Жирно ели, оттого и обеднели* (4, 246). Достоевский извлек это речение из фольклорно-пословичной стихии, возможно, в семипалатинский период. Ср.: «Не оттого оголели, что сладко пили-ели, а так бог дал...» (*Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка, т. 4, с. 217). В конце 1850—начале 1860-х гг. Г. Н. Потанин записал на Иртыше близ Семипалатинска: «Не оттого обеднели, что сладко ели» (*Потанин Г. Н.* Юго-западная часть Томской губ. в этнографическом отношении. — В кн.: Этнографический сборник. СПб., 1864, вып. 4, с. 54).

6. *Разговор Петрович* (4, 247). К необычному «антропониму» есть ближайшая параллель в очерке И. Г. Прыжова о московских нищих середины XIX столетия: «...идет лицо, называемое Рассказ Петрович; он собирает Христа ради и рассказывает при этом различные притчи...». Прыжов приводит «любимое изречение» Рассказа Петровича, выдержанное в духе афористики Сибирской тетради: «Жизнь человеческая — сказка, гроб — коляска, ехать в ней не тряско» (*Прыжов И.* Нищие на святой Руси. М., 1862, с. 104). Со всей очевидностью можно полагать, что Разго-

вор Петрович у Достоевского, как и Рассказ Петрович у Прыжова, — ходовое народное именование говоруна, балайсника, мастера красного словца. От речистых людей этого типа Достоевским позаимствовано многое в Сибирской тетради.

В. И. МЕЛЬНИК

К ТЕМЕ: РАСКОЛЬНИКОВ И НАПОЛЕОН

(«Преступление и наказание»)

За трагической фигурой Родиона Раскольников в романе «Преступление и наказание» то и дело мелькает тень его исторического двойника — Наполеона. И в мыслях, и в разговорах герой не раз будет вспоминать этого человека. Уже с пушкинских времен имя Наполеона становится в русской литературе символом буржуазного индивидуализма.¹ Писатель акцентирует момент «типичности» в отношении Раскольника к Бонапарту репликой Порфирия Петровича: «Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» (6, 204).

«Теперь» — это 1860-е годы. Но любопытно то, что Достоевский, характеризуя Наполеона в романе не прямо, хотя и достаточно определенно, в качестве источников характеристик использует оценки, данные Наполеону-человеку в русских журналах времен войны 1812 г. Нельзя не учитывать и того, что ко времени написания романа существовала уже обширная литература о Наполеоне.

Хотя Раскольников не признает справедливости замечания Порфирия Петровича о «повальном наполеонизме», внутренне он склонен постоянно «проверять» свои поступки этим историческим образцом. Сравнение себя с Наполеоном приводит его к мучительной мысли: «Нет, те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне...» (6, 211). В седьмом томе Полного собрания сочинений Достоевского этот отрывок практически оставлен без комментария, хотя обращают на себя внимание выделенные писателем слова.

Этот авторский курсив, с одной стороны, подчеркивает психологическое состояние Раскольника. В порыве самоуничтожения герою, кажется, доставляет удовольствие безнадежно сравнивать себя с людьми, которые обращаются к себе подобными, как с вещами («забывают... армию», «тратят... полмиллиона людей»). Однако, с другой стороны, выясняется, что курсив означает в данном случае и нечто иное, а именно: цитацию чужой речи, речи самого Наполеона. Достоевский-художник ориентируется не

¹ См.: Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. 4-е изд. М., 1978, с. 93—95.

только на имя Наполеона, ставшее и само по себе известным символом, но и на отражение самосознания этой личности в речи. Таким образом, Раскольников говорит о Наполеоне так, как сказал бы о себе сам Наполеон, его собственными словами!

На то, что Достоевский включает в речь Раскольникова наполеоновскую фразу, указывает помещенный в журнале «Сын отечества» за 1813 г. анекдот о французском полковнике. Вот его содержание: «Во время пребывания Наполеона в Дрездене, пред началом прошлогодней кампании, король саксонской в разговоре с ним заметил, что предстоящая кампания будет стоить множества людей. „Вероятно, отвечал деспот, но я могу ежесекундно *тратить* (*deperner*) двадцать пять тысяч человек!“ — Ужасный ответ государю, известному своим человеколюбием, который видел себя в необходимости предать множество своих подданных сей адской *трате* (курсив автора. — В. М.)!»² Вероятно, анекдот этот перепечатан из какого-нибудь французского источника, на что косвенно может указывать слово *deperner*, приведенное переводчиком для точности.

Можно было бы принять выражение Наполеона «тратить» за мрачный каламбур, который был в каком-то смысле вызван самим саксонским королем, употребившим слово «стоить». Ведь известно, что Наполеон «в разговоре, так же, как и на войне, был чрезвычайно находчив, изобретателен...»³ Однако если это и каламбур, то весьма точно отражающий самый стиль мышления Наполеона. В. Скотт в «Жизни Наполеона Бонапарта» упоминает о том, что противники французского полководца называли его военачальником, «тратившим по десять тысяч человек в сутки».⁴ Очевидно, что самый способ мышления Наполеона («тратить» людей) вошел в поговорку. Воссоздавая образ русского индивидуалиста 60-х гг., Достоевский заставляет его мыслить и говорить словами и понятиями Наполеона, подчеркивая тем самым типологическую общность в психологии Раскольникова и его исторического двойника.

Читал ли Достоевский давно забытые номера «Сына отечества»? Определенно ответить на этот вопрос пока не представляется возможным. Конечно, возможно, писатель пользовался и иным источником. В данном случае важнее установить в принципе наличие реминисценции. Но думается, что и чтение «Сына отечества» также не должно представляться маловероятным. Русские писатели, обращавшиеся к теме войны 1812 г., читали этот журнал. Так, например, создавая в 1843 г. повесть «Волгин», А. Ф. Вельтман близко к тексту пересказывает и комбинирует (в речи одного из героев) два анекдота, помещенных в различных номерах журналов за тот же 1813 год.⁵

² Сын отечества, 1813, ч. 4, № 8, с. 97.

³ Стендаль А. Собр. соч. М.; Л., 1950, т. 14, с. 15.

⁴ Скотт В. Жизнь Наполеона Бонапарта. СПб., 1837, т. 1, с. 287.

⁵ Вельтман А. Ф. Волгин. — Библиотека для чтения, 1843, т. 60, с. 44—45. Ср.: Сын отечества, 1813, ч. 1, № 1, с. 43; № 6, с. 244.

ИЗ ПЕРВЫХ ОТКЛИКОВ НА РОМАН «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

(По страницам газеты «Голос»)

«Уже первая часть „Преступления и наказания“, появившаяся в январском и февральском номерах „Русского вестника“ за 1866 г., имела большой успех у читающей публики» (7, 345). Главная причина этого коренилась в характере нового сочинения писателя.¹ Полемиическая наделенность романа остро ощущалась читателями и критикой. Вместе с тем сложность и противоречивость «Преступления и наказания» обуславливала разногласию мнений в трактовке идейной основы книги о судьбе недоучившегося студента Раскольникова: амплитуда оценок тут была довольно большой — происходило острое столкновение взглядов и мировоззрений (см. об этом: 7, 345—356). Отнюдь не случайно газеты и журналы той поры сочли не только возможным, но и просто необходимым откликаться на новый роман Достоевского по мере его публикации в «Русском вестнике»; появлявшиеся главы «Преступления и наказания» сразу же становились неотъемлемым фактом литературной и общественной жизни.

Не осталась в стороне и газета «Голос», постоянным читателем которой был Достоевский и которая не раз писала о его произведениях. Этот либеральный печатный орган, издаваемый А. А. Краевским, отметил не только высокое художественное мастерство Достоевского и глубину психологического анализа в его созданиях. Внимание «Голоса» привлекли философско-публицистические идеи романиста.

Вот что писал анонимный автор в своем кратком разборе первых — январских — глав романа: «Мы пока не будем распространяться об этом сочинении, которое, по-видимому, должно разбиться на несколько месяцев; заметим только, что роман обещает быть одним из капитальных произведений автора „Мертвого Дома“. Страшное преступление, положенное в основу этой повести, рассказано с такою потрясающею истиною, с такими тонкими подробностями, что вы невольно переживаете перипетии этой драмы, со всеми ее психологическими пружинами, переходите по изгибам сердца с первого зарождения в нем преступной мысли до ее окончательного развития. Здесь этот анализ, который, по нашему мнению, вредил некоторым из прежних сочинений автора, является не только не лишним, не только не утомляет вас, но полнее, живее дает чувствовать силу драмы. Самая субъективность автора, от которой иногда страдали характеры его героев, здесь несколько не вредит, потому что сосредоточивается

¹ «...Начало его (романа «Преступление и наказание». — П. В.) таково, что мы не можем оставить его без некоторого напутствия», — признавался критик «Современника» ([Елисеев Г. З.] Журналистика. Январь, 1866. — Современник, 1866, № 2, отд. II, с. 272).

на одном лице и проникается художественною ясностью типа. К сожалению, пределы газетной статьи не позволяют нам делать выписки из романа, которая могла бы подкрепить наш отзыв и дать читателям понятие о том впечатлении, какое производят эти страшные сцены. Правда, тут есть места, на которые можно указать, как на нечто целое — например, сон Раскольникова накануне задуманного им преступления; но этот эпизод, один из лучших в романе, занимает не менее пяти страниц, и мы не имеем возможности выписать его вполне, а брать из него отрывки или передавать в сокращенном рассказе, значит лишить его значения и силы, потому что тут нельзя убавить ни одной черты. Мы надеемся поговорить о романе г. Достоевского, когда он будет кончен».²

«Голос» обещал вернуться к книге Достоевского только по завершении ее публикации в «Русском вестнике». Но ему пришлось сделать это много раньше, в связи с противоположной оценкой первых глав романа на страницах «Современника» (в февральском номере, в обзоре Г. З. Елисеева «Журналистика. Январь 1866»), где утверждалось, что Достоевский в своем произведении несправедливо напал на передовое студенчество. Елисеев поставил под сомнение типичность образа Раскольникова.³ Оценка романа, данная критиком «Современника», носила открыто полемический характер; Г. З. Елисеев выступил против оценки и интерпретации писателем идей передовой студенческой молодежи (подробнее об этом: 7, 346—347). Эта позиция, занятая «Современником», вызвала бурную реакцию со стороны «Голоса». Выступление Г. З. Елисеева послужило началом острого спора об идейном замысле романа Достоевского. Касаясь вопроса о полемике вокруг «Преступления и наказания», один из современных исследователей резонно заметил: «...противоречивость идейного содержания „Преступления и наказания“ должна была определенным образом сказаться в оценках романа русской журналистикой, очень активно откликнувшейся на его появление. В журналистике той поры возникла примерно такая же полемика, вокруг этого романа, как вокруг романа „Отцы и дети“ И. С. Тургенева в 1862—1863 гг.».⁴

² Журналистика. «Русское Слово» и «Современник» за ноябрь и декабрь 1865, «Русский Вестник» за январь 1866 г. — Голос, 1866, 17 февр., № 48. — В комментарии к «Преступлению и наказанию» в Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского (7, 346) этот первый отклик процитирован лишь частично, поэтому мы сочли уместным привести его здесь полностью, ибо он заслуживает этого. Два других отзыва, о которых пойдет речь ниже, в научно-исследовательской литературе не упоминаются и остаются, судя по всему, невыявленными.

³ См.: Современник, 1866, № 2, отд. II, с. 272—277. — Подобные обвинения в адрес Достоевского были вскоре предъявлены и некоторыми другими изданиями: близкой к «Современнику» «Искрой» и органом демократического пародничества журналом «Неделя».

⁴ Николаев П. А. Творчество Ф. М. Достоевского и современная ему русская журналистика. — Вестн. Моск. ун-та. Ист.-филол. сер., 1957, № 1, с. 86.

24 марта в «Голосе» был помещен критический разбор двух первых номеров «Современника» за 1866 г. Вполне естественно, что точка зрения Г. З. Елисеева, столь разительно расходящаяся с высказанной ранее точкой зрения «Голоса», была подвергнута здесь решительному отрицанию. По мнению газеты, статья, опубликованная на страницах журнала «Современник», грешит «явно предвзятою мыслью» и имеет своей целью любой ценой («во что бы ни стало») «уронить» Достоевского. Не скрывая раздражения и недоумения, автор обзора далее писал: «И, представьте, какие для этого придуманы средства! В романе студент, при обстоятельствах, пагубно действующих на его сердце и рассудок, делается злодеем и убивает старуху-ростовщицу. Что, спрашивается, это доказывает? Кажется, то, что преступления были и бывают во всяком звании, при всякой степени образованности, в кругу людей отсталых и передовых, в зрелом возрасте и в молодежи. Но знаете ли, что нашел в романе критик „Современника“? Он открыл, будто г. Достоевский задумал свой роман вследствие озлобления „на движение последнего времени“, от недовольства молодым поколением и с целью „обвинить целую корпорацию *молодых юношей* в повальном покушении на убийство с грабежом“. Мы не шутим; критик уверяет в этом. Что же это такое? Посмеяться над таким отзывом нельзя, потому что он слишком бессовестен. И автор этих позорных строк, и редакция, допустившая их в журнале, не могли, конечно, не подумать о их значении. Из романа Достоевского, конечно, можно было вывести подобное нелепое обвинение с такою же справедливостью, как, если б кто, по рассказу доктора Меригольда о еврее, который задумал отравить и ограбить одного комиссионера (перевод святочного рассказа Ч. Диккенса «Рецепты доктора Меригольда» был помещен в том же номере «Современника». — П. Б.), — вздумал вывести заключение, что Диккенс имел здесь в виду обвинить все племя евреев в повальном покушении на грабеж и убийство. В нашей журналистике до таких цинических нелепостей не доходили еще...»⁵ Возмущение обозревателя было столь велико, что он позволил себе закончить свое выступление гневной тирадой по поводу революционно-демократической критики в целом: «Вообще, в критических отзывах „Современника“, видимо, все приносится в жертву каким-то личным симпатиям и антипатиям — для них попирается и правда, и приличие. Уж не зрелый ли это возраст критики, которая, может быть, с Белинским отжила период несовершенности, а теперь возмужала, и задалась целями действительного дела жизни, под пером неумытых судей, подвизающихся в „Современнике“? А ведь эти господа, пожалуй, считают свое писание делом жизненным и почтенным!»⁶

⁵ А. М. «Современник» за январь и февраль 1866 г. — Голос, 1866, 24 марта, № 83.

⁶ Там же.

Спустя две с половиной недели «Голос» снова напомнил своим читателям о том, что он не согласен с критиком «Современника» в подходе к роману Достоевского «Преступление и наказание». На этот раз не было чрезмерной резкости тона. Однако газета по-прежнему недвусмысленно давала понять (в форме попутного замечания — «шпильки»), что она никак не может разделить мнение об идейно-эстетической ущербности нового произведения писателя, которую объясняют неудачным выбором объекта изображения, тенденциозным препарированием последнего и беспочвенностью предложенных художественных обобщений. В фельетоне «Вседневная жизнь», подписанном криптонимом «Х. Л.», обнаруживаем весьма показательную «вставку», сделанную вроде бы и некстати — в связи с разговором о событиях театральной жизни: «После „Самоуправцев“, в бенефис г-жи Владимировой, шли новые сцены г. Трофимова, из быта наших мелких чиновников, под заглавием „Первый чин“. <...> В комических явлениях будничной жизни у нас недостатка нет во всех классах общества... В литературном мире, в кружках учащейся молодежи (не во гнев будь сказано господам, приходящим в азарт против Ф. М. Достоевского за то, что он избрал студента героем своего нового романа), в публических клубах и трактиров, в богатых гостиных, где толкуют о великом значении крупных поэмельных собственников, в кружках артистов, всюду, наконец, можно найти очень недурные сюжеты для сцен вроде сцен г. Трофимова...».⁷

Среди самых первых отзывов о двух начальных частях «Преступления и наказания» (в журнальной редакции это была одна часть) отзывы, опубликованные на страницах «Голоса» в феврале—апреле 1866 г., выделяются своей позитивной интонацией, последовательностью в отстаивании права писателя на изображение исключительных жизненных явлений и коллизий, подчеркиванием правдивости произведения, безусловным признанием искусства Достоевского — романиста, психолога, мастера композиции, безоговорочной констатацией художественного совершенства книги. Несмотря на явный недостаток в них аналитического начала, несмотря на их известную неполноту и однобокость, выступления газеты — независимо от субъективных намерений рецензентов либерального «Голоса» — способствовали постепенному формированию правильной оценки романа «Преступление и наказание», окрыляли его создателя, пробуждали еще больший интерес читателей к его творчеству.

В полемике, вспыхнувшей вокруг нового сочинения Достоевского, содержалось и нечто такое, что далеко выходило за рамки предмета спора. Вероятно, поэтому она имела и имеет весьма значительный историко-литературный резонанс. Речь шла не только о конкретной оценке «Преступления и наказания», но и об особенностях, возможностях реалистического метода, о таких вопросах, как принципы типизации, соотношение в искусстве

⁷ Х. Л. Вседневная жизнь. — Голос, 1866, 10 апр., № 98.

частного, единичного и общего, выбор героя, характер изображаемой действительности, идеал, позиция автора, объективное содержание произведения и замысел его создателя, пути психологизации прозы, специфические черты философского романа и т. д. Самоочевидна общеэстетическая значимость давней полемики, представляющей интерес и в наши дни.

Г. З. Елисеев, продолжая полемику с Достоевским, начатую им во втором номере «Современника» за 1866 г., будет подразумевать указанную публикацию «Голоса» и выражать свое несогласие с нею по причине того, что она, мол, уводит читателя от главного в понимании романа «Преступление и наказание». «Даже чисто с художественной точки зрения сюжет нового романа г. Достоевского не может быть оправдан никакими целями, — настаивал критик. — Слыхано ли в летописях искусства, чтобы когда-нибудь какой-нибудь художник или поэт чистое, голое убийство, убийство *an sich und für sich* — выбирал темой для своего изображения?» Для Г. З. Елисеева «Преступление и наказание» — это «чистая нелепость» и «едва ли не единственный пример... свирепого баловства искусством».⁸

Выявление затерявшихся в периодике первых критических суждений о «Преступлении и наказании», развернутых и кратких, самоцельных и попутных, позволит воссоздать более полную картину восприятия этой книги современниками писателя, обнаружить в романе какие-то пропускаемые ныне слои его богатого идейного содержания, наметить новые аспекты в изучении произведения и оживить, ввести в научный оборот то, что образует пассивный запас литературоведческого знания (отклики, напечатанные в газете «Голос», в данном отношении весьма показательны). Разумеется, все сказанное сейчас в равной мере приложимо и к другим сочинениям великого русского реалиста.

Т. И. ОРНАТСКАЯ

ОБ ОДНОЙ ГЛАВЕ ФЕВРАЛЬСКОГО ВЫПУСКА «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» ЗА 1881 г.

Достоевский закончил работу над январским выпуском «Дневника писателя» за 1881 г. 25 января и в этот же день сам отвез в типографию «последний листок (...), прося завтра же прислать корректуру».¹ Тогда же, в беседе с А. Н. Майковым, он уже говорил «об февральском „Дневнике“ что хочет писать»;² на следую-

⁸ [Елисеев Г. З.] Журналистика. Февраль, 1866. — Современник, 1866, № 3, отд. II, с. 39, 40.

¹ Гроссман Л. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.; Л., 1935, с. 319.

² Записная тетрадь А. Г. Достоевской 1880—1881 гг. — ИРЛИ, ф. А. Г. Достоевской, № 30773, л. 86.

щий день, 26 января, он рассказывал своему молодому знакомому, студенту Духовной академии Ф. Н. Орнатскому, содержание задуманного выпуска («Февральский выпуск Философу, и о том, как они провалили классицизм»);³ а в день смерти, 28 января, он, как обычно, диктовал жене. «Диктовал „Дневник“. Вычеркни, что найдешь возможным», — записала А. Г. Достоевская на с. 93 тетради. И здесь же, на свободной странице, содержится расшифрованный ею отрывок для февральского выпуска «Дневника писателя». Возможно, что именно его и продиктовал писатель в день смерти. Вот этот текст:

«Корабль не круглый, не продолговатый, а четырехугольный, такой, чтоб ни за что плавать не мог. Дно должно быть непременно вогнутое. Машину устроить такую, чтоб отопление стоило не менее 100 тыс. в месяц. Чтоб на этот корабль пошло как можно более бронзы, малахиту. Пустить в море для доказательства Европе наше<го> миролюбия. Но чтоб возить этот корабль, устроить по берегам желез<ную> дорогу и чтоб 9 паровозов возили его, а на время войны причалить к берегу. Этот корабль предназначался для посольств и кокоток высшего полета.

Боялся, что не пропустят».

Как известно, к середине января у писателя вполне определился ряд тем, которые должны были составить февральский выпуск «Дневника».⁴ Одна из глав, как явствует из материалов его последней записной тетради, должна была носить гротескно-сатирический характер и иметь заглавие «Проект мечтателя, сумбуриста».⁵ Суть этого «проекта» состояла в создании пышного судна для развлечений (по типу императорской яхты «Ливадия»), способного ввести в заблуждение Европу. Последняя предчувствует «будущую, самостоятельную русскую» идею, которая хоть

³ Там же, с. 93. — Приведенная цитата позволяет раскрыть имя того посетителя, которого А. Г. Достоевская не назвала в своих позднейших «Воспоминаниях» («Часа в три пришел к нам один господин, очень добрый и который был симпатичен мужу, но обладавший недостатком — всегда страшно спорить. Заговорили о статье в будущем „Дневнике“ <...> и между ними разгорелся горячий спор» — *Достоевская А. Г. Воспоминания*. М., 1971, с. 372), возможно, по его просьбе (она поддерживала знакомство с ним и после смерти мужа — см. их переписку — ГБЛ). Непонятно, по какой причине Л. П. Гроссман, публиковавший в названной выше книге «Жизнь и труды...» отрывки из этой записной тетради, «не заметил» приведенной нами записи, а использовал вместо нее цитату «Воспоминаний», сопроводив ее без всяких оснований категорическим примечанием: «Рассказ этот не может считаться достоверным и является официальной версией предсмертного заболевания Достоевского» (с. 319). Не справедливее ли было бы, полагаясь на такой документ, как стенографически точная тетрадь, не предназначавшаяся для чужих глаз, отметить, что А. Г. Достоевская, не желая никого выставить печальным виновником смерти мужа, не назвала ни Ф. Н. Орнатского, ни В. М. Иванову («Вечером Верочка и Павел Александрович», — читаем на с. 92 тетради за тот же вторник, 26 января).

⁴ См. об этом в комментариях В. А. Туниманова к записной тетради Достоевского 1880—1881 гг. (27, 322—353).

⁵ Там же, с. 79.

у нас еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно и в страшных муках готовится родить ее»,⁶ и боится этой идеи. Высмеиваемый Достоевским «прожектер-сумбурист» уверяет, что предлагаемое им увеселительное судно поможет Европе поверить «невинным» целям России, тому, что Россия «ищет лишь одной веселости», что она «существует для Европы» «и для увеселения ее». Из многочисленных набросков этой записной тетради, относящихся к «Проекту», вырисовывается эпит опереточный корабль. Публика на нем — «посланники», «молодые члены посольств, умеющие танцевать», «кокетливые дамы», «кокотливые дамы (но с достоинствами, напри~~м~~ер), любящие искусство или политику)», «леди». Одна из них — «ледя», воротившаяся с судна, «приставая к мужу», невольно может, по мнению автора, «способствовать игре Восточного вопроса в нашу пользу»; на корабле можно будет «катать Гамбетту как союзника», «катать иезуитов и высших католиков», катать «певиц», «Патти», «астрономов, академиков, отдыхающих от трудов своих» и т. д. и т. д. Приключения на море — «нападение корсаров, холостыми зарядами, борт, визг, крик, и вдруг турки оказываются молодыми кавалерами с цветами, новостями, сплетнями». Наконец — «соловьиные языки, сигары в 130 р. сотня от Фейко», «морской воздух, пищеварение», «обнаженные груди, слезы раскаяния» и т. д. и т. д.

Наброски к этому «Проекту» составляют большую часть записей тетради (если не считать тех, что относятся к январскому выпуску «Дневника»). Последняя запись к «Проекту» («Да как же это: корабли по железной дороге? Да ведь это смешно.

— Что смешно? Тот же пар. По морю яко посуху.»),⁷ на первый взгляд не совсем понятная, становится ясной из текста, записанного А. Г. Достоевской: в окончательном «проекте» «возить этот корабль» будут «9 паровозов» по устроенной по берегам железной дороге.

Т. И. ОРНАТСКАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ И РАССКАЗЫ А. В. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ (ЖАКЛАР)

1. Отклик Достоевского на рассказ А. В. Корвин-Круковской «Соп»

В набросках «Записки журналиста»¹ содержится следующий отклик Достоевского на, очевидно, только что прочитанное сочинение: «Да чего ж он не сунулся-то к ней (к Лилиньке). Ведь он бы жил. Да что в том, что он бы жил: она бы жила на его

⁶ Там же, с. 76.

⁷ Там же, с. 86.

¹ Они предназначались, по-видимому, для задумывавшейся в это время «Записной книги» (прообраз будущего «Дневника писателя»).

руках, и он бы чувствовал, что она бы жила (хотя счастья только себе). Расходятся из эгоизма направления, в безмолвном и гордом страдании. Бессмысленные романтики — да им всех хочется, так и прите за всех на крест, и то счастье.

Что останется после их счастья? Есть, жиреть и в карты играть. <...> Но может ли эта ничтожность их намерений быть счастливыми мешать? Их счастью помешает. Но намерение... нет, не должно. Немецкий это расчет, а не гуманный. Да даже и расчет на их стороне. Ведь работает же Лилинька, работает же и он, — ну, работайте вместе» (20, 195).

Произвольно прочитанное имя героини, сочинения — «Лизанька» позволило комментаторам первой публикации записи предположить, что речь идет о романе Н. С. Лескова «Некуда», «<...> герои которого Лиза Бахарева и Райнер, любящие друг друга, гибнут из-за приверженности к новым идеям, так и не соединив свои судьбы».² Это предположение позволило, в свою очередь, критику Л. Аннинскому сделать уже далеко идущие выводы. «Если так, — пишет он, — то в русской прозе 1864 года нет другой Лизаньки, разошедшейся с любимым человеком „из эгоизма направления“, кроме Лизы Бахаревой, расстающейся с Вильгельмом-Робертом Райнером. Выходит, можно было читать лесковский роман и так — со всей силой доверчивого сопереживания. Но — только для „потаенной“ тетради».³ Но оказывается, в «русской прозе 1864 года» есть именно «Лилинька», и является она героиней отредактированного Достоевским и напечатанного им же в № 8 «Эпохи» за 1864 г. рассказа А. В. Корвин-Круковской «Сон». В письме (подлинник его не сохранился), содержание которого с буквальной точностью передает сестра молодого автора С. В. Ковалевская, Достоевский писал А. В. Корвин-Круковской, вскоре ставшей его невестой: «Милостивая государыня Анна Васильевна! <...> я начал читать (рассказ — Т. О.) не без тайного страха <...>. Но, по мере того, как я читал, страх мой рассеялся, и я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ <...> рассказ ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем же № моего журнала...».⁴ Письмо это было написано в конце августа — начале сентября 1864 г., к этому же времени относится и комментируемая запись (№ 8 «Эпохи» вышел в свет лишь 27 октября 1864 г.). Сюжет рассказа таков: Лилинька, дочь бедного учителя-немца,⁵ зарабатывает на жизнь шитьем белья на дому. Став однажды нечаянной свидетельницей похорон незнакомого бедного студента и узнав, что он умер одиноким и беспомощным, она задумывается о необходимости помогать друг другу. Однажды ей

² Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 276.

³ Аннинский Л. Лесковское ожерелье. М., 1982, с. 23.

⁴ Ковалевская С. В. Воспоминания; Повести. М., 1974, с. 65.

⁵ Ср. в записи Достоевского: «Немецкий это расчет...».

приснился сон, будто этот студент пришел к ней с упреком, почему она не пошла за ним в его жизнь, в близкую ему среду, где они обрели бы не только сегодняшнее счастье, но и надежды на еще лучшее будущее. Вскоре Лилинька умирает, так и не найдя выхода из своего убогого мира и не сумев исполнить своей мечты помогать тем, кто нуждается в помощи.⁶

2. Герой повести А. В. Корвин-Круковской «Михаил» и Алеша Карамазов

По свидетельству С. В. Ковалевской, ее сестра, ободренная «первым успехом», «тотчас же принялась за другой рассказ, который окончила в несколько недель».⁷ Речь идет о повести «Михаил», которую Достоевский открыл следующий, 9-й номер «Эпохи» за 1864 г. Герой ее, осиротевший в юности богатый светский молодой человек с душой поэта тяготится жизнью в семье и уходит к своему дяде — монаху в монастырь, чтобы служить ближним. Он носит одежду послушника,⁸ но не постригается в монахи, потому что жизнь в монастыре оказалась не такой уж идеальной, как это представлялось ему раньше. Так он и умирает, с «надорванным» и «опустелым» сердцем. Достоевский, чрезвычайно высоко оценив повесть, писал автору 14 декабря 1864 г.: «Идеал Ваш проглянул недурно, *хоть и отрицательно*. Михаил, который не может *по натуре* (т. е. бессознательно) помириться с чем-нибудь, *что ниже идеала* — идея глубокая и сильная» (П., II, с. 382). Эта «глубокая и сильная» идея могла запомниться писателю — и тогда, может быть, неслучайно Алеша Карамазов показался той же С. В. Ковалевской похожим на «Михаила»? «Эту вторую повесть, — пишет она в своих воспоминаниях, — Достоевский одобрил гораздо более первой и нашел ее зреее. Образ Михаила представляет некоторое сходство с образом Алеши в „Братьях Карамазовых“. Когда, несколько лет спустя, я читала этот роман по мере того, как он выходил в свет, это сходство бросилось мне в глаза, и я заметила это Достоевскому, которого видела тогда очень часто.

— А ведь это, пожалуй, и правда! — сказал Федор Михайлович, ударив себя рукой по лбу, — но, верьте слову, я и забыл о Михаиле, когда придумывал своего Алешу. Разве, впрочем, бессознательно он мне пригрезился, — прибавил он, подумав».⁹ Наблюдение о сходстве персонажей Корвин-Круковской и Достоевского было высказано недавно современной исследовательницей,

⁶ Несколько иначе (не была ли это первая редакция рассказа?) передает содержание «Сна» С. В. Ковалевская (*Ковалевская С. В. Воспоминания*, с. 67—68). Именно в этом варианте излагает его содержание и Л. П. Гроссман (см.: *Гроссман Л. П. Ф. М. Достоевский*, М., 1963, с. 322; ср.: *Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха»*, М., 1975, с. 133).

⁷ *Ковалевская С. В. Воспоминания*, с. 68.

⁸ Первоначальное название повести — «Послушник» — было запрещено духовной цензурой (см.: П., II, 381).

⁹ *Ковалевская С. В. Воспоминания*, с. 68.

которая, проанализировав повесть «Михаил», писала: «Не вспоминался ли Достоевскому этот высоко оцененный им художественный образ чистого юноши, оставившего семью и в одежде послушника в монастырских стенах ищущего ответа на свои поиски правды и цели жизни, когда он создавал Алешу Карамазова, отмеченного поэтическим обаянием?»¹⁰

И. А. БИТЮГОВА

ДОСТОЕВСКИЙ — РЕДАКТОР СТИХОТВОРЕНИЙ В «ГРАЖДАНИНЕ»

В пору редакторства в «Гражданине» (с 1 января 1873 г. по 22 апреля 1874 г.),¹ как свидетельствуют переписка Достоевского с авторами и ряд сохранившихся рукописных текстов их стихотворений с его поправками, работа над поступающими в журнал материалами для рубрики поэзии в основном выполнялась Достоевским. В исключительном, наиболее ответственном случае, редактура записанного под диктовку умирающего Ф. И. Тютчева его женою стихотворения «Наполеон III» («Гражданин», 1873, 8 января, № 2) была поручена А. Н. Майкову.

Большинство авторов стихотворений, печатавшихся в «Гражданине», были знакомы Достоевскому, и он, как известно, общался с ними лично или вел с ними переписку. Так, с Вс. С. Соловьевым (сыном историка), своим восторженным поклонником, писатель познакомился 1 января 1873 г. Недавно закончивший юридический факультет Московского университета, юный тогда поэт, отдельные лирические стихотворения которого ранее печатались в «Пчеле», «Московских ведомостях», «Русском вестнике», «Заре» и «Вестнике Европы», а впоследствии популярный исторический романист, Вс. Соловьев явился для Достоевского олицетворением той части молодежи, которая, по его представлениям, была наиболее близка ему в своих философских и нравственных исканиях. В 1873—1874 гг. они виделись очень часто. По воспоминаниям Вс. Соловьева, он спешил к Достоевскому «каждую свободную минуту», а если не бывал у него «в продолжении недели», то тот уже «пенял» своему молодому другу.² Иногда при этих встречах Вс. Соловьев читал свои стихи и под свежим впечатлением разговора о них с Достоевским вновь переписывал их.

¹⁰ Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», с. 134.

¹ В № 16 «Гражданина» от 22 апреля 1874 г. было объявлено, что «с настоящего номера Ф. М. Достоевский по расстроенному здоровью приужден (...) сложить с себя обязанности редактора журнала», но некоторые публикации этого номера, в частности стихотворения, явились завершением начавшего печататься при Достоевском. Далее до конца 1874 г. стихи в «Гражданине» были помещены лишь дважды (в № 41 и 51).

² Соловьев Вс. Воспоминания о Ф. М. Достоевском. СПб., 1881, с. 11.

После одного из таких свиданий 24 января 1873 г. он сообщил Достоевскому: «...вчера, выходя от Вас, я еще на Вашем дворе поправил поправившееся Вам стихотворение, но было уже поздно возвращаться. Вот что у меня вышло:

Побледнели уж краски заката,
Звезды первые слабо зажглись,
И давно соловьиные песни
В тихий сумрак с кустов полились.

Нету сил наболевшему сердцу
Обвинять за уснувшие муки,
И к тебе, обливаясь слезами,
Простираю я трепетно руки.

Не знаю, как Вам покажется эта поправка». ³ Стихотворение было опубликовано в «Гражданине» 17 декабря 1873 г. (№ 51) с отличиями во второй, третьей, четвертой и шестой строках, несколько меняющими ритмическую и речевую тональность и мотивировку переживаний:

.....
Звезды первые слабо зажглись,
Слышу я — соловьиные песни
Под навесами лип раздалися
.....
Дня протекшего взвешивать муки
.....

Кому принадлежат эти исправления, сказать трудно. Скорей всего, в данном случае — все же самому поэту, может быть, с учетом замечаний Достоевского. О роли Достоевского как редактора более явно говорят сохранившиеся автографы стихотворений Вс. Соловьева «К ясному небу восходит / Утра морозного пар» и «Я помню, стонала и выла метель за окном». ⁴ Достоевский выбрал для публикации только одно из этих стихотворений — первое, озаглавив его «*Зимнее утро*» и поставив под ним своей рукой подпись (Вс. С—в), и отредактировал его заключительную строфу, в третьей строке которой густо зачеркнул последнее слово и вставил определение «какие», придающее интонации фразы большую естественность и плавность:

— Маня, вставай поскорее,
Да подходи-ка ко мне —
Видишь *какие* цветочки [*крзб*] ⁵
Вышли на нашем окне! ⁶

³ ГБЛ, ф. 93.11.8.122.

⁴ Там же.

⁵ Здесь и ниже исправления Достоевского выделены курсивом, вычеркнутые им слова заключены в квадратные скобки.

⁶ ГБЛ, ф. 93.11.8.122.

Эта небольшая поправка способствовала общей выдержанности ритмического рисунка стихотворения, опубликованного в «Гражданине» 12 ноября 1873 г. (№ 46). Отклонил Достоевский, восприняв как не предназначенную для печати лирическую иллюстрацию к впечатлению во время путешествия, и стихотворение Вс. Соловьева «Чуть шепчутся в полдень горячий / Лазурные воды Лемана», посылая которое, тот писал 12 (24) июня 1873 г. из Женевы: «... устал страшно, а поговорить с Вами все же хочется, хочется еще, по несчастной привычке, сказать Вам то, что пригрезилось мне вчера на озере. Как Вы это найдете?! Разорвете или напечатаете к моему приезду?».⁷ С другой стороны, в подборке со стихотворением «Побледнели уж краски заката» Достоевский дал еще два понравившихся ему стихотворения Вс. Соловьева: одно со столь ценными им воспоминаниями о прошлом (ср. «Дневник писателя» за 1877 г., июль—август, гл. 1, § 1), навеянными посещением родных мест («Старый домик под тенью берез»), и второе, не очень оригинальное по поэтической фактуре, но отражающее диалектику «души», ее переходное состояние:

Разбиты старые кумиры,
Забиты старые виденья,
И звуком обветшалой лиры
Уж их не вызвать из забвенья.
Напрасно мир волшебной грезы
Еще порою в сердце рвется —
Не закипят былые слезы
И вдохновенье не проснется!
В мир прежних грез слабеет вера,
А новый мир еще далеко —
Кругом смятенье, нету меры,
Душа тоскует одипоко...

Еще более активное участие принимал Достоевский в отборе и редакции стихотворений начинающей поэтессы Л. Папковой (из более поздних ее публикаций у А. Мезьер зарегистрирован рассказ «Великолепные орхидеи» — Вестник Европы, 1900, № 6). В обнаруженном в архиве Пушкинского дома направленном Л. Папковой Достоевскому списке с переведенным ею стихотворением «Лорелея. Из Гейне» и собственным ее стихотворением «Когда ты лжешь — не трать искусства...» перевод из Гейне перечеркнут, т. е. сразу же отвергнут Достоевским.⁸ Вместо этого перевода, избилующего графаретными оборотами, вроде «дивной блесит красотой» или «чудную песню поет», в «Гражданине» 7 мая 1873 г. (№ 19) были напечатаны два более лапидарных перевода Л. Папковой из Гейне — «Жизнь — это знойный летний день...» и «Ночка темная, непроглядная...». Извещая Достоевского 8 июля 1873 г. о своем отъезде в Уфимскую губернию и

⁷ Там же.

⁸ ИРЛИ, № 29557.

прося «разрешения присылать иногда» свои стихотворения, Л. Папкова добавляет: «Кстати, посылаю Вам свое новое стихотворение, к которому я прошу Вас отнестись с такою же строгостью, как относились Вы к моим прежним произведениям».⁹ Приложенное стихотворение «Вслед за мгновением мгновенье...» Достоевский подверг правке, подбирая вместо неудовлетворявших его или слишком общих выражений ряд более значимых и точных: ¹⁰ к строке 4-й «Нам рану новую родит» присоединен вариант «Нам горе новое дарит»; над следующей, 5-й, строкой после «Но» начато и не окончено «каждый раз»; в 6-й строке вместо избитого сочетания «Источник счастья» поставлено «Источник силы»; 7-я строка «Чтоб усладить земное горе» заменена сначала на «Чтоб утолить людское горе», затем на «Чтоб облегчить людское горе»; глагол «слетает» из 8-й строки имеет варианты «сниходит», «является». После первых двух строк стихотворения рукою Достоевского обозначена подпись (*Л. П—ва*), а последняя, напыщенная и лишняя, на его взгляд, строфа отчеркнута и намечена к сокращению.¹¹ Окончательно обработал Достоевский стихотворение, переписав его начисто на листе с присланным Вс. Соловьевым стихотворением «Зимнее утро»:

Вслед за мгновением мгновенье,
Во след за часом час бежит,
И сердца каждое биенье
Нам рану новую сулит...

Но с лаской тихою во взоре —
Источник силы и чудес! —
Чтоб утолить земное горе,
Любовь слетает к нам с небес!¹²

Оба стихотворения помещены в одном и том же номере «Гражданина» от 12 ноября. Судя по приписке в письме Л. Папковой, сви-

⁹ ГБЛ, ф. 93.П.7.67.

¹⁰ Первоначальный текст Л. Папковой:

Вслед за мгновением мгновенье
Во след за часом час бежит,
И сердца каждое биенье
Нам рану новую родит.

Но с лаской тихою во взоре,
Источник счастья и чудес,
Чтоб усладить земное горе,
Любовь слетает к нам с небес.

И снова грудь свободой дышит,
Смолкает голос жгучих мук,
И вдохновенье ярко пышет,
И вновь родится стройный звук.

¹¹ ГБЛ, ф. 93.П.7.67.

¹² ГБЛ, ф. 93.П.8.122.

детельствующей о том, что она и ранее полностью полагалась на редактуру Достоевского, он так же поступал и в предшествующих случаях, доводя правку до конца и вряд ли возвращая с этой целью автору ее стихотворения (что находит подтверждение, как увидим ниже, в последовательности самой этой правки вплоть до завершения ее в печатных текстах). Следы существенной редакции Достоевского несут на себе автографы стихотворений Л. Папковой «Когда ты лжешь — не трать искусства...» и «Когда вокруг меня несется говор смутный...» (последнее было послано вместе с записанным ниже на том же листе стихотворением «Ветер дует, / Жалобно свистя...»,¹³ не принятым Достоевским в журнал). Редактируя первое из этих стихотворений,¹⁴ Достоевский особенно заботился об афористической выразительности концовки, конкретизирующей описание человеческих взаимоотношений образной параллелью из мира природы. Сначала правка коснулась 2-й строфы в целом:

Напрасен взглядов жгучий пламень,
[И сердца] Себя ты попусту не мучь...
Напрасно на надгробный камень
[Порой льет] Шлет солнце [теплый] свой горячий луч.¹⁵

Над самым кульминационным сравнением Достоевский размышлял, даже уехав в Москву, где 4 апреля 1873 г. зафиксировал в записной тетради новый вариант заключительных строк стихотворения:

*Что пользы на могильный камень
Лить солнцу свой горячий луч?* (21, 261).

Окончательный же текст последней строфы в публикации «Гражданина» от 11 июня 1873 г. (№ 24) создан на основе объединения ранней правки в московской записи:

¹³ Автографы стихотворений Л. Папковой, хранящиеся в ГБЛ в качестве дополнения к письму ее Достоевскому от 8 июля 1873 г., посылались не в один, как указано в академическом издании (21, 511), а в два приема: «Вслед за мгновением мгновенье...» было приложено к письму, а уже напечатанное к этому моменту «Когда вокруг меня несется говор смутный...» (см. ниже) и «Ветер дует /, Жалобно свистя...» были отправлены ему раньше.

¹⁴ Первоначальный текст Л. Папковой:

Когда ты лжешь — не трать искусства,
Когда не лжешь — мне все равно:
Тобой осмеянное чувство
Давным давно скоронено.

Напрасен взглядов жгучий пламень,
И сердца попусту не мучь...
Напрасно на надгробный камень
Порой льет солнце теплый луч.

¹⁵ ИРЛИ, № 29557.

Напрасен взглядов жгучий пламень...
Себя ты попусту не мучь:
Напрасно на могильный камень
Льет солнце свой горячий луч!

Стихотворение «Когда вокруг меня несется говор смутный...»¹⁶ было в значительной мере переработано Достоевским, который, как показывают многочисленные исправления, стремился усилить противопоставление лирической героини толпе, образнее оттенить ее одиночество. Начало варьировалось несколько раз:

- Когда вокруг меня несется говор смутный
Бесчисленной толпы, [веселый] веселой и живой,
а. Я жгуче чувствую [сильней] себя такой чужой —
б. Я чувствую [сильней] с людьми себя такой чужой —
в. Я чувствую [сильней] себя [всегда] всему чужой —

В 5-й строке к эпитету «жгучею» подбирались другие: «завистливой», «злобною». Добиваясь простоты и в то же время экспрессивности поэтической речи, Достоевский наметил в последующих строках стихотворения некоторые смысловые и ритмические сдвиги и перевел повествовательную форму в вопросительную:

Зачем родного мне лица [в толпе] не вижу я,
[В толпе] Зачем я [всё] [здесь] всё одна, одна с моим
несчаст[ьем] [чужб]
В минуту злобных дум, завистливой тоски
Зачем они нейдут ко мне с [своим] приветом,
Не спросят, что со мной, не жмут моей руки

Рядом с 8-й строкой начато еще «В минуты злобные», в 9-й над «они» поставлено «никто», а в конце к этой же строке присоединено два дополнительных варианта:

- а. Никто из них нейдет ко мне [с своим] участием
б. Зачем никто нейдет ко мне с своим [неоконч.]

(вместо «[с своим]») сбоку страницы приписано «с затверженным».¹⁷ Эти изменения были окончательно закреплены Достоевским в печатном тексте «Гражданина» от 2 июля 1873 г. (№ 27), где стихотворению предпослано и соответствующее заглавие:

¹⁶ Первоначальный текст Л. Папковой:

Когда вокруг меня несется говор смутный
Бесчисленной толпы, веселый и живой,
Я чувствую сильней себя такой чужой —
Такой заброшенной, ненужной, неприютной,
И жгучею тоской сожмется грудь моя;
Знакомого лица в толпе не вижу я,
В толпе я всё одна, одна с моим несчастьем!
В минуты черных дум, мучительной тоски
Никто не подойдет с приветливым участием,
Не спросит, что с тобой и не пожмет руки.

¹⁷ ГБЛ, ф. 93.11.7.67.

Вопросы

Когда вокруг меня несется говор смутный
Бесчисленной толпы, веселый и живой,
Я горше чувствую себя всему чужой, —
Такой заброшенной, ненужной, бесприютной!
Завистливой тоской теснится грудь моя.
Зачем родного здесь лица не вижу я?
Зачем я всё одна как с вывеской несчастья?
В мгновенья злобные моей меж них тоски
Зачем никто из них не подойдет с участием,
Не спросит: что со мной, и не пожмет руки?

Стихотворение фактически было перекомпоновано Достоевским заново. Очевидно, именно в пору работы над ним в записной тетради Достоевского — в соседстве с упоминанием номера «Московских ведомостей» от 20 июня 1873 г., — появилась заметка: «О стихах. Легче мыслить. Л. Папкова» (21, 258).

Отредактировано было, вероятно, Достоевским и стихотворение биографа Лермонтова П. А. Висковатова «Ты моя радость, моя ты звезда». П. А. Висковатов, познакомившийся с Достоевским в начале 70-х гг. и приславший ему одним из первых, еще до окончания романа, 6 марта 1871 г. хвалебный отзыв о «Бесах»,¹⁸ с 1873 г. занял должность профессора Дерптского университета по кафедре русской словесности и бывал в Петербурге наездами. При встрече, должно быть, он и вручил Достоевскому свой лирический набросок. Стихотворение это, появившееся в «Гражданине» 28 мая 1873 г. (№ 22), вызвало иронический отклик рецензента «С.-Петербургских ведомостей» (подпись «Z»), который воспроизвел его в своем обзоре «Журналистики» как образец «конфетного стихотворства „Гражданина“». ¹⁹ О том, что Достоевский сам не очень высоко расценивал подобные стихотворения, говорит составленный им в записной тетради проект «Следующего № (24)», в перечне содержания которого фигурируют «Стишки» (21, 261, 517). К разряду «стишков» он относил, по-видимому, не только стихотворения П. А. Висковатова и Л. Папковой, но в какой-то мере и стихотворения Вс. Соловьева и некоторые менее удачные стихотворения Вас. И. Немировича-Данченко (вроде сентиментального стихотворения «Пережитая ночь» из цикла «Мгновенья», напечатанного вместе со стихотворением Л. Папковой в упомянутом № 24), как правило, более своеобразные и профессиональные по уровню.

Вас. И. Немирович-Данченко, впоследствии автор многочисленных беллетристических произведений, демократических по направлению, не лишенных наблюдательности и живописности, но несколько поверхностных, начал печататься еще в ранней юности, в 60-х гг., на страницах мелких периодических изданий. Пройдя тяжелую школу петербургских мытарств, он был судим, лишен дворянских прав и сослан в 1869 г. в Архангельск. Там он слу-

¹⁸ ГБЛ, ф. 93.11.2.38.

¹⁹ С.-Петербургские ведомости, 1873, 16 июня, № 163.

жил по частному найму в канцелярии губернатора, собирая статистические данные о Севере и много путешествуя. Обобщая свои впечатления, он стал отправлять в Петербург в различные журналы и газеты очерки и корреспонденции, одна из которых привлекла внимание начальства, вызвала недовольство, а это привело к увольнению со службы и необходимости существовать только литературным трудом. Как поэта первым его поддержал Некрасов, опубликовав в 1871—1872 г. в «Отечественных записках» под общим заглавием «Из песен о павших» сначала пять (1871, № 11), потом еще два его стихотворения (1872, № 2) о судьбе обездоленных, угнетенных обществом, «падших» людей.²⁰ Об отношении Достоевского к Вас. И. Немировичу-Данченко как литератору сохранились два противоречащих друг другу свидетельства. Князь В. П. Мещерский в своих мемуарах утверждает, что инициатива привлечения Немировича-Данченко в «Гражданин» еще в 1872 г. принадлежала Достоевскому, который «однажды» пришел и «с восторгом» сообщил «об очерках с севера некоего Немировича-Данченко». Повествуя далее о завязавшей переписке с «талантливым автором» и совместных хлопотах об его участии, Мещерский отмечал: «Радость Достоевского, когда он нападал на след или на признаки таланта, была трогательна и характерна».²¹ За 1872 г. и в 1873 г., при Достоевском, в «Гражданине» были помещены корреспонденции и циклы «путевых очерков» Данченко «На развалинах Севастополя» (1872, № 6), «Очерки Севера» (1872, № 2, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 21), «В Соловки» (1872, № 22, 23, 27, 28, 30), «На озере» («Легенда упраздненного скита»), «Из Архангельска. Несколько слов о спектаклях в Холмогорском уезде» (1873, № 15—16), «Неведомые пустыни («Новая земля» и «Остров Вайгач»)» (1873, № 15-16, 19, 38), а также три его «воскресных рассказа» (1872, № 33; 1873, № 4, 13). Позднее ряд этих публикаций вошли в отдельные книги очерков Немировича-Данченко, изданных в 1874—1875 гг., и были положительно оценены И. С. Тургеневым, А. М. Горьким и др. Неизвестно, можно ли верить Мещерскому: по записи метранжажа М. А. Александрова, Достоевский об уже печатавшихся в «Гражданине» очерках Немировича-Данченко отозвался неодобрительно: «... что вы находите хорошего, — говорил он, — в литературном произведении, где только и речи, что были мы там-то, потом поехали туда-то, там пробыли столько-то времени и видели то-то и прочее в таком роде, без идеи, даже без мысли».²² В письме от 16 октября 1873 г., извиняясь за привлечение «исключительного

²⁰ См.: *Боград В. Э., Вильчинский В. П.* «Песни о павших» Вас. Ив. Немировича-Данченко (эпизод из редакторской практики Некрасова). — В кн.: Некрасовский сборник. Л., 1967, т. 4, с. 207—213.

²¹ *Мещерский В. П.* Мои воспоминания. СПб., 1898, ч. 2, с. 177.

²² Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика М. А. Александрова. Отгиск из «Русской старины», 1892. Апрель. С авторскими примечаниями. — ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 216 (см. также: Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 340).

внимания» к своим находящимся в редакции «статьям», Немирович-Данченко напоминал Достоевскому, что живет «с семьей исключительно одной литературной работою» и просит Достоевского ускорить, «если возможно», их напечатание или «пометить в прилагаемом списке, какие статьи приняты, какие нет и последние выслать» ему.²³ Однако после этого письма в «Гражданине» появился лишь один очерк Немировича-Данченко, и притом уже после того, как Достоевский сложил с себя обязанности редактора (в № 17 от 29 апреля 1874 г. — «Охота за яйцами морских птиц (Из мурманских впечатлений)»). Стихотворения же его печатались часто, с апреля 1873 по апрель 1874 г., до последнего подготовленного при Достоевском номера. Возможно, что поэтическому творчеству Немировича-Данченко Достоевский как редактор стал отдавать предпочтение перед его прозой и, зная о его тяжелом материальном положении, заботился о пересылке ему денег (см. ряд составленных Достоевским счетов, с такой, например, характерной пометой в одном из них: «Данченке за все...»)²⁴ Стихотворения Немировича-Данченко, опубликованные в «Гражданине», различны по своей значимости. Некоторые из них написаны в обобщенно-романтическом духе, как, например, упомянутые выше стихотворения «Пережитая ночь» и «На челноке» из того же цикла «Мгновенья», или мелодраматически эффектны, как растянутое обличительное стихотворение «Капудин», возбудившее, по всей вероятности, недовольство А. Н. Майкова, который писал А. Г. Достоевской: «Не забудьте сказать Федору Михайловичу, чтобы остановились печатать ту стихотворную воду, которая разлилась на 4-х страницах последнего „Гражданина“. Это невозможно!»²⁵ (дата не обозначена, год указан А. Г. Достоевской). Скорей всего письмо датируется серединой августа 1873 г., временем публикации «Капуцина» (№ 33), способного не только своим объемом — четыре колонки на трех страницах, но и содержанием вызвать отрицательную реакцию Майкова, которую вряд ли можно отнести к тоже большому по размеру стихотворению позднее известного своими талантливыми переводами поэта П. А. Козлова «Май», заключающему в себе динамичный драматизированный диалог между «поэтом» и его «музой» («Гражданин», 1873, 29 янв., № 5). Лучшие стихотворения Немировича-Данченко, такие как «Странник», «В горах», «Желание», «Родина», «Жена изгнанника», переводы с сербского, «Из путевого альбома. На Имандре» и другие, воспроизводящие картины северной и кавказской природы или посвященные темам странничества, изгнания, жизни народов Севера, порабощения славян, в которых звучали мотивы жажды «воли», движения, «бури» и сочувствия угнетенным и отверженным, продолжали начатую публикацией в «Отечественных записках» струю его по-

²³ ГБЛ, ф. 93.11.7.10.

²⁴ Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 305.

²⁵ Лит. наследство, 1973, т. 86, с. 433.

этического творчества, развивавшегося в дальнейшем в русле традиции Некрасова.²⁶ Ряд наиболее характерных стихотворений Вас. И. Немировича-Данченко (в том числе «Желание») до сих пор включаются в хрестоматии, сборники и антологии демократической поэзии того времени.²⁷ Стих его, по словам современного исследователя, отличался «легкостью и силой поэтической речи и эмоциональной приподнятостью».²⁸ Достоевский, очевидно, не вносил в стихи Немировича-Данченко каких-либо исправлений.²⁹

В связи с редактированием Достоевским присылаемых ему стихов необходимо остановиться еще на одном эпизоде, находящемся за пределами исполнения им этих обязанностей в «Гражданине». Среди многочисленных корреспондентов Достоевского, пробовавших свои силы в литературе и просивших у него совета, был и совсем неизвестный начинающий любитель К. С. Константинов, который 12 октября 1877 г. (дата на почтовом штампе) сообщил о себе автору читаемого в ту пору повсеместно «Дневника писателя»: «Отец мой был бедным учителем; рано умерев, он оставил мне азбуку да еще два или три кое-каких руководства; с этим наследством вышел из меня честный ремесленник, — и это, конечно, слава богу, а еще больше слава богу за то, что я вижу в себе сильные задатки литературного таланта; но, зная, что человеку легко быть пристрастным к себе, я думаю: не заблуждаюсь ли я относительно себя? — Будьте так добры — не откажитесь быть моим судьей...

Я не осмелился послать к Вам моих произведений с этим письмом, не испросив у Вас позволения на это».³⁰ На конверте письма К. С. Константинова стоит помета Достоевского: «*Ответил*». Видимо, сразу же после ответа Достоевского Константинов выслал ему свою тетрадь со стихами (она не сохранилась), а 19 ноября вместе с новым письмом еще пять стихотворений, которые просил присоединить к ранее отправленным.³¹ На рукописях этих дошедших до нас пяти стихотворений Константинова нет правки Достоевского, не нашедшего возможным их опубликовать. Но сохранились автографы еще трех стихотворений

²⁶ См.: *Немирович-Данченко В. И.* 1) Стихотворения. СПб., 1882; 2) Избранные стихотворения. М., 1893; 3) Стихи. 1863—1901. 2-е изд. СПб., 1902.

²⁷ См.: Русские поэты XIX века: Хрестоматия. 3-е изд. М., 1964, с. 829—830; Поэты-демократы 1870—1880-х годов. Л., 1968, с. 604—630 (Библиотека поэта. Большая серия); Поэзия Югославии в переводах русских поэтов. М., 1976, с. 53—54, 317.

²⁸ См.: Русские поэты XIX века, с. 829 (в прамбуле Н. М. Гайденкова).

²⁹ Доказательством этого может служить отсутствие различий между публикациями «Гражданина» и текстами некоторых стихотворений, включенных из него в отдельные сборники, в то время как в стихотворениях, отредактированных Н. А. Некрасовым для «Отечественных записок», Вас. И. Немирович-Данченко при переиздании восстановил в большинстве случаев свой первоначальный текст (см. об этом: Некрасовский сборник, т. 4, с. 211).

³⁰ *Вопр. лит.*, 1971, № 11, с. 205—206; полный текст письма см.: ИРЛИ, № 29745.

³¹ ЦГАЛИ, ф. 212.1.79.

К. С. Константинова «Осенние недуги» и «Жизнь без прикрас» (под этим названием объединены два стихотворения), два из которых, возможно, Достоевский все же пробовал подготовить к печати, так как на них есть его пометы. В стихотворении «Осенние недуги» он выровнял ритм одной из строк, исправил неловкий речевой оборот в другой («Давно соловьи замолчали» вместо «Уж петь соловьи перестали», «На дамских поношенных лицах» вместо «У дам на поношенных лицах») и исключил последнее четверостишие, где Константинов от более приемлемого для Достоевского описания прозы осенней природы и жизни переходил к воспеванию будущей весны.³² Из двух других стихотворений, озаглавленных «Жизнь без прикрас», в первом — «Когда еще детьми с тобой мы были...» — нет никакой правки. Скорей всего, Достоевский не собирался его воспроизводить и предпочел ему второе — «Да, милая, я долго помнить буду...», — в котором заменил спотыкающуюся концовку «О нет — мирясь в душе с моим страданьем, / Живу для ласки, для прощенья, для любви» более четкой и энергичной: «Нет, я живу одним моим страданьем... / Для ласки, для прощенья, для любви!». Стихотворения эти, судя по подписи А. Г. Достоевской на обложке, Достоевский, вероятно, намеревался передать в «Гражданин». Однако они там не появились.

Из сказанного можно заключить, что редакторская «воля» Достоевского выражалась, помимо участия в отборе стихотворений для журнала, также в исправлениях текстов начинающих поэтов, личность и стихи которых вызывали у него сочувствие. Что касается поэтов с уже определенно выявившейся индивидуальностью, таких, например, как Ф. И. Тютчев, П. А. Козлов, А. Н. Майков, то в их стихи Достоевский, по-видимому, не считал для себя возможным вмешиваться.

В. Д. РАК

К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ В АПРЕЛЬСКОМ ВЫПУСКЕ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» ЗА 1876 г.

На обратной стороне отдельного небольшого листка, озаглавленного «Словечки» и содержащего черновые заметки к «Братьям

³² После пятой строфы:

О, птички, забавные птички!
Они рассудили отлично,
Что в наше практичное время
Им петь о любви не прилично... —

рукой Достоевского проставлена подпись (С. Константинов) и далее зачеркнуто:

Но, милые птички, я верю:
Наступит весна золотая —
И песнью любви вдохновенной
Зальются пернатые стаи.

Карамазовым» (ИРЛИ, ф. 100, № 29444; см.: 15, 211—212), записаны следующие шесть стихотворных строк:

Турк, Перс, Прусс, Франк и мстительный Гишпанец,
Италья сын и сын наук Германец,
Меркантилизма сын, стрегущий свой товар,
И просвещение несущий всем швейцар
Пред Россом станут все, склонясь главами, рядом,
А Росс, вняв воплям их, не обернется задом.

Над четвертой строкою и под шестою вписаны варианты, с учетом которых они читаются:

И просвещенья сын услужливый швейцар
И
А Росс, влюбя их, к ним не обернется задом.

Это стихотворение было опубликовано А. С. Долининым в составе черновых материалов к «Братьям Карамазовым»¹ и приписано им Д. И. Хвостову² на том основании, что под именем незадачливого современника Державина и Пушкина («стих, кажется, графа Хвостова») четыре первые строки были напечатаны якобы по памяти («я помню даже четверостишие, в котором поэт перечисляет все народы Европы») в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (22, 116). Между тем в сочинениях «певца Кубры» нет подобного фрагмента, как не обнаружен он и у других поэтов той поры.

При отрицательном результате поисков такого рода никогда, разумеется, не может быть окончательной уверенности в том, что подозреваемая, но не найденная цитата не проскочила мимо внимания, затерявшись на одной из множества перелистанных страниц, или не скрывается в какой-то из книг, по той либо иной причине оставшихся не просмотренными. Тем не менее в данном случае имеются некоторые основания предполагать, что автором был сам Достоевский, который намеренно ввел читателей «Дневника» в заблуждение.

Первая строка начинается скрытой цитатой из державинской оды «На взятие Измаила» — из той ее строфы, где воспеваются великодушные Росса-победителя:

Лишь ты, простря твои победы,
Умел щедроты расточать:
Поляк, турк, перс, прус, хин и шведы
Тому примеры могут дать.
На тех ты зришь спокойно стены,
Тем паки отдал грады пленны;
Там унял прю, тут бунт смирил;
И сколь ты был их победитель,

¹ Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935, с. 94.

² Там же, с. 361.

Не меньше друг, благотворитель,
Свое лишь только возвратил.³

Стихотворение, записанное Достоевским на черновом листке, выражает ту же мысль, что и державинская строфа, о которой оно напоминает цитатой; однако представленная последними двумя строками картина, рисуемая неуклюжим языком, придает всему фрагменту пародийный смысл и создает именно то впечатление, которое отлично соответствовало зыбкому, нечеткому представлению о поэзии графа Хвостова, складывавшемуся у людей последующих поколений не из непосредственного с нею знакомства, но из репутации автора, составившейся еще при его жизни, а далее передававшейся от десятилетия к десятилетию отзывами его знаменитых противников, в чьих широко читаемых сочинениях они находились в непрестанном обращении, свидетельствами мемуаристов, оценками в критических статьях и работах по истории литературы. Это впечатление поддерживается и другими чертами: назойливым повторением слова «сын», тавтологией «Прусс — Германец», сменой размера в последних двух строках. Варианты четвертой и шестой строк еще более «подгоняют» стихотворение под перо, создавшее печально-бессмертной славы «зубастых голубей».

Если, таким образом, принять заявление Достоевского на веру, то он помнил какую-то пародию на Державина и считал ее автором, с известной долей неуверенности, Д. И. Хвостова. Зачем бы в этом случае искать ему в черновике возможность усилить «хвостовский» колорит? Никаких видимых причин для этого не обнаруживается, тем более что в «Дневнике писателя» варианты не получили отражения. Правда, изменения, предполагавшиеся в четвертой строке, связаны, как будет видно ниже, с развитием собственной мысли Достоевского, но в последней они чисто стилистические, «à la Хвостов», и потому ни в малейшей мере не являлись результатом приспособления чужой строфы к своим целям. К тому же, если бы это действительно был отрывок из какого-то поэтического произведения конца XVIII—начала XIX в., то, поскольку он уже долго и крепко держался у Достоевского в голове, не было бы никакой необходимости выписывать его целиком, а достаточно было бы, как писатель поступал в подобных случаях, ограничиться краткой заметкой-сигналом о намерении воспользоваться этим хорошо знакомым фрагментом. Следовательно, пояснение Достоевского, что цитата приведена им по памяти, вызывает большие сомнения.

С другой стороны, загадочное стихотворение очень хорошо вписывается в круг шуточных поэтических набросков Достоевского (17, 15—27), и если допустить, что принадлежит оно са-

³ Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957, с. 162; курсив — автора статьи. Слово «Франк» в записи Достоевского можно рассматривать как входящее в цитату подменю слова «хин».

тому автору «Дневника писателя», то варианты не вызывают недоумения, возникающего при атрибуции Хвостову или кому-либо из его современников. Находится весьма правдоподобное объяснение и тому, почему Достоевский навел своих читателей на ложный след. Строка про швейцара оказалась подходящей, чтобы ее привести в полемике с В. Г. Авсеенко, но в отличие от всех других, подлинных цитат ее источник никому из читателей не был, естественно, известен, и потому требовалось как-то ее прокомментировать. Напечатать все стихотворение и назвать его истинного автора не позволял серьезный контекст: нельзя было выглядеть забавником, споря по важному, принципиальным вопросам. Маска Хвостова превосходно спасала положение (кто помнит, что он писал, и тем более станет перерывать тома его эпигонской поэзии, чтобы найти цитату!); но и при этом две последние строки были неудобны для печати.

Встает, однако, вопрос, не выписал ли Достоевский разбираемое пародийное стихотворение из какого-то издания — журнала, газеты или книги — 1870-х гг.

По наблюдениям комментатора черновых материалов к «Братьям Карамазовым», листок находился первоначально в тетради 1874—1875 гг.; заполнялся он в период работы над «Подростком» и обдумывания первых выпусков «Дневника писателя», а несколько лет спустя был вырван и присоединен к наброскам нового романа (15, 415, 610—611).⁴ Атрибутируемое стихотворение было записано не позднее апреля 1876 г., верхний предел датировки определяется лишь предположительно, сравнением с предыдущими записями. Выше стихотворения находится фраза, включенная в несколько измененном виде в январский номер «Дневника писателя» за 1876 г. («Э-эх! Да зачем же и жить, коли не для гордости?» — 15, 212; ср.: 22, 5); она была повторена в тетради 1875—1876 гг. на странице, заполнявшейся 5—8 ноября 1875 г. (24, 67), но вписана там на полях, т. е., очевидно, позднее, и не может служить ориентиром для датировки первичного ее появления у Достоевского. Сразу после этой фразы на листке значится слово «Медиумяты» (15, 212). Достоевский не обходил вниманием статьи по спиритизму, появившиеся в начале 1875 г., однако пристально следил за дискуссией с осени, когда полемика накалилась (22, 334—335). Отсюда наиболее вероятным представляется, что вряд ли эта запись была сделана до последних месяцев года и, следовательно, к ним сдвигается ранний предел датировки стихотворения.

Круг чтения Достоевского в промежутке с осени 1875 до апреля 1876 г. подробно изучен комментаторами «Подростка» и «Дневника писателя», не встретившими приведенного в апрель-

⁴ Последним был в декабре 1876 г. записан стихотворный набросок «Крах конторы Баймакова...» (17, 33), а затем в 1878 г. выше него и после стихотворения «Турк, Перс, Прусс, Франк...» была внесена еще одна фраза (15, 611).

ском номере четверостишия. Если, тем не менее, допустить, что все же оно спрятано где-то в художественных произведениях или критических либо публицистических статьях, прошедших в это время через руки Достоевского, то непонятно, зачем понадобилось его приписывать Хвостову, ссылаться на свою память и переделять последнюю строку. Кроме того, с ноября 1875 г. все показавшееся Достоевскому примечательным из прочитанного так или иначе отразилось в записной тетради, но на это стихотворение в ней никаких намеков не встречается. Таким образом, хотя и существует вероятность того, что искомый фрагмент покоится в комментаторских лакунах 1875 г., она в действительности очень мала.

Наконец, черновые записи позволяют предположить, что строка «И просвещение несущий всем швейцар...» вызревала постепенно в течение зимы—весны 1876 г.

В «Сюжетах для романов», относимых гипотетически к январю 1876 г. (22, 394), есть записи про обычай вверять воспитание детей педагогам из Швейцарии: «Из-за границы принято, что всё умнее. Если б изобрел русский систему воспитаний, господи, да его бы съели <...> Это прилично швейцарцу, немцу — ну, так и выписать его, а я генерал» (22, 147). Мысль перекликается с тем, что говорится по этому же поводу в апрельском выпуске «Дневника писателя», но весьма здесь уместная строфа Хвостова почему-то в этом случае Достоевскому не вспоминается. Не потому ли как раз, что еще не сочинена и нет даже замысла? (Если «Сюжеты для романов» записаны не в 1876, а в 1873 г., этот опровергающий авторство Хвостова довод сохраняет свою силу).

В конце января на процессе С. Л. Кроненберга заходила речь о содержателе пансиона для девочек в Женеве де Комба и зачитывались его письма, в которых обосновывалось происхождение каждого знака на теле воспитывавшейся в этом заведении дочери подсудимого (22, 352). Хотя в февральском «Дневнике» об этом говорится мимоходом, отрицательное эмоциональное впечатление от подобной скрупулезной бухгалтерии, будучи, но-видимому, сильным и продолжительным, а также поддерживаясь негодованием против воспользовавшегося ею В. Д. Спасовича, могло сыграть какую-то роль в том, что в апреле, полемизируя с В. Г. Авсеенко, Достоевский возвратился к теме антипатичных ему швейцарцев-учителей.

В черновых заметках к первой главе апрельского выпуска, набросанных в тетрадях 1875—1876 и 1876—1877 гг., «швейцар» упоминается трижды (24, 184, 188, 196), но посвященная ему стихотворная строка опять ни в одной из этих записей никак не фигурирует, несмотря на то что вторая из них представляет уже, например, очень точный конспект-план той-главки апрельского выпуска, в которую войдет «цитата». Если учесть, что третья запись сделана позднее чтения газеты «Голос» за 19 апреля (24, 195) и что в черновых заготовках буквально каждого месяца предполагавшиеся для него темы, даже отдельные мысли и

фразы, тем более особенно важные или выразительные, варьировались, как правило, Достоевским неоднократно и на разные лады, эту «забывчивость», тянувшуюся столь долго, вряд ли можно признать случайной: строфы, очевидно, по-прежнему не существует.

В последней записи оформляется каламбур: «Швейцар, потом их стали называть прямо в швейцары» (24, 196). Из этого в контексте всех предыдущих аргументов следует, что стихотворение «Турк, Перс, Прусс, Франк...» было, наверное, сочинено позднее с целью обыграть двойное значение слова «швейцар», написанного специально со строчной буквы в противоположность именам всех других (см. текст в начале статьи).

На стадии чернового автографа появилась, наконец, строка про швейцара, сначала в набросках (22, 224), а затем в окончательном тексте. Каламбур обыгран последовательным употреблением строчной буквы через всю главку, что будет выдержано и в печати (22, 114—118). В это же время помещается внизу страницы примечание, объясняющее происхождение «цитаты»; четверостишие не приводится еще целиком, а представлено двумя начальными словами «Турк, Перс».⁵ Видимо, оно или уже готово, или находится в процессе создания. Отвергнутый в конце-концов вариант четвертой строки явно вызван к жизни поисками усиления каламбура.

Лишь в наборной рукописи включена подделка под Хвостова в текст «Дневника», причем ради колорита старинной поэзии слово «швейцар» напечатано с прописной буквы.

Резюмируем: совокупность косвенных доводов поддерживает гипотезу о принадлежности Достоевскому стихотворения «Турк, Перс, Прусс, Франк...», которое предположительно можно датировать последней декадой апреля 1876 г.

Е. И. КИЙКО

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ «БРАТЬЕВ КАРАМАЗОВЫХ»

1. Реализм фантастического в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» и Эдгар По

Исследователи неоднократно отмечали, что интерес Достоевского к Эдгару По во многом определялся тем, что некоторые особенности творчества этого американского писателя были близки ему самому.¹

⁵ В опубликованных вариантах чернового автографа (22, 225, варианты к с. 116, строкам 42—46) ошибочно указано, что нет и этих двух слов. Следовательно напечатать: «Текста: Прусс ∞ Швейцар ... — нет» (см. черновой автограф апрельского выпуска, с. 65).

¹ Видяс М. Достоевский и Эдгар Аллан По. — Scando-Slavica, Copenhagen, 1968, t. 14, p. 21—32; Delaney-Grossman J. Edgar Allan Poe in Russia: A Study in Legend and Influence. Würzburg, 1973, p. 44—53. Ср. также:

Еще в 1861 г. в предисловии к публикации рассказов По в журнале «Время» Достоевский писал: «Эдгар Поэ только допускает внешнюю возможность неестественного события (доказывая, впрочем, его возможность, и иногда даже чрезвычайно хитро) и, допустив это событие, во всем остальном совершенно верен действительности» (19, 88).

В этом же предисловии Достоевский отметил еще одну черту таланта Э. По, а именно силу его воображения. «Не то чтобы он превосходил воображением других писателей; но в его способности воображения есть такая особенность, — писал далее Достоевский, — какой мы не встречали ни у кого: это сила подробностей <...> в повестях Поэ вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что наконец как будто убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно или еще никогда не случалось на свете» (19, 89).

Однако Достоевский не только сочувственно констатировал своеобразие художественных приемов изображения фантастического у Эдгара По, но и сам в аналогичных случаях шел тем же путем. Одним из характерных примеров, подтверждающих справедливость этого утверждения, является девятая глава одиннадцатой книги романа «Братья Карамазовы» «Черт. Копмар Ивана Федоровича».

В 1870-х гг., когда создавались «Братья Карамазовы», об Эдгаре По много писали критики демократического лагеря, особо отмечавшие антибуржуазную направленность его произведений. Так, Н. В. Шелгунов говорил о По: «Его душит Америка своим филистерством и меркантилизмом». И далее, характеризуя особенность психологизма По, Шелгунов, в сущности солидаризуясь с точкой зрения, высказанной ранее Достоевским, писал, что Э. По «сделал попытку определить анализом те процессы души, которые для большинства остаются непонятными, неясными и невыслеженными. Для положительных людей Эдгар По непонятен, но он им непонятен только потому, что они умеют считать до четырех».² Произведения По и статьи о нем неоднократно запрещались цензурой.³

В течение 1870-х гг. в русской периодике и в сборниках были напечатаны переводы более двадцати рассказов Эдгара По и его поэмы «Ворон» с предисловием автора, озаглавленным «Философия творчества».⁴

Соркина Д. Л. «Фантастический реализм» Достоевского. — Учен. зап. Томск. гос. ун-та, 1969, № 77, с. 112—124; Сафиуллин Я. Г., Мазина Л. М. Э. По и Ф. Достоевский. (К типологии фантастики). — В кн.: Романтизм и реализм в литературных взаимодействиях. Казань, 1982, с. 43—58.

² Дело, 1874, № 7—8, с. 363.

³ Об этом см.: Николькин А. Н. Литературные связи России и США. М., 1981, с. 342—346.

⁴ Библиографию переводов из Эдгара По см. в кн.: Delaney-Grossman J. Edgar Allan Poe in Russia, p. 191—198; ср.: Либерман В. А. Американская

Популярность Эдгара По в России 1870-х гг. объяснялась не только социальными причинами, но еще и тем, что в его произведениях давались «реалистические» объяснения гипнотизма, месмеризма, спиритизма и других подобных явлений, а это отвечало настроениям интеллигенции, в среде которой в то время проявились особый интерес к «таинственным» явлениям природы и стремление объяснить их «научно».⁵ Настроения эти, порожденные бурным развитием эмпирического естествознания, приобрели общеевропейский характер и побудили Ф. Энгельса написать в 1878 г. статью «Естествознание в мире духов».⁶

О неослабевающем интересе Достоевского к американскому романтизму свидетельствует тот факт, что, работая в 1877 г. над «Сном смешного человека», имеющим подзаголовок «Фантастический рассказ», писатель сделал на полях рукописи заметку: «У Эдгара По» — именно в том месте, где шла речь о странностях и особенностях сновидений (25, 231). Достоевский в данном случае, очевидно, мысленно сопоставлял ощущения погруженного в сон «смешного человека» с теми, которые испытывают герои По в «Месмерическом откровении» и в «Повести Скалистых гор»: «бодрую во сне» (выражение Э. По), они постигают истину и иррациональные стороны бытия.⁷

Таким образом, вполне естественно, что, задумав главу о черте, Достоевский вспомнил об аналогичных эпизодах в рассказах Э. По и постарался, как и его предшественник, объяснить фантастическое событие, происшедшее с его героем, «реалистически», т. е. с медицинской, научной точки зрения. А это, в свою очередь, соответствовало и духу времени.

Имея в виду этот эпизод романа, Достоевский писал своим издателям: «... я давно уже справлялся с мнением докторов (и не одного). Они утверждают, что не только подобные кошмары, но и галлюцинации перед „белой горячкой“ возможны. Мой герой, конечно, видит и галлюцинации, но смешивает их с своими кошмарами. Тут не только физическая (болезненная) черта, когда человек начинает временами терять различие между реальным и призрачным (что почти с каждым человеком, хоть раз в жизни, случалось), но и душевная, совпадающая с харак-

литература в русских переводах и критике. М., 1974, с. 193—195. — И в том, и в другом указателе имеются пропуски, но они друг друга дополняют.

⁵ Об увлечении в русском обществе спиритизмом Достоевский писал в «Дневнике писателя» за 1876 г. (см.: 22, 99—101, 126—132 и примеч. В. Д. Рака: 368—369, 384—386). «Таинственные» повести в это время писали И. С. Тургенев, В. М. Гаршин и др. Об этом см.: *Бялый Г.* Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 208—221.

⁶ Статья эта, не опубликованная при жизни автора, вошла в состав «Диалектики природы» (см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20, с. 373—389).

⁷ Об этом и о жанровой однородности «Сна смешного человека» Достоевского и рассказов Э. По см. в примечаниях В. А. Туниманова (25, 397—400).

тером героя: отрицая реальность призрака, он, когда исчез призрак, стоит за его реальность» (II, IV, 190).

Глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» не была предусмотрена первоначальным планом романа. Впоследствии Достоевский признавался: «Хоть и сам считаю, что эта 9-я глава могла бы и не быть, но писал я ее почему-то с удовольствием» (там же).

Генетически сцена разговора Ивана с чертом в «Братьях Карамазовых» связана с эпизодом, исключительным Достоевским из «Бесов» уже на стадии работы над журнальной редакцией романа.⁸ Там Ставрогин рассказывал Даше о посещавшем его «бесе» (12, 141). Можно предположить, что идея развить этот только намеченный в «Бесах» мотив в новом романе в какой-то степени связана с тем, что в это время Достоевский прочитал рукопись фантастической повести Ю. Ф. Абаза, герой которой вызвал с его стороны резкую критику. Объясняя своей корреспондентке недостатки ее произведения, Достоевский вновь вернулся к проблемам фантастического в литературе, и у него могло возникнуть желание дать свой вариант художественного образа в этом роде. Отвечая Ю. Ф. Абаза, Достоевский писал: «... Ваш потомок ужасного и греховного рода изображен невозможно. Надо было дать ему страдание лишь нравственное <...> А Вы, напротив, выдумываете нечто грубо-физическое, какую-то льдину вместо сердца. Доктора, лечившие его столько лет, не заметили, что у него нет сердца. Да и как может жить человек без физического органа? Пусть это фантастическая сказка; но ведь фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальностью, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал „Пиковую даму“ — верх искусства фантастического. И Вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов» (II, IV, 178).

Достоевский в этом письме в сущности повторил свое суждение о фантастическом, высказанное им почти на двадцать лет ранее в предисловии к рассказам Э. По в связи с характеристикой особенностей таланта этого «капризного» писателя, но теперь уже как обоснование своего собственного эстетического принципа и со ссылкой на «Пиковую даму» Пушкина — непревзойденный образец искусства этого рода. Интересно отметить и то обстоятельство, что сделанные прежде Достоевским выводы о природе фантастического в литературе совпали с размышлениями по этому же поводу самого Э. По, о чем русский писатель теперь мог узнать из эссе «Философия творчества», печатавшегося как:

⁸ Об этом см.: Долинин А. С. Страницы из «Бесов». — В кн.: Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. Л.; М., 1924, сб. 2, с. 555: см. также: 15, 405.

зступление «От автора» к поэме «Ворон».⁹ Перевод поэмы и предисловия был опубликован в мартовском номере «Вестника Европы» за 1878 г. Анализируя художественные приемы, которые он применял при создании этой поэмы, Э. По особо отметил свое стремление соблюсти видимую реальность рассказанного им события. Американский романтик писал: «... всё оставалось в пределах объяснимого и реального. Ворон заучил: „больше никогда!“ и, ускользнув от надзора своего хозяина, был вынужден, в полночь, вследствие сильной бури, искать убежища у одного еще светившегося окна <...> Ударами своих крыльев птица раскрыла окно и уселась на месте, недосягаемом для студента, который, забавляясь этим приключением и странным поведением посетителя, в шутку спрашивает у него, как его зовут, не ожидая, конечно, получить никакого ответа. Ворон отвечает на вопрос заученным словом: больше никогда!¹⁰ — словом, встречающим тотчас же печальный отклик в сердце студента <...> Благодаря пылкости человеческого сердца, он чувствует потребность помучить самого себя и, побуждаемый суеверием, начинает предлагать птице вопросы, парочку подобранных таким образом, чтобы ожидаемый ответ — непреклонное „больше никогда“ — доставило ему наибольшую возможную наслаждаться своим горем».¹¹

Вполне возможно предположение, что, сообщая Ю. Ф. Абаза критические замечания по поводу ее фантастической повести, Достоевский учел и автокомментарий Э. По.

Письмо Ю. Ф. Абаза датировано 15 июня 1880 г., а в следующую ночь, с 16 на 17 июня того же года, были сделаны черновые наброски к главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» (см.: 15, 442).

По заметкам этой ночи и другим можно определить, как Достоевский предполагал писать о черте: во-первых, он уделил большое внимание тому, чтобы Сатана был «реалистичен», т. е. «верен действительности», по собственному определению писателя, и, во-вторых, чтобы черт имел «все подробности», как и фантастические образы в рассказах Эдгара По. Вот эти записки: «Сатана входит и садится (седой старик, бородавки). <...> Сатана. Либеральничает по-нашему. Кончает патетически <...> Сатана Ивану: „Ведь ты веришь, что я есть“ <...> Выходя, сатана ищет платок. <...> Сатана иногда покашливал (реализм, бородавка)» (15, 320, 322, 334).

Характерно, что заметка, которая могла разрушить «реальность» образа Сатаны, не была Достоевским использована: «Иван бьет его, а тот очутывается на разных стульях» (15, 321) —

⁹ Р. О. Якобсон высказал предположение, что, создавая сцену «кошмара Ивана Федоровича» и описывая черта, Достоевский в первую очередь ориентировался на сюжет самой поэмы (см.: *Jakobson R. Le langage en action.* — In: *Jakobson R. Questions de poétique.* Paris, 1973, p. 209). Эта точка зрения вызвала обоснованные возражения Г. М. Фридлендера (см.: 15, 468).

¹⁰ По-английски: *nevermore!*

¹¹ Вестн. Европы, 1878, № 3, с. 119.

этого эпизода в романе нет. Заботясь о характерных «подробностях» образа Сатаны, Достоевский приписал ему предрассудки и суеверия и в то же время заставил дважды привить оспу и лечиться от ревматизма «медом с солью». У Сатаны «катар дыхательных путей», и берлинский профессор предсказал ему, что он проживет еще 15 лет (см.: 15, 322, 335).

Однако, работая над главой о черте, Достоевский не только руководствовался теми же принципами, что и Эдгар По при изображении фантастического образа: в этой главе есть и непосредственные переключки с одним из рассказов американского писателя. Рассказ этот в переводе Л. И. Пальмина под названием «Гений фантазии» (*The Angel of the Odd*)¹² был напечатан во втором номере «Будильника» за 1878 г. Так же как и в главе «Черт» у Достоевского, в рассказе По появляется фантастическое существо. Существо это наделено прозаическими бытовыми чертами и ведет беседу с героем рассказа в издевательской манере, с невероятным иностранным акцентом, развязно осыпает его «сарказмами», но при этом требует к себе уважительного отношения, так как считает себя «джентльменом».¹³ Черт у Достоевского также — «известного сорта русский джентльмен», и наружность у него подчеркнуто сниженная, обиденная. К Ивану черт относится иронически и говорит с ним покровительственным тоном, например: «Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом и чтобы меня так и принимали». И в другом месте: (в ответ на реплику Ивана «— Молчи, я тебе пинков надаю!») «— Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков» (15, 73).

«Гения фантазии» и черта сближает также то, что оба они своими действиями будоражат человеческое общество, сообщая ему «очистительный» импульс.

Черт у Достоевского говорит, что если бы он крикнул «осанна» и отказался от своих «пакостей», то «тотчас бы всё угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий» (15, 82).

«Гений фантазии» у Эдгара По рассказывает своему собеседнику, что он иногда посещает человеческое общество — и устраивает «необъяснимые случаи» для того, «чтоб освежить его (общество. — *Е. К.*) от мелочных житейских расчетов и отупения».¹⁴ Есть некоторая аналогия и в развитии сюжета у По и у Достоевского. Так, персонаж По, описав издевательства, которым он под-

¹² В современных переводах: «Ангел необъяснимого».

¹³ Ср. у По: «— Как я вошел? — отвечало чудовище, — вам нет дель... Что мне уютно, то и уютно... А кто я такой, вы сами знайт... <...>

— Но, позвольте вас спросить, по какому же делу вам угодно было посетить меня?

— По какому тэлю?? И вы смейт так кафарить с шентльмен и притом с хений? Вы — глюш!» (*Будильник*, 1878, № 2, с. 20).

¹⁴ Там же.

вергся со стороны «гения», сообщает далее: «Подобное обращение, наконец, показалось мне невыносимым, хотя бы даже со стороны гения: собрав мужество, я схватил попавшуюся мне под руку солонку и швырнул ее в голову незнакомцу; но он отклонился, и солонка, пролетев над его головой, ударилась в стоявшие на камине часы и разбила их стекло».¹⁵

У Достоевского: «Гость говорил, очевидно увлекаясь своим красноречием, всё более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина; но ему не удалось закончить: Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора» (15, 84).

Правда, Достоевский далее связывает жест Ивана с «Люте-ровой чернильницей».¹⁶ Но об этом сохраненном предании эпизоде биографии Лютера Достоевский мог вспомнить и по ассоциации, читая рассказ Э. По.

Таким образом, можно утверждать, что некоторые детали сюжета, общий стиль повествования и манера воспроизведения разговоров героев с фантастическими образами у По и у Достоевского во многом близки. Конечно, при этом нужно иметь в виду, что рассказ По — шутка: *An Extravaganza*, по его собственному определению, т. е. нечто необычное, экстравагантное. Поэтому, создавая «гения фантазии», или, точнее, «ангела из ряда вон выходящего», Эдгар По не претендовал на ту глубину философского и психологического обобщения, которая присуща черту в романе Достоевского.

Уже отмечалось, что Достоевский, работая над образом черта, опирался на западную и русскую литературную традицию (об этом см.: 15, 466, 468). В числе многих его предшественников, думается, следует назвать и Э. По.

2. Лексикологическая заметка: «пачкать» или «пичкать»?

В «Братьях Карамазовых» приезжий знаменитый московский врач спрашивал своих пациентов, имея в виду местного коллегу, лечение которого он «с чрезвычайною резкостью окритиковал везде»: «Ну, кто вас здесь пачкал, Герценштубе? хе-хе!» (15, 103). При подготовке романа к печати у текстологов возник вопрос, не опечатка ли, может быть, следует поправить на «пичкать», т. е. «пичкать» лекарствами? Однако во всех известных источниках текста «Братьев Карамазовых» было «пачкать», поэтому оснований для изменения этого необычного словоупотребления не было. Между тем в данном случае Достоевский не сам придумал это выражение: оно запомнилось ему при чтении второго тома воспоминаний Т. П. Пассек «Из дальних лет».

¹⁵ Там же.

¹⁶ По позднему апокрифическому сказанию, Лютер бросил в искушавшего его дьявола чернильницу (см.: 15, 84, 596).

Книга эта вышла в Петербурге в 1879 г. и тогда же была подарена писателю с надписью: «Федору Михайловичу Достоевскому в знак глубочайшего уважения от Т. Пассек 1879 года 22 ноября».¹

В главе 39 («Москва (1839—1842)») Т. П. Пассек рассказывает о московском кружке Герцена, одним из членов которого был Николай Христофорович Кетчер (1806—1886) — врач по образованию и переводчик по призванию. Т. П. Пассек о нем пишет: «Где бы друзья ни собирались, распорядителем был Николай Христофорович. Он откупоривал бутылки, он наливал вино, он наблюдал черед. Голос его покрывал все голоса. В экстазе он кричал: „Я как доктор — защищаю вино“, на это Александр замечал обыкновенно, что он не верит в его медицинские знания <...> Николай Христофорович не любил практики и не занимался ею. Если кто из нашего круга занемогал и обращался к нему за советом, он обыкновенно говорил: „Вы выдумываете себе болезнь и любите пачкаться“».² Не исключено, что и Кетчер, и Достоевский, употребив слово «пачкаться», имели в виду другой его смысл, зарегистрированный в «Толковом словаре» Даля: «... делать дурно и грязно, как ни попало». Там же приведен и соответствующий пример: «Она не стряпает, а пачкает обед», т. е. плохо его готовит, портит.³

Приведенный факт — один из частных эпизодов творческой истории «Братьев Карамазовых», однако он еще раз демонстрирует, с каким вниманием относился Достоевский к речевой характеристике своих персонажей, как он умел услышать, запомнить и с большим художественным эффектом применить «метко сказанное русское слово».⁴

В. В. ДУДКИН

Э. ЗОЛЯ О РОМАНЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Появление в 1884 г. французского перевода романа Достоевского «Преступление и наказание» стало событием в литературной жизни Франции.

Но еще до публикации перевода в литературных кругах были информированы как о романе, так и об его авторе. Это подтверждает письмо Э. Золя немецкому переводчику «Преступления и

¹ Описание рукописей Ф. М. Достоевского. М., 1957, с. 526.

² Пассек Т. П. Из дальних лет: Воспоминания. СПб., 1879, с. 325. — Несмотря на то что и в первой журнальной публикации воспоминаний также было «любите пачкаться» (Рус. старина, 1877, № 4, с. 680), редактор современного издания счел это за опечатку и исправил на «любите пичкаться» (см.: Пассек Т. П. Из дальних лет: Воспоминания. М., 1963, т. 2, с. 279).

³ Даль В. Толковый словарь. СПб.; М., 1882, т. 3, с. 27.

⁴ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1954, т. 6, с. 109.

наказания» В. Генкелю. Приводим полностью текст письма, поскольку на русском языке оно публикуется впервые:

«Медан, 18 апреля 1884 г. Мосье, я задержался с ответом на ваше письмо от 23 декабря 1883 г., потому что хотел дать вам положительный ответ относительно русского романа, который вы мне рекомендовали. Меня заверили, что он действительно представляет собой одно из выдающихся литературных явлений, но я натолкнулся на полное равнодушие у тех издателей, с которыми заводил о нем разговор. Они уверяли, что во Франции не находят сбыта переводные книги. Так оно и есть на самом деле. Я думаю, нужно подождать. И тем не менее я вам признателен за то, что вы обратили внимание на это произведение. Примите заверение в совершенном моем почтении».¹

Письмо Э. Золя примечательно также и тем, что в нем словно запрограммирован двойственный характер раннего восприятия Достоевского во Франции. С одной стороны, безоговорочное признание крупного писателя-реалиста, а с другой — настороженность, недоверие к Достоевскому-художнику, новаторство которого французская критика не сразу сумела оценить.

Э.-М. де Вогюэ, как известно, воздав должное русским писателям как создателям реализма более высокого типа, чем французский, отказывал им в то же время в умении строить композицию, сетовал на бесконечные повторы и длинноты в их книгах, на их чрезмерный объем. Роман «Братья Карамазовы», например, показался Вогюэ «бесконечной историей», которую даже в России немногие смогли прочесть до конца.² Однажды упомянутый выше Генкель присутствовал на репетиции спектакля по роману «Преступление и наказание» в парижском театре «Одеон» и стал там невольным свидетелем беседы каких-то двух «молодых французских писателей». «Вот уже два года, говорил один, как в нашем обществе вошло в моду говорить о русской литературе. Имена Достоевского и Толстого не сходят с уст, но кто их читает? И у меня есть этот „Раскольников“, но пока он еще даже не разрезан; А я, — отвечает другой, — вот уже целый год читаю „Войну и мир“ Толстого, открывая книгу наугад, но не в состоянии одолеть больше нескольких страниц. Это прекрасно, но — боже! — как длинно!».³

¹ *Henckel W.* Dostojewskijs «Raskolnikow» auf der französischen Bühne. — Das Magazin für die Literatur des In- und Auslandes. 1888, 57. Jg., № 45, S. 708.

² *Vogüé E. M.* Le roman russe. Paris, 1886, p. 265.

³ *Henckel W.* Dostojewskijs «Raskolnikow»... , S. 708.

ДВА ПИСЬМА А. П. СУСЛОВОЙ К Я. П. ПОЛОНСКОМУ
(Публикация Г. Л. Боград)

1

А. П. Сусл ова — Я. П. Полонскому

11 апреля 1863 г. Париж

Яков Петрович!

Я все собиралась писать вам и все откладывала со дня на день, думая найти сообщить вам что-нибудь интересное, но этого должно быть долго ждать. Я почти нигде не была, ничего не видала и думаю оставить осматривать Париж до приезда Федора Михайловича. Теперь я хочу хорошенько заняться языком. Я вам очень благодарна за данные мне письма; Тургенева я не застала, он уехал в Баден-Баден,¹ а по другому письму была два раза и нахожу это знакомство приятным и полезным. Устюжские² меня приняли прекрасно, дают разные советы и приглашают часто быть у них, чему я очень рада. Я живу у М^{ме} Щелковой, и она мне немножко надоела, потому что вмешивается в мои дела. В Брюсселе я не была и нигде по дороге не останавливалась, кроме Берлина, которого тоже не видала. Если вздумаете писать мне, я буду *очень рада*, тем более что, кажется, скоро начну очень скучать. Во всяком случае я довольна моей поездкой, потому что она меня избавила от присутствия людей и мнений, которые мне не нравились, и поможет стать от них более независимо; кроме того, может быть, даст возможность хоть неделю жить так, как хочется; это большое благо и дается нелегко. Если общий смысл жизни не дается, так что по пути к его пониманию встречается бездна сомнений, нужно брать то, в чем уверен. До сих пор я не встречала здесь ни одного человека, сколько-нибудь близкого по мнениям, и думаю, что пропаду со скуки, если не приедет Федор Михайлович.

Аполинария Сусл ова.

863. Апреля 11. Париж Rue Mazarine № 40

М^{ме} Tchelkoff с передачею мне, впрочем, если вздумаете писать, пишете: Poste restante, потому что перемену квартиры.

Желаю вам наслаждаться Петербургом.

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, 12497, № 3, с. 5—6.

Аполлинария Прокофьевна Сусл ова (1840—1918) — близкий друг Ф. М. Достоевского. Печаталась в журналах «Время» и «Эпоха». Сложные отношения Достоевского с А. П. Сусл овой и ее своеобразный характер нашли отражение в романах «Игрок» (Полина), «Идиот» (Настасья Филипповна), «Бесы» (Лиза Тупина), «Братья Карамазовы» (Екатерина Ивановна). Об А. П. Сусл овой см.: *Сусл ова А. П. Годы близости с Достоевским. Дневник; Повесть; Письма*. М., 1923; *Долинин А. С. Достоевский и Сусл ова*. — В кн.: *Достоевский: Статьи и материалы*. Л., 1925, 2, с. 150—283;

Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854—1886). М.; Л., 1934, с. 307—308.

Яков Петрович Полонский (1819—1898) — поэт, близкий знакомый Ф. М. Достоевского. В 1859 г., будучи редактором «Русского слова», поместил в журнале повесть Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон» (№ 3 за 1859 г.). В 1861—1865 гг. печатался в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха», позже в газете-журнале «Гражданин» (1873—1874 гг.), редактором которой был Ф. М. Достоевский. Сохранившаяся часть переписки Достоевского с Полонским свидетельствует о дружеских отношениях, сохранявшихся между ними до конца дней Ф. М. Достоевского.

Об отношениях Ф. М. Достоевского и Я. П. Полонского см.: Из сношений Ф. М. и М. М. Достоевских с Я. П. Полонским. (Из материалов Пушкинского Дома) / Сообщ. Н. Козмин. — В кн.: Достоевский: Статьи и материалы. Пг., 1922, с. 453—460; Из архива Достоевского: Письма русских писателей. М.; Пг., 1923, с. 62—65.

Знакомство А. П. Сусловой с Я. П. Полонским, вероятно, можно отнести к 1861 или к самому началу 1862 г., так как Е. А. Штакеншнейдер записала в своем дневнике 8 апреля 1862 г.: «Вчера были у Полонского, я познакомилась там с сестрами Сусловыми». Очевидно, что к этому времени Полонский и А. Сулова уже были хорошо знакомы. Кстати, в этой же дневниковой записи — описание А. Суловой, ее точный психологический портрет периода близости с Достоевским: «Мне было с ними (сестрами Суловыми. — Г. Б.) очень легко говорить, не так мамá. Она подошла к старшей, к Апполицирии, сказала ей что-то вроде комплимента, а Апполицирия» ответила мамá чем-то вроде грубости <...> Мамá шла к Сусловой в полной уверенности, что девушка с обстриженными волосами, в костюме, издали похожем на мужской, девушка, везде являющаяся одна, посещающая (прежде) университет, пишущая, одним словом эмансипированная, должна непременно быть не только умна, но и образованна. Она забыла, что желание учиться еще не ученость, что сила воли, сбросившая предрассудки, вдруг ничего не дает <...> Мамá не заметила в грубой форме ее ответа наивности, которая в моем разговоре с Сусловой разом обозначила наши роли и дала мне ее в руки. Сулова, еще недавно познакомившаяся с анализом, еще не пришедшая в себя, еще удивленная, открывшая целый хаос в себе, слишком занятая этим хаосом, она наблюдает за ним, за собой; за другими наблюдать она не может, не умеет» (*Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки, с. 307—308).

Приводимые письма свидетельствуют о доверии А. П. Сусловой Полонскому как близкому ей по духу человеку.

¹ В это время Тургенев еще находился в Париже. Он прибыл в Баден-Баден 2 мая 1863 г. (см.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. М.; Л., 1963, т. 5, с. 118).

² Родственники Елены Васильевны Полонской (урожд. Устюжской), жены поэта, умершей в 1860 г.

2

А. П. Сулова — Я. П. Полонскому

19 июля 1863 г. Париж

Верите ли, месяца полтора собираюсь писать вам. Да о чем писать? В голове какая-то путаница и тяжесть. Я не буду много распространяться о Париже, о моих впечатлениях, скажу только, что взгляд мой на Европу, на Россию, на состояние нашего общества только теперь начинает определяться, до сих пор он был не тот. Мне теперь как-то яснее представляется пассивная роль моих соотечественников в политических и общественных делах, и это меня бесит.

Здесь нас бранят варварами,¹ бесчестящими имя цивилизации, а сами зажгли плошки, когда узнали о взятии Мексики,² и за неделю кричали подлецам о взятии. Хороши мы, да и они не лучше.

С первого раза Париж мне слишком не понравился, но теперь, в новом обществе (я живу в мужском пансионе, где есть люди всех наций), я начинаю всматриваться в французов и нахожу в них много человеческого. Собственно моя жизнь устроилась довольно скучно: занятия и встречи одни и те же каждый день; я не спешу знакомиться, потому что ищу в людях что-нибудь общего. При тех условиях, при каких я живу в Париже, едва ли ужилась бы я так долго в другом каком городе: Германии или Англии. Я только что начинаю скучать и все собираюсь куда-нибудь ехать, хоть на неделю, но для занятий языком лучше еще подольше оставаться здесь. Осенью думаю ехать в Англию с дамой, у которой живу, и ее мужем; одна пуститься в Лондон, без языка, трушу. Как вы поживаете? Очень бы хотелось получить от вас письмо. Я слышала, что вы куда-то едете. Вот тогда я буду ждать, что вы мне напишете, как нашли Россию. Вы не будете смеяться (как «С.-Петербургские ведомости») над издали любящими отечество.³ Я не хвалюсь моей любовью к отечеству, но я не космополитка; однако в жизни русских за границей нахожу смысл: по крайней мере чему-нибудь выучатся. Что же патриоты-то делают? Насколько у нас всякий делает то, что желает?

Я здесь довольно часто встречаюсь с англичанами и чувствую к ним полнейшее отвращение за их аристократизм и мораль, а между тем собираюсь жить в Лондоне и учиться английскому языку.

Апол. Сулова.

Мой адрес:

Rue St. Michel, St. Hyacinthe, 28 chez M^{me} Mirman.

Здесь я остаюсь на все время моего житья в Париже.

Устюжские теперь страшно далеко, но я у них бываю.

19 июля.

1863. Париж

Некоторые из моих сожителей такие французы, что, видясь с ними раз по 5-ти в день, я не слышала их голоса, чаще разговариваю с англичанином, но не люблю его очень.⁴

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, 12497, № 1, с. 1—2.

¹ Газета «День» в № 16 от 20 апреля 1863 г. писала: «Варвар! Чего не делаем мы, чтобы попасть в другой чин, сколько поклонов и миллионов потрачено, чтобы заслужить повышения в Европейцы, чтобы *своими* сочла нас Европа, — ничто не берет!» (Из Парижа: Письмо II Касьянова <И. Аксакова>).

² Речь идет о Мексиканской экспедиции (1861—1867). После установления республики в Мексике правительство Хуареса в целях восстановления экономического положения страны, пострадавшей в результате гражданской войны, решило отсрочить выплату займов Англии, Испании и Франции на два года. В ответ они предприняли против Мексики вооруженную интервенцию. Однако англичане и испанцы вскоре покинули страну. Французы же 10 июня 1863 г. захватили столицу — город Мехико (см.: С.-Петербургские ведомости, 1863, 13 (25) июля, № 157).

³ Речь идет здесь не о «С.-Петербургских ведомостях», а о газете «День». В ней утверждалось: «Наши чужекрайние русские обеспокоились; они хлопочут теперь о том, как бы примирить жите-бытье за границей с „любовью к отечеству“, с живым участием в его судьбах. Одним словом: они хотят любить Россию издали, и прослыть любящими ее — не расходуясь на эту любовь никакими пожертвованиями, не разделяя с Россией ее бед и напастей, не подсобляя нести общую пошу» (День, 1863, 22 июня, № 25).

⁴ Последний абзац — приписка сбоку на первой странице письма. Письмо это характеризует политические взгляды Сусловой, находившейся в это время в Париже в ожидании Ф. М. Достоевского.

Упоминание об англичанине, возможно, дает дополнительный материал для комментария к роману «Игрок».

Л. М. РЕЙНУС

О РЕАЛИЯХ ДОМА КАРАМАЗОВА

Рассказывая о жизни в Старой Руссе, Л. Ф. Достоевская в своей книге писала: «Мы жили на маленькой даче полковника Гриббе. На сделанные с трудом во время своего пребывания на военной службе сбережения полковник построил себе маленький домик в немецком вкусе прибалтийских губерний, — домик, полный неожиданных сюрпризов, потайных стальных шкафов, подъемных дверей, ведущих к пыльным винтовым лестницам».¹ Сопоставим это высказывание с описанием дома Федора Павловича Карамазова: «Много было в нем разных чуланчиков, разных прятков и неожиданных лесенок» (14, 85). Такое совпадение примет интерьера жилища самого писателя и героя его произведения позволяет видеть в вышеприведенном отрывке указание на реалии, отразившиеся в романе «Братья Карамазовы». Это было тем более вероятно, что на другие реалии указывала и А. Г. Достоевская.²

В воспоминаниях Л. Ф. Достоевской не все точно. А. К. Гриббе вышел в отставку не полковником, а подполковником, что знала и А. Г. Достоевская.³ Гриббе был сыном Иркут-

¹ Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. М.; Пг., 1922, с. 76.

² См.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922, с. 67, 68, 86.

³ Гриббе уволен в отставку «... подполковником с мундиром и пенсией полного жалования» (см.: Высочайшие приказы о чинах военных. 1859, 17 февраля; см. также доверенность А. Г. Достоевской на покупку дома 18 мая 1876 г. (Гроссман Л. П. Жизнь и труды Достоевского: Биография в датах и документах. М.; Л., 1935, с. 248)).

ского врача,⁴ и приписывание ему «немецкого вкуса прибалтийских губерний» звучало неубедительно. Из писем И. И. Румянцева и А. Г. Достоевской за 1899 г., когда производилась разборка дома в связи с его перестройкой, выяснилось, что «... он составной», «... спальни приделаны и не мастерски гораздо позже...».⁵ Видимо, Гриббе при выходе в отставку не построил новый дом, а купил уже готовый и лишь расширил его. Настораживало и скептическое отношение внука писателя А. Ф. Достоевского к словам своей тетки, высказанное в личном разговоре с автором. Несмотря на это, отвергать без проверки высказывание дочери писателя целиком было нельзя.

Интересующие нас особенности интерьера дома выяснились при просмотре материалов рукописного отдела Института русской литературы АН СССР (ИРЛИ).

В 1899 г. А. Г. Достоевская, воспользовавшись пребыванием в Старой Руссе дочери, решает разобраться с вещами, находящимися в своем доме. Ее письма перечисляют целый ряд вещей, которые надо запаковать и отправить в Петербург. Те же, что остаются, она просит убрать в кладовые. Сколько же их? Мы читаем, что «куски и кусочки обоев от кабинета» надо спрятать «в кладовую около столовой» (в другом месте — чулан около столовой). «Все подушки прикажи поставить в кладовую около кабинета». И, наконец, узнаем, что «бюсты царя и царицы <...> стоят в каморке около сортира».⁶ Можно предположить, что кладовые у небольших по размеру комнат могли выглядеть как «потайные стенные шкафы».

Письмо Ф. Ф. Достоевского к матери за 1887 г. дало ответ еще на один вопрос. По ее поручению он проводит в доме ремонт — оклейку комнат, покраску дверей и лестницы. Он писал: «Ты спрашиваешь, как мы будем ходить в комнаты, если лестница будет выкрашена. Разве ты, мама, забыла, главную достопримечательность нашего домика? А потайная лестница? К чему же она и сделана? Ведь, что ни говори, а Александр Карлович Гриббе был запасливый человек».⁷

Где же находилась эта лестница? На плане перестройки второго этажа, находящемся в бумагах А. Г. Достоевской,⁸ указаны два лестничных пролета. Основная лестница ведет на веранду. Другая небольшая выгорожена в одной из комнат той части дома, что была пристроена позднее. К этой лестнице, видимо, и относятся слова И. И. Румянцева, который, поясняя А. Г. Достоевской свой план перестройки дома, писал: «И я предполагал бы так: из кухни вниз и из Вашей спальни (вернее, ком-

⁴ См.: Рус. старина, 1876, т. 17, с. 536.

⁵ ИРЛИ, ф. 100, № 30241, л. 261 (письмо датируется февралем 1899 г.); л. 139 (письмо от 9 февраля 1899 г.).

⁶ Там же, № 30412, л. 31, 32 (письмо от 1 сентября 1889 г.).

⁷ Там же, № 30364, л. 45.

⁸ Там же, № 30836 (снимок плана приведен в книге: Рейнус Л. М. Достоевский в Старой Руссе. Л., 1969, с. 37).

натки, где будет ход вниз) устроить ход на веранду...».⁹ Весьма вероятно, что «ход вниз», о котором идет речь, и есть место той потайной лестницы, о которой напоминал в своем письме сын писателя.

Говоря об особенностях изображения пейзажа у Достоевского, Н. М. Чирков отмечает, что «в романах Достоевского позднейшей поры <...> характерно для Достоевского подчеркиваемое повторение черт внешней обстановки, перемененно контрастирующих и гармонирующих с сюжетным развитием романа. Действие контраста и соответствия повышается благодаря сплетению его с мотивом необычности».¹⁰ Отмеченная здесь роль «мотива необычности» присутствует и в описании жилища Федора Павловича Карамазова. В романе дом его «стоял далеко не в самом центре города, но и не совсем на окраине. Был он довольно ветх, но наружность имел приятную» (14, 85). Противопоставления дополняются контрастной окраской дома и крыши. Вызываемое всем этим впечатление какой-то беспорядочности усиливается включением такой необычной детали интерьера, как «разные чуланчики, разные прятки и неожиданные лесенки». В романе это впечатление увязывается с чертами характера владельца дома. Кстати, следует отметить, что на самом деле разного рода кладовок в доме было не так уж много, а потайная лестница — всего одна.

В доме Достоевского имелись и другие реалии, использованные в романе. Можно упомянуть о ширмочках, о которых говорит И. И. Румянцев в другом письме к А. Г. Достоевской.¹¹ В романе красные «китайские» ширмочки, стоящие в спальне старика Карамазова, привлекают внимание Дмитрия, подкравшегося к окну (14, 353). Н. М. Чирков обращает внимание на красный цвет этих ширмочек, который вместе с красной повязкой на голове Федора Павловича, красным цветом ягод на кусте, освещенном светом, падающим из окна, усиливает ощущение приближающегося рокового события.¹² Мы видим, что предметы повседневного обихода, окружающие писателя, обретают в творческой фантазии гениального романиста свою вторую жизнь, становясь неотъемлемыми элементами его художественного лица.

ПОЛЕМИКА

1. Письмо в редакцию

В 24-м томе Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского имеется заметка следующего содержания: «Предсказание. Фарисей. „Олонецкие губернские ведомости“» (24, 131). В коммен-

⁹ Там же, № 30241, л. 129 (письмо от 7 октября 1898 г.).

¹⁰ Чирков Н. М. О стиле Достоевского. М., 1963, с. 90—91.

¹¹ Он писал, что при отделке помещения «чрезвычайно трудно подделываться под старое. Ширмочки около двери вышли как-то уродливо очень» (ИРЛИ, ф. 100, № 30241, л. 262. — Письмо от 9 апреля 1899 г.).

¹² Чирков Н. М. О стиле Достоевского, с. 120.

тарии к этой записи высказывается предположение, что «заметка, возможно, вызвана помещенной в „Олонецких губернских ведомостях“ (1876, 28 января, № 7, стр. 76—77) статьей „Освящение церкви в Горском приходе, Олонецкого уезда (из корреспонденции г-д учителей Г. Туманова и И. Миролюбова)“. Статья наполнена лезтью по адресу епископа Олонецкого и Петрозаводского Ионафана, чьи именины, пришедшиеся на день освящения церкви, отмечались праздничным обедом после богослужения» (24, 434).

Есть основания полагать, что справедлив комментарий к этой заметке, принадлежащей Г. М. Фридлиндеру. Позвольте его процитировать: «Заметка, вероятно, вызвана помещенным в „Олонецких губернских ведомостях“, 1876, 31 января, № 8, стр. 85—87, „воззванием о пожертвованиях на сооружение часовни над могилой Фаддея блаженного“, где описывается жизнь почитаемого местной церковью блаженного Фаддея, жившего при Петре I и, по повелению царя, находившегося под полицейским надзором».¹

В самом деле, слово «Предсказание» относится к последующим «Фарисей. „Олонецкие губернские ведомости“, поскольку они были вписаны Достоевским на полях как одна заметка: «Предсказание. ∞ ведомости. вписано на полях» (24, 131). О предсказании же речь идет именно в «Воззвании». Важно и то обстоятельство, что здесь говорится о предсказании смерти Петру Великому. Известно, с каким вниманием относился писатель к личности Петра.

Пометка «Фарисей» вполне подходит к облику олонезкого юродивого в церковном варианте предания о Фаддее, впервые записанном петрозаводским автором XVIII столетия Т. В. Баландиным.² В течение XIX и начала XX столетий в Петрозаводске создается целый ряд интерпретаций образа Фаддея, начиная со стихотворения Ф. Глинки,³ знакомого с Т. В. Баландиным. Опираясь на литературный вариант образа, церковники создают канонический лик «святого апостола Фаддея»⁴ для своих нужд борьбы с расколом. Только жизнеописание этого «святого», попав на глаза Достоевскому, могло вызвать соответствующую запись. Что касается статьи «Освящение церкви в Горском приходе», то она действительно наполнена «лезтью по адресу епископа Олонецкого и Петрозаводского Ионафана», но фарисейство и лезть понятия не равнозначные.

Принимая Ваш комментарий, на мой взгляд, нужно уточнить его формулировку, добавив два-три слова. Допустим, не «по

¹ Лит. наследство, 1971, т. 83, с. 495.

² Баландин Т. В. Петрозаводские северные вечерние беседы. — Олонецкие губернские ведомости, 1866—1867.

³ Опубликовано В. Г. Базановым (см.: Базанов В. Карельские поэмы Федора Глинки. Петрозаводск, 1945, с. 92—93).

⁴ ЦГА КАССР. Летопись о Петрозаводском кафедральном соборе. — Ф. 593, оп. 3, д. 1/2, с. 85.

повелению царя находившегося под полицейским надзором», а — согласно легенде, по повелению царя взятого под стражу. Дело в том, что в легенде, записанной из устного источника в Петрозаводске в 60-х гг. прошлого столетия Е. В. Барсовым, прямо говорится об аресте, а не о надзоре.⁵ Кроме того, к уточнению комментария склоняет текст письма Петра Великого ландрату Петрозаводска, в котором нет упоминания о надзоре или аресте: «А. Муравьев. Здешний мужик, которого зовут Фадеем, стар и кажетца умалишен живет в лесу: приходит и в деревню, которого здес за чудо имеют, а худобы и расколу не сотказывают. Того ради дабы не было блазни велел я его к вам на заводы отвезть дабы там его кормит до смерти его».⁶

Более подробно о Фаддее говорилось в докладе на конференции по истории культуры и литературы Древней Руси.⁷

В. В. Иванов.

2. Ответ оппоненту

Редакция сборника любезно предоставила мне возможность ознакомиться с замечаниями В. В. Иванова на комментарий к записной тетради 1875—1876 гг. и привести, как автору оспариваемых изменений, свои доводы в их обоснование. Собственно говоря, вся необходимая аргументация содержится в самом примечании, цитату из которого мой оппонент обрывает как раз в том месте, где кончается формально-информативная часть (дата газеты, название статьи, резюме содержания) и начинается пояснительная. Здесь поэтому целесообразно показать тот ход рассуждений, который привел меня к выводу, отличному от сделанного ранее Г. М. Фридлендером, первым комментатором тетради.

Примечание, напечатанное в «Литературном наследстве» (т. 83), не давало, как мне представлялось, ответа на два вопроса, вызываемых записью в тетради: во-первых, почему и каким путем попала в руки Достоевского провинциальная газета, к которой он ни в предшествующие годы, ни впоследствии, насколько известно, не обращался? во-вторых, что именно в указанной Г. М. Фридлендером статье могло составить у Достоевского впечатление о Фаддее-блаженном как о фарисее?

Просмотром «Олонецких губернских ведомостей» с января по конец марта 1876 г. было установлено, что за эти месяцы в них

⁵ Барсов Е. В. Петр Великий в народных преданиях Северного края. М., 1872, с. 12. Так же трактуется у Т. В. Баландина. См.: Петрозаводские северные вечерние беседы. — Олонецкие губернские ведомости, 1866, № 46.

⁶ Правдин М. Из прошлого Олонецкого края: Материалы по истории Олонецкого края А. П. Воронова. — Изв. О-ва изучения Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1914, т. 4, № 6—7, с. 126.

⁷ Изложение доклада см.: *Рождественская М. В.* Конференция в Петрозаводске, посвященная истории литературы и культуры Древней Руси. — Рус. лит., 1982, № 4, с. 241.

дважды (28 января, № 7, с. 79, и 25 февраля, № 14, с. 154) печаталось объявление о «Дневнике писателя». Мы не знаем, как отчитывались в 1870-х гг. редакторы газет перед рекламодателями, но логично предположить, что самым надежным и удобным способом, особенно со стороны провинциального издания, была бы присылка номера, в котором помещено объявление. Так ли обстояло дело с Достоевским, или он — а еще вероятнее, Анна Григорьевна — как-то иначе осуществлял контроль, но было найдено *пока единственное* правдоподобное, хотя, разумеется, и гипотетическое объяснение того, по какой причине в сфере внимания писателя могла бы оказаться эта газета, причем не комплект, а лишь (и такое ограничение очень убедительно) два конкретных выпуска.

В этом свете не случайным было сочтено то обстоятельство, что из двух появившихся в эти месяцы статей, которые могли бы дать повод для комментируемой записи, одна была напечатана в помере с объявлением Достоевского. В. В. Иванов справедливо указывает, что «фарисейство и лесть понятия не равнозначные». Но акцент в примечании падает не на лесть в статье по адресу епископа Ионафана, а на притворно скромные похвалы одному из авторов, учителю Туманову, которыми кончается отчет о церемонии и обеде (соответствующая выдержка цитируется в комментарии, так что здесь ее повторять нет необходимости). Курить фамиам влиятельному духовному лицу, а в заключение похвалить самого себя и «пожелать, чтобы подобные учителя дольше оставались в училищах <...> дикой Корелии», — это ли не фарисейство (лицемерие, ханжество), какие бы причины ни толкнули писавшего на подобный поступок!

С другой стороны, «Воззвание» протоиерея А. Надеждина сыграло бы дурную службу тем, кто проводил сбор пожертвований на часовню, если бы оставляло читателей в убеждении, что блаженный был фарисеем. Ничего, кроме похвалы юродивому, оно не содержало: «Из устных рассказов, переданных современниками блаженного Фаддея и записанных одним из жителей г. Петрозаводска, видно, что блаженный Фаддей был роста среднего, нрава кроткого и смиренномудр; волосы на голове имел седые и кудрявые; лицо круглое и благообразно белое; чело высокое, украшенное морщинами; взор умильный и дальновидный; ум светлый, пронизательный; воздержание постническое. Жизнь блаженного была исполнена смиренномудрия, целомудрия и прочих христианских добродетелей...» и т. п. Из этих слов для нас вырисовывается образ фарисея. Но для читателя XIX в. это были привычные панегирические штампы церковной литературы. Пронизательный психолог, каким был Достоевский, вряд ли стал бы на их основании судить о личности блаженного Фаддея. Никакими же другими сведениями об этом местном юродивом он, кажется, не располагал. Круг источников, которыми оперирует В. В. Иванов, был ему неизвестен, в том числе церковный вариант предания, записанный Т. В. Баландиным.

Почему же в таком случае рядом в тетради оказалось слово «Предсказание» — самый сильный аргумент моего оппонента? Прежде всего следует обратить внимание на то, что хотя оно действительно вписано на полях вместе с заметкой «Фарисей», к ней оно не принадлежит, т. к. стоит *не в строку с ней*, как напечатано в заметке В. В. Иванова, *а в столбик*, т. е. как отдельный пункт той намечавшейся на месяц программы (24, 130—131), к которой оно присоединено. Несколькими страницами ниже (24, 141) после плана «Содержание №» идет фраза, смысл которой раскрыть не удалось, но которая содержит то же слово: «Меня тревожили *погода и медведь* (предсказание)». Хронологически обе записи близки: первая была сделана после 4 февраля (точная дата не устанавливается из-за положения ее на полях, а не в основном ряду), вторая — до 12 февраля (ср. ссылку на «Голос» далее — 24, 143, 438), поэтому, зная привычку Достоевского повторять в тетради обдумываемые темы по нескольку раз, эти два пункта вполне правомерно соотносить. Возможна и другая интерпретация: имелась в виду оценка будущего развития политических событий в Европе, получившая затем продолжение в февральской же заметке «Мое предсказание» (24, 148, 439) и мартовском выпуске «Дневника писателя».

Оставаясь убежденным в правильности своего решения, должен, однако, заметить, что если квалифицированный читатель не уловил всей заключенной в примечании аргументации, то доля вины ложится на комментатора. Но дать развернутое обоснование в этом, как и во многих других случаях, не позволял жанр комментария.

В. Д. Рак.

В. С. НЕЧАЕВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИСТОРИИ ОСНОВАНИЯ ПЕРВОГО МУЗЕЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

(Общение с потомками писателя. У истоков позднейших книг
и исследований)

Год моего сближения с литературной жизнью Москвы был отмечен крупнейшей юбилейной датой — столетием со дня рождения Ф. М. Достоевского. В 1921 г. в печати появился ряд статей, сборников, сообщений о посвященных ему заседаниях, общих оценок его значения и творчества. Прозвучала вдохновенная речь А. В. Луначарского «Ф. М. Достоевский как художник и мыслитель», привлекающая всеобщее внимание и вызвавшая мой восторг. Достоевского я читала еще в последних классах гимназии, а теперь перечитывала с особым вниманием и углублением и в психологию его героев, и в его своеобразный стиль и язык.

В конце 1921 г. я получила приглашение принять участие в кружке молодых литературоведов, организованном Павлом Ни-

китичем Сакулиным, вероятно, из его бывших студентов. Один вечер в неделю он собирал в своей столовой (в квартире в Денежном переулке на Арбате) таких же, как и я, молодых филологов, уже трудившихся над какой-нибудь избранной научной темой. Помню П. А. Маркова, увлекавшегося театральной критикой, В. В. Баранова, изучавшего Полежаева, Д. А. Горбова — поэта, Л. В. Крестову-Голубцову, собиравшую материалы по литературе конца XVIII в., и др. П. Н. Сакулин поставил перед нами задачу взяться за коллективный труд по изучению истории русской журналистики, что, по его мнению, было недоступно ученому-одиночке.

Он с энтузиазмом говорил о значении публицистической деятельности Белинского, Чернышевского, Добролюбова, но напоминал о необходимости знать их окружение и их «соперников». В результате он предложил заняться изучением русской журналистики с 1847 г. — времени начала издания Некрасовым «Современника», времени борьбы за «натуральную школу», полемики со славянофилами, выхода в свет первых произведений Герцена, Гончарова, Достоевского и Тургенева.

Встретив наше полное одобрение, П. Н. Сакулин роздал нам анкету, в ответах на вопросы которой мы должны были на особых карточках характеризовать исследуемое нами издание: альманах, журнал или газету.

На мою долю достались «Современник» и газета «С.-Петербургские ведомости». Если первый журнал, наиболее изученный специалистами и, конечно, самый значительный для этого года, не мог в ту пору полностью быть мною оценен, то изучение газеты имело огромное значение для всей моей литературоведческой будущности. В начале 1922 г. в газетном зале старого Румянцевского музея, листая желтые страницы «С.-Петербургских ведомостей» 1847 г. и тщательно изучая их содержание, я обнаружила фельетоны, которые, кроме многоговорящей подписи «Ф. Д.», самым содержанием и стилем так живо воскресили недавно перечитанные повести Достоевского, что не возникало сомнения в том, что передо мной были фельетоны молодого Федора Михайловича, фельетоны, до сих пор никем не обнаруженные. При помощи М. О. Гершензона мне удалось издать осенью того же 1922 г. эти фельетоны отдельной книжкой с моей вступительной статьей.¹ Эта находка и издание вызвали резкое изменение в направлении моих литературоведческих изысканий: в центре стало изучение жизни и творчества молодого Достоевского — автора найденных фельетонов.

К 1921—1922 гг. относится процесс организации двух крупнейших научных учреждений, где предусматривалось специальное изучение общественных наук, в частности истории русской классической литературы. Они расположились на двух концах

¹ См.: *Достоевский Ф. М.* Петербургская летопись: Четыре статьи 1847 г. (Из неизданных произведений) / С предисл. В. С. Нечаевой. Петербург; Берлин, 1922.

Пречистенки (теперь ул. Кропоткина). У Гоголевского бульвара, в доме бывшего Московского Учебного округа, поместилась Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН), а в конце Пречистенки, в прекрасном здании начала XIX в., основалась Государственная Академия художественных наук (ГАХН). Уйдя весной 1922 г. из Центрархива, я в ближайшие годы оказалась связанной с обеими организациями.

В РАНИОНе, где Институт языка и литературы возглавлял В. М. Фриче, я выдержала вступительный экзамен и попала в число аспирантов, специализировавшихся по русской литературе XIX в. Я просила быть моим руководителем П. Н. Сакулина, возглавлявшего этот сектор, а темой диссертационной работы избрала «Ранние повести Достоевского».

Здесь не место характеризовать жизнь и деятельность этого первого отряда советских аспирантов, в который я попала, но не могу в связи со своей темой не отметить, какую большую роль в нашем секторе играли В. Ф. Переверзев и его ученики. При всем моем стремлении овладеть марксистским методом в изучении литературных памятников я никак не могла согласиться с пренебрежительным отношением «переверзевцев» к роли писательской личности и биографии в литературоведческих исследованиях. Для меня именно эти факторы были основополагающими, и я целиком разделяла утверждения Луначарского о Достоевском в его юбилейной речи: «Достоевский был художником-лириком. Все его повести и романы — одна огненная река его собственных переживаний. Это — сплошное признание сокровенного своей души. Это страстное стремление признаться в своей внутренней правде. Это *первый* и основной момент в его творчестве <...> Достоевский тесно связан со всеми своими героями. Его кровь течет в их жилах. Его сердце бьется во всех создаваемых им образах».²

Мою работу над диссертацией я начала с изучения общественно-политических условий 1820—1830-х гг. и биографических сведений о детстве и юности Достоевского. Последние в основном содержались в отрывках мемуаров Андрея Михайловича Достоевского, приведенных Орестом Миллером и помещенных в изданном в 1883 г. первом томе Собрания сочинений Достоевского. Эти воспоминания младшего брата Федора Михайловича вызвали мое стремление посетить бывшую Мариинскую больницу, где врачом работал его отец и где писатель родился и жил до шестнадцати лет.

Помню пустырь (на его месте сейчас стоит Театр Советской Армии), обнесенный проволокой, прикрепленной к колышкам и обвитой повилкой, за пустырем — густую зелень больничного сада, а в этой зелени прекрасный центральный корпус больницы с колоннами и два его боковых флигеля, к которым вели ворота

² Луначарский А. В. Собр. соч. М., 1963, т. 1, с. 190—191.

со львами. Прохожу во вторые ворота к левому корпусу и вхожу в низкий подъезд. Лестница с чугунными ступенями ведет в верхние этажи, я же, ориентируясь по описаниям А. М. Достоевского, свертываю налево в нижнюю квартиру, дверь которой полуоткрыта. Вот она, та самая квартира, где сто лет назад жила семья штаб-лекаря Достоевского, так подробно описанная в мемуарах его младшего сына. Меня впускает ее нынешняя хозяйка, жена больничного повара, и приглашает войти. Сразу поражает полное соответствие прочитанному: передняя с одним окном во двор и досчатой перегородкой (не до потолка), которая отрезает глубину комнаты и образует полутемную каморку, где была спальня Федора и Михаила — старших сыновей врача. Из прихожей дверь ведет в большую светлую комнату с тремя окнами во двор и двумя на улицу — комнату, которая была столовой и залом, где дети учились и играли. Из этой комнаты — дверь в бывшую гостиную и спальню родителей. Но дверь наглухо заперта. Там квартира врача, и я не пытаюсь в нее пройти. Впитываю впечатления увиденной части — изразцы печи с синей полоской, широкие половицы простого деревянного пола, двери и окна — по рисунку явно начала прошлого века, и главное, эта полутемная комнатка за перегородкой, где, по сообщению хозяйки, помещаются ее ребята.

Затем поднимаюсь по чугунным ступеням лестницы во второй этаж. Там у двери ручка старинного звонка, которую надо дергать, чтобы он зазвонил.

Это посещение квартиры вызвало первое смутное представление о возможности будущего музея в этих так хорошо сохранившихся стенах, представление, которое уже не покидало меня и, все более реализуясь в воображении, сопровождало мою интенсивную работу над диссертацией.

Надо сказать, что в 1922 г. я включилась в работу и на другом конце Пречистенки, где с 1921 г. развернула работу Государственная Академия художественных наук. Среди многочисленных отделов, секций, подсекций, комиссий и групп, которые стала создавать Академия, возглавлявшаяся президентом П. С. Коганом, была подсекция литературы, внутри ее организовалась Комиссия по изучению Достоевского, что отвечало особенному интересу к писателю в этот юбилейный год. Комиссию возглавил Георгий Иванович Чулков, гораздо более известный в то время как поэт, чем как литературовед. Вероятно, П. Н. Сакулин или М. О. Гершензон, в связи с вышедшей моей книгой («Петербургская летопись») и зная мою работу над диссертацией, подсказали мою кандидатуру в ученые секретари комиссии. Я была включена сперва на полставки и с увлечением стала знакомиться как с членами комиссии, так и с ее постоянными участниками и посетителями заседаний. Конечно, на первом месте надо назвать Леонида Петровича Гроссмана, уже в то время бывшего автором ряда работ о Достоевском, блестящего оратора и полемиста. Вспоминаю чрезвычайную пестроту мето-

дологических установок, которыми отличались участники работ этой комиссии — как докладчики, так и выступавшие в прениях. Это отразилось и в сборнике «Достоевский», изданном ГАХН в 1928 г. Я читала доклады о переводе Достоевским «Евгении Гранде» Бальзака и «Сравнения у Достоевского».

Идеей о создании Музея Достоевского в его квартире я, конечно, поделилась с Г. И. Чулковым, встретив его полное сочувствие и совет поговорить предварительно с главным врачом больницы, носившей теперь имя Достоевского. Я решилась на этот шаг, как бы представляя Комиссию по изучению Достоевского ГАХН, и была приятно поражена вниманием и сочувствием этой идее со стороны больничного начальства.

Напомню, что в Москве в Историческом музее с начала XX в. хранились рукописи, книги, вещи и изображения Ф. М. Достоевского, отданные туда Анной Григорьевной Достоевской. Она составила прекрасное описание переданных коллекций в огромном томе, который был ею назван: «Музей памяти Федора Михайловича Достоевского. 1847—1903» и издан в 1906 г. Но собранные ею сокровища хранились в одной из комнат огромного здания Исторического музея, не были рассчитаны на публичное обозрение и не представляли никакой музейной экспозиции. Хранитель М. А. Петровский выдавал специалистам научно необходимые материалы и справки для их работ, но о более широком ознакомлении с этим собранием речи быть не могло из-за условий хранения и организации помещения. Конечно, нельзя было себе представить, чтобы это собрание, являвшееся собственностью прекрасно организованного государственного музея, могло послужить основой для реализации возникшего у меня замысла. Сама возможность организации музея Достоевского в больнице была весьма проблематичной. Но если бы и удалось получить квартиру Достоевских для музея, то чем наполнить голые стены даже первых двух комнат (речь об освобождении всей площади квартиры вообще не поднималась)?

При всей очевидной трудности этой задачи идея создания музея в бывшей квартире Достоевских нашла защитников в руководстве ГАХН, и было возбуждено соответствующее ходатайство перед Наркомпросом, Московским отделом народного образования (МОНО), которые ведали и музейными делами. У меня в памяти не сохранились этапы, через которые, вероятно, прошло это ходатайство об открытии музея, так как я не участвовала в этой организационной работе и занималась ею руководство ГАХН. Правда, не все его члены относились сочувственно к идее открытия музея: так, хорошо помню, что Н. К. Пиксанов называл ее «экзотикой», а мне советовал лучше отправиться в Томск, куда требовался доцент по русской литературе XIX в. Не встретила сочувствия эта идея и у моих сотоварищей — аспирантов РАНИОН, а особенно «переверзцев», которые подсмеивались надо мной, как будущим «хранителем» котелков и других вещей Достоевского. Но В. М. Фриче был иного мнения

и способствовал приятию главным врачом больницы решения освободить часть квартиры для будущего музея. К сожалению, и среди сочувствующих будущему музею я не встретила людей, которые желали бы принять деятельное участие в его подготовке, собирании хотя бы необходимых книг и фотографий, имели бы вкус к музейному делу. Участники Комиссии по изучению Достоевского были исследователями-литературоведами, психологами, философами, очень далекими от практической музейной работы.

Неожиданно я нашла помощь и поддержку в лице человека, который в это время увлеченно занимался Достоевским, но был далек по характеру своих занятий от обоих учреждений, о которых я вспоминала выше. Это был Михаил Васильевич Волоцкой, специалист-антрополог, генетик, собиравший в это время (т. е. в середине 1920-х гг.) материалы для будущей книги «Хроника рода Достоевского», которая вышла в свет лишь в 1933 г. Собирая сведения о Достоевских и их предках с XVI в., он одновременно искал и живых потомков, знакомился с ними и, узнав о моих планах и намерениях, с большим сочувствием пришел мне на помощь.

Во введении к своей книге Волоцкой писал: «В подобного рода генеалогических исследованиях обычно труднее всего бывает найти первого живого представителя рода. Если же первый найден, то у него уже можно получить адреса его родственников и затем постепенно расширять круг своего контакта с представителями изучаемой семьи. Считаю своим неперменным долгом указать, что такой „первый“ представитель рода Достоевских в лице Милия Федоровича Достоевского, внука старшего брата писателя, был мне указан в начале 1922 г. проф. Н. К. Кольцовым, подавшим мне и самую мысль заняться изучением этого рода. Знакомство мое с М. Ф. Достоевским, первый опрос его и составление первого наброска родословной таблицы состоялся 5 марта 1922 г., и эту дату я считаю началом своей работы».³

«Первым» представителем рода Достоевских и для меня стал Милий Федорович Достоевский, о котором мне не замедлил рассказать Волоцкой. Он дал мне сведения о том, как его найти, и советовал посетить прикованного к постели потомка писателя. В своей книге Волоцкой сообщил, что Милий Федорович, сын племянника Федора Михайловича (ученика Антона Рубинштейна и деятеля Саратовского отделения Русского музыкального общества), родился в 1884 г., в 1909 г. окончил Археологический институт, а в 1910 г. специальные курсы Лазаревского института в Москве. Автор ряда работ по истории искусств, он совершил несколько поездок по Азии, изучал китайское искусство. В 1922—1923 гг. находился на излечении в клинике нервных болезней I МГУ, позднее жил в Московском общежитии ЦЕКУБУ для престарелых ученых. Вследствие паралича ног может передвигаться лишь в катающемся кресле. Из находя-

³ *Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского. М., 1933, с. 19—20.*

щихся у меня его писем следует, что ранее он лечился в неизвестном мне «санатории в Сокольниках». В конце 1922 г., когда я разыскала его, находился «на призрении в больнице хронических болезней имени Короленко» — так написано в заверенном печатью документе от 14 декабря 1922 г. Однако на печати значится: «Больница хронических больных им. В. С. Воровского МО РСФСР», а сам Милий Федорович в одном из писем упоминал о «наших врачах Коронационного убежища»: не было ли это дореволюционным названием больницы, находившейся где-то за Преображенской заставой?

М. Ф. Достоевский лежал в постели с креслом-каталкой рядом. Это был сорокалетний мужчина с изможденным, но живым, подвижным лицом и быстрой, не лишенной остроумия, юмора, речью. В одном из моих писем этого времени я так описала первые впечатления от этой встречи: «Его решительно никто не посещает, у него нет никого близких и никаких средств. С идиотами, паралитиками вокруг, в общей палате, прокуренной и грязной, он пытается что-то писать о китайском фарфоре, эмали, но у него нет ни особого стола, ни бумаги, ни денег на бумагу. С туберкулезом легких он год не был на воздухе, потому что спустить его в кресле со второго этажа стоит слишком дорого. У него нет теплых вещей, да и вообще ничего нет. Он ухватился за меня, и сейчас я завалена его просьбами, поручениями и всякими делами, относящимися к нему».

Я не только не могла надеяться получить от него что-либо для предполагаемого музея, но оказалась вынужденной затратить на его дела уйму времени и сил. Самым необходимым был перевоз его из этого «убежища» в санаторий для престарелых ученых, находившийся в Москве, в Неопалимовском переулке. Его посетил главный врач санатория Касаткин, который, однако, считал необходимым предварительное его обследование в Университетской клинике. На мою долю выпала задача перевезти безногого и лишенного теплых вещей больного с креслом-каталкой и прочим имуществом от Преображенской заставы на Девичье поле — при всей сложности в то время с транспортом, тем более что речь шла о точно условленном дне и часе.

Возможно, что доктор Касаткин посоветовал мне обратиться к паркоматраву Н. А. Семашко — во всяком случае, помню, что Н. А. Семашко знал о состоянии М. Ф. Достоевского и сам направил к нему доктора Касаткина. Узнав адрес наркома, я 16 марта 1923 г. отправилась утром к нему рассказать о необходимости перевезти больного и о своей беспомощности. Н. А. Семашко сейчас же принял меня, выслушал и, немного подумав, предложил дать свою персональную машину на определенное время. Я хорошо запомнила его приветливое обращение, его проводы меня в переднюю и на лестницу и точное дальнейшее выполнение обещания. Мне оставалось достать шубу, которую одолжил живший в одном доме со мной профессор С. А. Котляревский. Перевоз при моем участии благополучно совершился, Достоев-

ский был принят в Клинику первых болезней Московского государственного университета, откуда (уже, кажется, без моей помощи) был переведен в «здравицу» Дома ученых ЦЕКУБУ, где оказался поселенным в отдельной комнате, окруженным вниманием, удобствами и медицинской помощью.

М. Ф. Достоевский ничего не мог рассказать мне о своей семье и мало интересовался своим родом и знаменитым двоюродным дедом, хотя имя его, конечно, постоянно помогало ему и доставило благополучие в последние годы жизни. Вероятно, его фамилия сыграла роль ранее и в его личной жизни. Он был женат на дочери богатого купца А. Щукина, крупного коллекционера современной европейской живописи, создавшего целый музей в роскошном особняке. Брак был скоро расторгнут, но Е. А. Щукина, эмигрировавшая после революции, оставила себе фамилию Достоевская и под этим именем выступала за границей с враждебными нашей стране статьями. Помню, что из Союза советских писателей обращались ко мне, чтобы определить, по какой линии Евгения Достоевская приходится родственницей писателю.

Не сохранявший связи со своей семьей (что и объясняло его одиночество в тяжелые годы болезни), не зная своего деда Михаила Михайловича Достоевского, умершего задолго до его рождения, М. Ф. Достоевский все же оказался обладателем одной его рукописи, которую и преподнес мне. Это была черновая тетрадь писателя, куда М. М. Достоевский заносил на рубеже 1840—1850-х гг. записи, относящиеся к задуманным произведениям, отдельные подслушанные им в народе выражения и замечания. Кроме того, там были наброски к незаконченному роману «Деньги» и к также незаконченной пьесе «Мачеха». Этот подарок пробудил во мне особый интерес к старшему брату Ф. М. Достоевского, внимание к его судьбе и решение написать о нем книгу. Рукопись же М. М. Достоевского, сперва переданная мною в музей Достоевского, затем поступила в Отдел рукописей библиотеки им. В. И. Ленина.

На мои попытки узнать от Милия Федоровича что-нибудь о его деде и Ф. М. Достоевском он мне не один раз советовал обратиться к «тете Кате», живущей в Ленинграде, т. е. Екатерине Михайловне Достоевской-Манассеиной, младшей дочери М. М. Достоевского, родившейся в 1853 г. Этот совет, скоро выполненный мною, имел большое значение не только для моей будущей научной работы, но и особенно для подготавливаемого музея. Общение с Милием Федоровичем после его благополучного поселения в здравицу ЦЕКУБУ становилось все случайнее и реже, сближение же с Екатериной Михайловной росло и крепло в течение десяти лет.

В августе 1923 г. я получила от ЦЕКУБУ путевку в дом отдыха под Петроградом в Детском Селе (бывшем Царском, теперь же г. Пушкин). Это была моя вторая поездка в Ленинград. Была впервые в этом городе я осенью 1921 г., когда, хо-

рошо зная его заочно по книгам и влюбленная в него уже несколько лет, я целиком отдалась его изучению и обаянию. Но помню, что эта поездка совпала со смертью А. А. Блока: я смогла сперва поклониться покойному поэту в его квартире, а потом проводить его в последний путь.

Жизнь прекрасной осенью 1923 г. в Детском Селе, первое знакомство и с ним, и с Павловском, постоянная память о Пушкине и Вяземском, которыми я занималась в первые годы научной работы, — все это было забываемым. Запомнился и один особенный вечер в доме отдыха: сообщалось, что из города должен приехать и выступить с концертом юный пианист и композитор Д. Д. Шостакович, о котором отзывались с удивлением и восхищением. Хотя я по сложившимся обстоятельствам жизни имела некоторое отношение к современному музыкальному искусству, но имени этого тогда еще не слышала и была поражена и игрой, и видом юноши, почти мальчика, выступившего в зале дома отдыха.

Но, конечно, центральное место во время моего пребывания в тогдашнем Петрограде занимала постоянная память о работе по Достоевскому, установление связей с его родственниками, с Пушкинским Домом, посещение мест, запечатленных в жизни и творчестве писателя. И прежде всего меня волновали поиски и установление знакомства с «тетей Катей» — Екатериной Михайловной Достоевской.

Ее адрес на Симбирской улице я хорошо знала, но знала также, что она очень неохотно беседует о членах своей семьи и Федоре Михайловиче. Однако ее значение и для моей работы, и для будущего музея было так велико, что я решаю привести обширное описание первой с ней встречи — оно сохранилось в моем письме от 6 октября 1923 г. из Петрограда. Письмо это было адресовано М. В. Волоцкому, которому не удалось самому познакомиться с Е. М. Достоевской, но который поручил мне получить от нее ответы на ряд нужных ему для исследования вопросов.

«В первый день по приезде, часов в пять вечера, я отправилась разыскивать ее по известному адресу. Легко нашла старый трехэтажный серый дом (потом я узнала, что в нем бывал у Екатерины Михайловны Федор Михайлович Достоевский), по черной лестнице со двора поднялась на 2-й этаж и у двери встретила Елизавету Николаевну Князеву, воспитанницу Екатерины Михайловны, которая с ней живет. На вопрос об Екатерине Михайловне она ответила, что „мама дома“, пригласила меня войти и сейчас же догадалась, что это я прислала зимой письмо. Екатерина Михайловна тотчас же вышла ко мне. Ее даже нельзя назвать старухой, хотя ей 70 лет. Пожилая женщина с очень правильным красивым лицом, седая, в гладком черном платье, с общим отпечатком чего-то немецкого и старомодного. Она пригласила меня в столовую, уютную и тоже старомодную, всю в стиле 70—80-х годов. Масса портретов на стенах, рояль, ста-

рый фарфор, старые кожаные кресла. Я села за тот же большой обеденный стол, за которым в конце 70-х годов сидел Федор Михайлович. Екатерина Михайловна извинилась, что не ответила на письма, сославшись на то, что плохо видит. Но это совсем так — после она мне рассказала, что как раз перед моим письмом к ней приходила с такими же вопросами барышня, которая ей очень не понравилась, и ей не захотелось мне отвечать. Да и мудро было бы что-нибудь сообщить в письме. Лишь вот так, сидя часами рядом за столом, можно было добиться того, чего я добилась. Но все по порядку.

В первый мой визит, который продолжался часа два, я записала ряд сведений о Михаиле Михайловиче, которые Екатерина Михайловна очень осторожно и с оговорками мне сообщила. У нее вполне ясный ум, любовное отношение к старине, но справедливые и беспристрастные суждения. Она, по-моему, очень умна и вообще кажется хорошим, незаурядным человеком. Симпатия у нас с ней оказалась взаимная. Через час она повела меня к себе в спальню, начала доставать фотографии, рисунки Михаила Михайловича (он хорошо рисовал и страстно любил музыку). Только на мои вопросы об архивных материалах, есть ли что у нее, загадочно говорила: „Может быть, что-нибудь найдется“. Так как она и ее воспитанница мне жаловались, что сейчас им очень трудно живется — Елизавета Николаевна и ее муж — оба без места, а Екатерине Михайловне нужно делать немедленно глазную операцию, на которую нет денег, то я предложила Екатерине Михайловне довериться мне, показать, что из писем у нее есть, обещая быстро поместить в печать и доставить денег. Она обещала подумать и дать ответ в следующий раз.

Через два дня я вновь была у нее. В этот раз мы окопательно сдружились. Я просидела у нее весь вечер, записывала ответы на Ваши вопросы... и наконец дождалась... Екатерина Михайловна вытащила заветный пожелтевший конверт и в нем письма Федора Михайловича *ненапечатанные*. Можете представить мой восторг, когда она дала мне письмо Федора Михайловича к отцу 1838 года, где он пишет о том, что оставлен на второй год в Инженерном училище, пишет со слезами, покаянием. Потом письмо Михаила Михайловича к отцу того же времени, написанное в защиту брата. Сейчас я уже веду переговоры в Пушкинском Доме о помещении их в журнале „Атеней“ и, вероятно, получу за них 4—5 червонцев. Этого Екатерине Михайловне вполне достаточно для операции. (Эти письма у меня здесь в Царском, буду писать к ним вводную статейку и примечания). В перспективе еще ряд писем Федора Михайловича к Эмилии Федоровне после смерти Михаила Михайловича, неизвестные в печати, письма Михаила Михайловича и к нему. Потом толстая редакционная тетрадь журналов „Время“, „Эпоха“ и потом еще обещание посмотреть „какие-то рукописи на дне черного сундука“... Не странно ли, что я, москвичка, случайно попавшая в Петербург, делаю здесь раскопки по Достоевскому,

которым занят почти весь историко-литературный Петербург?»).

Далее, в связи с ответом на специальные вопросы Волоцкого к Е. М. Достоевской, я сообщаю ему, что она плохо помнит некоторые имена и даты рождения и смерти и запросит о них родственницу в Самаре, которая «специалистка» по этим вопросам.

То, что я могла рассказать Екатерине Михайловне о тяжелой судьбе Милия Федоровича и своем участии в ней, о его сестре, Татьяне, о моих занятиях по изучению литературного наследия ее отца и замысле книги о нем, очевидно, сыграло положительную роль, и у нас постоянно завязывался оживленный разговор. Позднее, после нескольких лет нашего знакомства, она мне говорила, что в наших беседах она забывает, что я не ее современница, так как, рассказывая, она могла без пояснений вспоминать всех тех, с кем была связана ее молодость и о ком никто из окружающих ее теперь людей ничего не знает: Полонского, Страхова, Владиславлева, Ю. П. Померанцеву (дочь Карепина, переводчицу в журналах Достоевских) и многих других.

Скажу несколько слов о судьбе Е. М. Достоевской. Судя по воспоминаниям и письмам современников, она была очень хороша собой, отлично училась и была очень живым ребенком. Но после обеспеченного детства, со смертью отца (ей было тогда 12 лет) для ее семьи настали материально тяжелые годы. Несомненно, что Ф. М. Достоевский особенно выделял Катю среди семьи умершего брата. Посылая в письмах к его вдове, Эмили Федоровне, поклоны и приветы, он никогда не забывал приписать просьбу «поцеловать Катю», пожелать ей «всяких успехов», сказать ей, что он ее «очень любит». Он был уверен, что она «бесподобно выдержит экзамены», заботился о ее внешнем виде: «Как бы я рад был, еслибы мамаша сделала ей костюм несколько получше, чем прошлого и третьего года в Павловске» (П., II, 22). Судя по воспоминаниям Анны Григорьевны, эта «прехорошенькая девочка лет пятнадцати с прекрасными черными глазами и двумя длинными белокурыми косами за спиной»⁴ часто бывала у них по утрам. Когда же после закрытия журналов и отъезда за границу в связи с оставшимися за ним долгами Ф. М. Достоевский не мог так, как бы хотел, поддерживать семью Михаила Михайловича, он, зная несправедливые жалобы Эмили Федоровны на него как на виновника их разорения, писал в марте 1869 г. С. А. Ивановой: «Вообще вся эта семья, так мне близкая, меня приводит в отчаяние. Эмилия Федоровна жалуется на свою бедность, дочь ее Катя растет в большой тоске». В октябре того же года Достоевский снова пишет Майкову: «Сердце мое изныло; слишком уж долго ничего не помогало! А ей и Кате до того худо теперь, что хуже уже и быть не может» (см.: П., II, 178, 224).

⁴ *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971, с. 114.

Екатерина Михайловна, так же как Анна Григорьевна, после гимназии окончила курсы стенографии, рано начала работать, стала гражданской женой известного ученого и общественного деятеля В. А. Манассеина — профессора Военно-медицинской академии в Петербурге и редактора журнала «Врач». Она прожила с ним свыше 20 лет, вплоть до его смерти в 1901 г., помогала в его сложной работе и была окружена уважением его друзей.

В 1922 г. вышли в русском переводе «Воспоминания» Любови Федоровны Достоевской об отце, в которых она сообщала о якобы слышанных от Анны Григорьевны рассказах о том, что Федор Михайлович трагически переживал «позор» своей племянницы, так как В. А. Манассеин из-за отказа его первой жены в разводе не мог «законно» оформить брак с Екатериной Михайловной, и якобы «запретил» всякие сношения с «привившейся». Но уже А. С. Долинин, комментируя письма Федора Михайловича к брату Николаю Михайловичу от 6 декабря 1879 г., обнаружил недостоверность этих сообщений Любови Федоровны, как и всех ее «воспоминаний» в целом. Федор Михайлович писал, что месяц назад «был у Екатерины Михайловны» и расспрашивал о брате (см.: II, IV, 401).

Вероятно, я знала, когда встречалась с Е. М. Достоевской, о клеветнических утверждениях дочери писателя, но сомневаюсь, чтобы сама она была осведомлена о них: она, конечно, не следила за литературой по Достоевскому, и никто из специалистов ее не посещал. Во всяком случае, сама она ни разу, никогда не касалась не только этого личного вопроса, но и общеизвестной неприязни в отношениях ее матери к Федору Михайловичу. У Екатерины Михайловны вообще были опасения, как бы в печати не появились неверные сведения о близких ей людях, и она жаловалась на некоторые случаи. К счастью, я избегала этих опасений с ее стороны и, когда вскоре после знакомства с нею и ее архивными материалами призналась, что собираюсь написать книгу об ее отце, то она не выразила опасений. Вместе с тем она была очень осторожно настроена по отношению к книге М. В. Волоцкого «Хроника рода Достоевского», о которой я ей рассказывала и просила у нее ответов на порученные мне специальные вопросы.

11 марта 1924 г. она мне писала: «Я хорошо знаю, что Вы ничего не напечатаете такого, с чем я могла бы не согласиться, и вполне полагаюсь на Вас. Другое дело Волоцкой... Евгеничский отдел составил родословную Достоевских, где о моем отце написано, что он был алкоголиком. Откуда они получили это известие? Мой отец никогда алкоголиком не был и, сколько помню сама и знаю по рассказам родных, пил всего только в исключительных случаях (званные обеды, именины и т. д.) и в очень ограниченном количестве. Интересно было бы знать, кто им сообщил такую ложь. Меня это очень огорчило. Неужели не могли справиться у людей, близких покойному? Ведь я еще,

слава богу, жива и могла бы ответить на этот вопрос, если бы он был мне задан. В письме ко мне Волоцкой спрашивал только о потомстве моей сестры и еще о ком-то, только не об отце. Андрея Андреевича тоже пожаловали в алгоколики и тоже, конечно, без всякого основания. А. А. хотел написать Волоцкому и опровергнуть допущенную неправду, как от своего, так и от моего имени».

Е. М. Достоевская после смерти мужа жила со своей воспитанницей, круглой сиротой, дочерью врача и воспитала ее, как родную дочь. Лизочка платила ей горячей любовью, и они с мужем заботились о слепнущей старухе, живя вместе в ее уютной квартире прошлого века. В Москве я была рада помочь Екатерине Михайловне в ее хлопотах о пенсии, что облегчило их быт, усложнившийся рождением ребенка, которого Екатерина Михайловна обожала, как внука.

Е. М. Достоевской не было свойственно много и подробно рассказывать мне в ответ на мои вопросы о Федоре и Михаиле Михайловичах. Но из отдельных ее замечаний, мимоходом всплывавших воспоминаний у меня составилось несколько страниц ее рассказов мемуарного характера, которые я, объединяя в одно целое сказанное в разные встречи 1923—1929 гг., приведу здесь.

Вспоминая мать, Екатерина Михайловна говорила, что она была очень хороша собой, с большими голубыми глазами. Эмилия Федоровна, рожденная Дитмар, выросла в Ревеле и сперва совсем не говорила по-русски, потом выучилась, но до конца говорила не совсем правильно. Ее браку с М. М. Достоевским противилась ее семья, в особенности отчим, из-за различия религии и национальности. Она имела 8 детей, из которых четверо умерли в раннем детстве.

В конце 1840-х гг. М. М. Достоевский был преподавателем русской словесности в училище Св. Елены. Спустя же несколько лет он организовал табачную фабрику и торговлю. И то, и другое первоначально было очень скромных размеров, и в работе участвовали и сами предприниматели. Екатерина Михайловна вспоминала, как мать укладывала в коробки с папиросами «скрипки», которыми отличалась продукция М. М. Достоевского. В конце 50-х—начале 60-х гг. семья жила в полном достатке. У детей была гувернантка, держали собственных лошадей, устраивались еженедельные литературные и музыкальные вечера, на которых собиралось до сорока человек гостей.

Рассказчице было одиннадцать лет, когда умер отец. Она помнила его всегда очень занятым, сидящим над корректурами. В это время у него было особенно заметно нервное подергивание рта, которое, как рассказывала мать, началось перед арестом по делу петрашевцев в 1849 г. — появившиеся в то время припадки после исчезли, оставив этот дефект.

Несмотря на нервность, Михаил Михайлович был ровным и сдержанным в обращении. Дочь не помнила, чтобы он когда-ни-

будь вспылал, сердился, кричал. Днем бывали иногда собрания редакции журнала, и тогда было очень оживленно и шумно. М. М. Достоевский страстно любил музыку, но сам не играл: сперва заставлял играть жену (игравшую плохо), а потом старшую дочь — Марию, которая под его настойчивым воздействием усиленно занималась и стала хорошей пианисткой. Пианистом был и старший сын, в дальнейшем директор Саратовского отделения Русского музыкального общества. Будучи поэтом и любителем музыки, Михаил Михайлович также неплохо рисовал, и в семье хранились его работы — по большей части копии. Он был чрезвычайно близорук, так что часто не узнавал на улице своих детей. О его одаренности говорит и тот факт, что, будучи уже взрослым, переехав из Ревеля в Петербург, он самостоятельно овладел английским языком и мог свободно на нем читать.

По словам Екатерины Михайловны, с Федором Михайловичем Михаила Михайловича связывала исключительная дружба. Когда Ф. М. Достоевский приехал в конце 1860 г. из Твери в Петербург, семья М. М. Достоевского жила в доме на углу Мещанской улицы и Екатерининского канала. Их квартира была на третьем этаже, а на первом помещался склад товара фабрики. Ф. М. и М. Д. Достоевские, приехав, поселились во втором этаже, куда дети Михаила Михайловича часто заходили по дороге. Екатерина Михайловна вспоминала, что Мария Дмитриевна была больной, раздражительной женщиной, но сам Федор Михайлович очень любил и баловал детей, давал им мелочь на гостинцы и часто бывал у них в семье. Она помнила, как в одно рождество, когда елка была уже зажжена, а дети собрались вокруг нее, вдруг раздался громкий звонок и в зал торжественно вошел Федор Михайлович, ведя за руки две большие куклы для двух младших племянниц — Кати и Вари, с которыми был особенно ласков и нежен.

Федора Михайловича Екатерина Михайловна характеризовала в отличие от отца как человека легко раздражавшегося и доходившего до бешенства. Бывал он в ее семье и после смерти брата, женившись на Анне Григорьевне. Она вспоминала, что однажды Эмилия Федоровна сказала ему, что у нее хранится письмо Федора Михайловича брату с описанием чтения приговора и переживаний на Семеновском плацу в 1849 г. Федор Михайлович начал его читать, страшно волнуясь, как бы еще раз переживая вновь все написанное. Потом он стал очень просить отдать ему это письмо и увез его с собой.

Е. М. Достоевская передала в музей (за ничтожную сумму, которую мы могли тогда ей предложить из нашего более чем скромного бюджета конца 1920-х гг.) ценнейшие рукописи и портреты членов семьи. Здесь были деловые тетради редакции журналов, автографы сочинений Михаила Михайловича, письма к нему брата и других лиц. К сожалению, не имея тогда опыта музейной работы и помня о нашей бедности, я не решалась заговорить о каких-либо семейных мемориальных предметах, которые, конечно,

тоже у нее были. Так, я помню, что она рассказывала о вышитом шерстями крестом покрывале на рояль, работе, в которой принимали участие любые желающие из посетителей их «журфиксов» (особенно часто этим занимался Полонский). Да, во многом и в то время не была достаточно подготовленной, мало смогла узнать о редакционной работе братьев, о позднейших отношениях с Федором Михайловичем. Помню лишь замечание Екатерины Михайловны о том, что в 1870-х гг. она совсем разошлась с Анной Григорьевной. Когда в 1879 г. умерла Эмилия Федоровна, она ничего не сообщила Федору Михайловичу, так как его не было в Петербурге, но когда, вернувшись, он узнал об этом событии, то приехал к Екатерине Михайловне и долго сидел и беседовал с нею.

Очевидно, я собиралась побывать в Павловске, где умер и был похоронен Михаил Михайлович. У меня сохранилась запись-объяснение о том, как найти его могилу: «Идти по тропинке до аллеи параллельно храму, направо сейчас же могила вторая, рядом Кашин. Чугунный крест». Сама же Екатерина Михайловна Достоевская умерла 30 августа 1932 г. и была похоронена в Ленинграде.

Я не была в Ленинграде в 1930—1932 гг., и о смерти Екатерины Михайловны меня известил В. А. Люба. Приведу характеризующие ее строки: «Это был человек, который, несмотря на свои 79 лет, был молод душой необыкновенно... Как тяжела нам эта потеря человека, ясный и светлый ум которого был не только нашей поддержкой, но который был и олицетворением общественной совести — В. А. Манассеина. Отсюда понятна та необыкновенная чистота, которая сложилась из природных начал и влияния такого сильного духом человека, как Вячеслав Авксентьевич» (письмо от 21 сентября 1932 г.). О похоронах Екатерины Михайловны мне тогда написал и Андрей Андреевич Достоевский: «Вы уже теперь знаете, что Екатерина Михайловна скончалась. Мы ее похоронили на Богословском кладбище, на Выборгской стороне, в местности, называемой Пискаревка, или в ее районе» (письмо от 6 сентября 1932 г.).

Перехожу к рассказу о моем знакомстве с третьим представителем семьи Достоевских, сыгравшим немалую роль в первом устройстве музея Достоевского. Это — Андрей Андреевич Достоевский, сын младшего брата писателя. С А. М. Достоевским у Федора Михайловича было мало общего и не установилось дружеской близости. А. А. Достоевский родился в 1863 г., детство и юность провел на юге России и в Ярославле, где служил его отец, и мог знать Ф. М. Достоевского лишь по коротким посещениям Петербурга. Но сложилось так, что он стал наследником рукописей своего отца, который был подлинным летописцем семейства Достоевских.

Специальность статистика, служба чиновником в Министерстве внутренних дел, одинокая жизнь (он не был женат) — все это наложило своеобразный отпечаток на шестидесятилетнего

старика, каким я его впервые увидела в маленькой квартирке на Почтовой улице. Образ А. А. Достоевского у меня как-то невольно ассоциировался с представлением о типичных петербургских чиновниках царского времени, вероятно, по литературе, так как в жизни я их не могла знать. Бритый подбородок и усы, немножко старомодная, очень любезная, по всегда какая-то официально вежливая и осторожная речь, не отражающая ни положительных, ни отрицательных эмоций. Он явно старался определить, что я собою представляю, мои симпатии и интересы, не позволяя себе быть сколько-нибудь откровенным. Несомненно, что мое увлечение Достоевским, знание его биографии и литературы о нем его располагали, так как он сам был в это время полностью занят подготовкой к печати мемуаров своего отца. Но вместе с тем он точно ревновал меня к этим частично уже опубликованным Орестом Миллером материалам и боялся, что я могу использовать что-то сообщенное им ранее его публикации. Так как он все же не мог удержаться, чтобы не поделиться со мной несколькими семейными документами, он потребовал, чтобы у меня не было в руках карандаша и бумаги и я лишь на слух воспринимала бы переписку юного Достоевского с отцом, которую Андрей Андреевич после опубликовал в своей книге.

Но, очевидно, мое горячее сочувствие к его работе, с одной стороны, и сведения о моих небольших литературных связях в Москве возбудили в нем надежду на помощь в публикации готовящейся книги. Первое из сохранившихся у меня писем его («С. П. Б. 9 декабря 1924. Почтамтская ул., 5») начиналось так: «Большое Вам спасибо за хлопоты и за обстоятельное сообщение справок по поводу моих мечтаний об издании Записок моего отца». Так как у А. А. Достоевского появились какие-то возможности устроить издание в Ленинграде, он просил меня на всякий случай продолжать московские переговоры. Между прочим он писал: «Если встретите И. И. Гливенку и у Вас пойдет разговор о моих планах, напомните ему, что мы с ним когда-то (до революции, до войны) были сослуживцами по Министерству просвещения и что я ему кланяюсь». Я слишком мало знала И. И. Гливенку и об издании с ним не говорила, но через М. О. Гершензона очень заинтересовала работой Андрея Андреевича М. В. Сабаникова и его издательство.

В первом письме А. А. Достоевского нет ни слова о будущем музее. Вопрос о его организации и устройстве проходил ряд инстанций и, хотя вызывал общее сочувствие, вероятно, встречал и противодействие, и разные формальные трудности. В 1925—1926 гг. он не получил еще положительного решения, и в одном из моих писем М. В. Волоцкому, помеченном 15 июня и, вероятно, относящемся к 1926 г., я писала: «Может быть, приедете посмотреть на мой злополучный Музей, который все еще находится в прежнем ложном положении. Думаю, что придется всю эту затею ликвидировать...». Но в письме от 23 сентября (думаю, что того же 1926 г.) ему я писала прямо противоположное: «Му-

зей мой близится к осуществлению, и так все ему благоприятствует, что мне как-то страшно: верно, перед самым концом сорвется. Главное — получила квартиру, где жили Достоевские в 1823—1837 гг.». А к лету следующего года я уже уверенно сообщила ему: «Июль надо будет много работать. Между прочим, по музею Достоевского. Дело решенное, музей будет, и я буду заведующей... В годовщину рождения Ф. М. Музей откроем». Письмо это относится к 30 июля 1927 г.

Но в этот год, ко дню рождения Достоевского (30 октября/11 ноября) музей еще не был готов, и в этот день я лишь организовала (не в его помещении, а в правом корпусе, где Достоевский родился) небольшое заседание памяти писателя с докладом о работе и подготовке музея.

В полученном мною затем письме от 2 января 1928 г. Андрей Андреевич отозвался на посланную ему книжку «Ползунков» Достоевского с рисунками Федотова и моей статьей «Достоевский и Федотов».⁵

Если А. А. Достоевский следил за моей работой, чем мог помогать и почти накануне открытия 9 августа 1928 г. даже писал такие чересчур лестные, но вдохновлявшие меня строки: «Вы можете по праву сказать, что Музей Федора Михайловича в Мариинской больнице — это Вы!», — то со своей стороны я также старалась помочь ему: посылала московские фото для иллюстраций его книги и хлопотала у Сабашникова о ее издании. Но последний хотел видеть рукопись, а Андрей Андреевич боялся выпустить ее из рук. В конце концов он устроил ее издание в «Издательстве писателей в Ленинграде», где она и вышла в начале 1930 г. 7 апреля он выслал мне экземпляры еще до поступления книги в продажу.

Я очень жалею, что не ознакомилась основательно с архивом А. А. Достоевского, который передан в Пушкинский Дом. Надеюсь, что это сделают будущие исследователи.

Благодаря меня в письме за «лестный отзыв» о книге, Андрей Андреевич ждал от меня печатной рецензии и сведений о наличии таких. 27 мая он сообщил мне, что, по сведениям издательства, в продаже «книга идет ходом». На моем экземпляре он сделал дорогую мне надпись: «Искренне уважаемой Вере Степановне Нечаевой, основательнице Музея Федора Михайловича в Москве, от душевно преданного А. Достоевского. 1930 Апреля 7».

Насколько я помню, последний раз я посетила Андрея Андреевича летом 1932 г. и познакомилась с живущим у него единственным внуком писателя, Андреем Федоровичем Достоевским, юным студентом, инженером по специальности. Думаю, что несколько лет совместной жизни с Андреем Андреевичем содействовали его увлеченности своим гениальным дедом, интересу к его жизни и творчеству.

⁵ См.: *Нечаева В. С. Достоевский и Федотов.* — В кн.: *Достоевский Ф. М. Ползунков.* М.; Л., 1928, с. 7—32.

Вскоре после начала моего знакомства и общения с ленинградскими родственниками Достоевского состоялась моя встреча с его подмосковными потомками. Постоянно размышляя в связи с устройством будущего музея о детских годах писателя, я не могла не обращаться мыслями к жизни его семьи в летние месяцы 1831—1836 г. в с. Даровом Капирского уезда. Оно было местом первого общения будущего писателя с родной природой, деревней, крестьянством.

М. В. Волоцкой знал, что там проживают племянницы писателя, дочери его любимой сестры Веры Михайловны Ивановой, да и Екатерина Михайловна и Андрей Андреевич Достоевские, хотя и не близко их знали, но говорили мне о них. 4 ноября 1924 г. в «Известиях ЦИК» появилась небольшая статья А. Дроздова «Усадьба Достоевского (Даровое)». Хотя она имела несколько явных исторических ошибок и неточностей, но была написана с искренним чувством любви и уважения к этому скромному памятнику прошлого. Думаю, что этот очерк помог оформиться моему решению во что бы то ни стало побывать в Даровом, познакомиться с его владельцами и, конечно, может быть, раздобыть что-то для музея. То же желание выразил М. В. Волоцкой, которого особенно интересовал вопрос о смерти отца писателя, возможность побеседовать с племянницами Достоевского и с потомками крестьян — современников убийства.

8 июля 1925 г. мы пустились в это путешествие поездом в Зарайск, надеясь оттуда найти извозчика или случайного попутчика для десятиверстного переезда до деревеньки Достоевских. Во время этого переезда запомнились поля, овраги, небольшие перелески и кустарник, отсутствие крупных сел, пустынная дорога — обычная для тех лет и мест маложивописная картина, но такая родная, русская... Подъехали к маленькой деревушке из 20 изб с потемневшими соломенными крышами и с выкрашенным в яркую синюю краску и окруженным зеленью лип и тополей «господским» домом — миниатюрной одноэтажной деревянной постройкой с низкими окнами и терраской. Мы застали дома хозяйку, старшую из дочерей Веры Михайловны — Марию Александровну (родившуюся в 1848 г.). Это однодневное посещение Дарового, длинные беседы с Марией Александровной, которые я старательно записывала, встречи со старыми крестьянами — все это оказалось настолько значительным, что я долго была под сильным впечатлением от поездки. Вернувшись, я постаралась запечатлеть пережитое в статье «Поездка в Даровое».

Хотя время было прямо-таки перенасыщено встречами и беседами, все же я была глубоко затронута, вернее, — как-то целиком охвачена тем скромным пейзажем, который я могла, хотя и бегло, созерцать, не уходя далеко от усадьбы и деревни: овраги, остатки рощи, озера, дали полей и перелесков, так хорошо знакомые по творчеству Достоевского — дневнику Вареньки Доброселовой из «Бедных людей», воспоминания Ивана Петровича в «Униженных и оскорбленных», по «Мужичу Марею».

В статье «Поездка в Даровое»⁶ я не решилась писать о своих впечатлениях от Марии Александровны, ее личности и окружавшей ее обстановки. Поэтому отведу здесь хотя бы страничку этой представительнице рода Достоевских.

М. А. Иванова давала уроки музыки, в ее крохотном домике в Даровом много места занимал старинный прямострунный рояль, и она по моей просьбе сыграла мне что-то из пьес Мендельсона. Ей было лет под восемьдесят, она охотно и живо беседовала, читала на память стихи и смеялась вперемешку с жалобами на тяжелые условия, в которых ей приходилось существовать. О генеральной дяде она говорила без особого пиетета и даже мимоходом бросила шутливую фразу: «Достоевского студенты выдумали». С каким-то старческим озорством она, сидя за роялем, вдруг начала наигрывать царский гимн («Боже царя храни») и, смеясь, спросила нас, как нам нравится «этот мотивчик?». Это была вовсе не провокация, а именно какая-то озорная шутка. У нее были плохие отношения с крестьянами, на которых она жаловалась, так же как и на «начальство», т. е. Зарайский музей, в ведении которого находился ее дом как историческая реликвия. Дом был действительно в плохом состоянии: погнулся, покривились стены, облупилась краска, покоробился потолок, половицы скрипели. Если летом сюда приезжали ее младшие сестры, то на зиму сама Мария Александровна уезжала в соседнюю Черемошню, к сестре, которая там учительствовала: отопить Даровской домик зимой ей было не по средствам с ее пенсией, а потому так топились только кухня, где жил сторож.

Облик Марии Александровны, таким, как я запомнила ее, побывав в Даровом и не решившись в своей статье описать его хозяйку, хорошо зарисован за год до этого в очерке Дроздова: «Вас встречает Мария Александровна. Она больна ногами, ходит с палкою, на седых волосах ее наколка, и от складок старомодного платья ее пахнет уходящим временем, уходящими людьми, уходящим бытом. Вся жизнь ее — здесь, среди этих чистенько прибранных комнаток, среди фруктового сада и раскидистых лип. Охрипшая болонка трется у подола ее широчайшей юбки. Сложив на столе желтые, со вспухшими венами, руки, она говорит о том, что домик приходит в ветхость, что никто не помнит Достоевского, что в Черемошне нет даже школы имени его. Она права — о школе в Черемошне давно уже бесплодно хлопочет сестра ее, подновить домик не хватает средств у зарайского музея, в ведении которого усадьба Достоевских находится с 1923 года».⁷

Висевшие на стенах пожелтевшие и выцветшие фотографии, главным образом родственников, не вызвали особого «музейного» интереса — все они уже были у меня пересняты и находились в хорошем состоянии. Но вот на три вещи я не могла

⁶ См.: *Нечаева В.* Из литературы о Достоевском (Поездка в Даровое). — *Новый мир*, 1926, № 3, с. 128—144.

⁷ См.: *Дроздов А.* Усадьба Достоевского. — *Изв. ЦИК*, 1924, 4 ноября.

спокойно смотреть, чтобы не представлять их в будущем музее как некие драгоценности. Две из них, вероятно, в 1837 г. были вывезены из квартиры в Мариинской больнице, так как явно относились к первой четверти XIX в., что подтверждала и сама М. А. Иванова. Во-первых, — книжный шкафчик с несколькими полками и стеклянной дверцей, красного дерева, но почти черный от времени: может быть, он стоял в детской братьев Достоевских с их любимыми книгами. Во-вторых, — овальный стол из гостиной, фанера красного дерева, на котором частично ободрана, но по форме, стилю его также легко было отнести к началу прошлого столетия: может быть, именно за этим столом звучало в гостиной по вечерам чтение родителей и старших братьев.

Третья вещь относилась к другой эпохе, но о ней точно могла рассказать Мария Александровна. Это был диван, который купил себе Федор Михайлович, когда в 1866 г. поселился на даче по соседству с Ивановым. На нем он спал, писал «Преступление и наказание» и, конечно, возвращаясь в сентябре в Петербург, оставил его в семье сестры, которая и перевезла его впоследствии в Даровое. Диван деревянный, с мягкой обивкой табачного цвета, вероятно, недорогой и вряд ли удобный для сна.

Мои рассказы о будущем музее, о желательности приобрести три описанные вещи как ценные экспонаты убедили Марию Александровну, и она согласилась на их отдачу, которую надо было в ближайшем будущем официально оформить, снесясь с МОНО и Зарайским музеем. Это было сделано в следующем, 1927 году, когда я вторично побывала в Даровом. Со мною ехал сотрудник Музейного отдела МОНО, молодой энергичный человек (если не ошибаюсь, Б. М. Клушанцев). На нем лежали вся организация передачи вещей и их вывоз, сношение с Зарайским местным советом и заботы о транспорте. Я даже не помню, было ли за эти вещи что-нибудь уплачено и сколько Марии Александровне, которая, конечно, была в этом заинтересована.

Освободившись от этих забот, я предполагала использовать время для лучшего знакомства с Даровым, Черемошной и окружающей местностью. Прежде всего я направилась в соседнее Моногарово, бывшее имение Хотяинцевых, в котором хорошо сохранилась церковь конца XVIII в. Ее посещали Достоевские и их крестьяне, около нее был похоронен М. А. Достоевский. Церковь стояла открытая, пустая и явно никем не охранялась. Я обратила внимание на старинные бумаги, разбросанные при входе, пошла по их следам и увидела в полутемной сырой комнате церковный архив, из которого без разбора вырывали бумагу. Как архивист, я «прилипла» к этим полкам и здесь провела весь день, забыв обо всем остальном. Я очень скоро поняла огромное значение, которое могут иметь хранившиеся здесь «клировые ведомости», книги «брачных обысков» и другие документы. В них была отражена не только история окружавших владельцев-помещиков и их крестьян, но и запечатлено пребывание семьи Достоевских, находился полный перечень их дворовых и крестьян.

Среди документов от конца XVIII в. и до середины XIX в. я быстро нашла важные для меня 1830-е годы, где значилась фамилия Достоевских и имелись сведения о Даровом и Черемошне. Находка и обрадовала, и испугала меня: я понимала, что если тотчас же не принять каких-то мер, здесь все может завтра же бесследно исчезнуть. Я направилась в сельсовет — (не помню, Моногаровский или Даровской), горячо изложила историческую важность расхищаемого архива и доказывала необходимость хотя бы часть его немедленно взять в московский музей, а остальное вывезти в Зарайск или Каширский архивный центр.

Мне предложили отобрать интересные музей документы, отправить их вместе с вещами из Дарового и снабдили хорошим мешком, в который можно было уложить десяток толстых томов церковных ведомостей за интересующие меня годы. С этим разрешением и мешком я вернулась в церковь и, так как внутри работать было темно и сыро, таскала поочередно тома на залитую солнцем паперть, где старалась возможно быстрее знакомиться с содержанием документов. Я отбирала те, которые свидетельствовали о владельцах-помещиках, окружавших Достоевских в 1830-х гг., и особенно те, которые содержали полные списки принадлежавших им крестьян. Упоминались и члены семьи Достоевских, встречались их подписи в книге «брачных обысков» с разрешением на брак своих крепостных. Мелькали имена дворовых и крестьян, которые вошли в биографию писателя и даже, как я убедилась позднее, изучая взятый материал, нашли отражение в его творчестве.

Спешно пересматривая на паперти одну за другой толстые, сшитые в лист тетради синеватого или бурого цвета, исписанные выцветшими рыжими чернилами, с титлами, длиннейшими названиями, я должна была быстро решать, что именно брать с собой, так как объем мешка был ограничен. Вот, например, полное название одной из книг, подобные которому были и на других, в зависимости от их назначения: «Ведомость Тульской епархии Каширского уезда села Моногарова церкви Сошествия святого духа священника Григория Алексева и диакона с причетниками, обретающимся при оной церкви и приходе нижеявленных чинов людям, с изъявлением против каждого имени о бытии их в святую четырехдесятницу у исповеди и святых таин причастия и кто же исповедался только, на не причастился и кто же не исповедался 1835-го года». Ведомости разделены на графы, показывающие число домов или дворов, число мужчин и женщин, их возраст и «показание действия» и «за каким винословием». Особые ведомости были посвящены регистрации смертей и их причин, вступлению в брак с разрешающими подписями помещиков. Мне встретились подписи матери Федора Михайловича и его старшего брата Михаила.

Не помню, как и кто отправил набитый мною мешок, благополучно поступивший в музей Достоевского, но я в Зарайске не попала на московский поезд и по приглашению заведующего ме-

стным музеем И. Перлова провела вечер и почевала в его семье. Было очень грустно прощаться с Марией Александровной, которая плохо себя чувствовала, жаловалась на трудности своей жизни и недоброе отношение к ней крестьян. Она настойчиво просила меня и Клушанцева выхлопотать средства на ремонт, дрова и помочь в других нуждах. Мы обещали и, конечно, что можно было, сделали в Москве, но все это шло медленно, а старуха и ее сестра слали свои жалобы, в которых я была бессильна им помочь. В их сохранившихся у меня письмах отражен конфликт с колхозными крестьянами, которые хотели организовать в части дома Ивановых избу-читальню и требовали эту часть освободить, так же как и надворные постройки. Большой же старухе было тяжело не только расстаться с привычным жильем, но и лежать в непосредственном соседстве в крохотном домике с проходящими и уходящими чужими людьми. Какой-то охранной грамоты мы добились, но все это было очень хлопотно, грустно и тяжело.

Летом 1929 г. М. А. Иванова скончалась, и усадьба Достоевских поступила в ведение колхоза им. Достоевского, организованного в Даровом. В доме была открыта библиотека-читальня, при которой развернута силами московского музея маленькая музейная экспозиция (фото портретов писателя, краткие сведения о его жизни и творческом пути, его сочинения). Связи музея с колхозом им. Достоевского поддерживались главным образом членом колхоза Александром Ильичем Макаровым, который в одно из посещений музея передал сделанную в 1910 г. копию с плана с. Дарового и его окружения, снабженного обильными пояснениями и надписями того времени — 1850 г. Ольга Александровна Иванова собрала семейную переписку Ивановых и набитую ими «наволочку» привезла в Москву, где переписка эта поступила к М. В. Волоцкому как материал для его книги, и лишь несколько выписок оказались интересными и для меня.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- А. М. 234
 Ар. Мих. 20
 Абаза А. А. 9
 Абаза В. К. 12
 Абаза Н. С. 31
 Абаза Ю. Ф. 9, 259, 260
 Аверинцев С. С. 130
 Аверкиев Д. В. 143—146
 Авсеенко В. Г. 93, 254, 255
 Адамович А. 33
 Адрианов А. В. 187
 Адрианова-Перетц В. П. 112
 Азадовский М. К. 95
 Айтматов Ч. 33
 Аксаков А. Н. 26, 30
 Аксаков И. С. 9, 23, 31, 47
 Аксаков К. С. 40, 55
 Аксакова С. А. 26
 Александр II 37
 Александров А. Д. 121
 Александров М. А. 3, 248
 Алексеев М. П. 45, 112, 115
 Алена Прохоровна 27
 Анненков И. А. 181, 186
 Анненкова О. И. см. Иванова (Ан-
 ненкова) О. И.
 Анненкова П. Е. 190, 191
 Аннинский Л. А. 239
 Антипова О. А. 26
 Антонович М. А. 151, 152
 Аполлонов А. А. 181
 Аристов П. 175
 Архипова А. В. 81, 226
 Астахов В. И. 139
 Атанов Г. М. 166
 Ахшарумов Д. Н. 149

 Бабушкин Я. Л. 43
 Багно В. Е. 33, 107, 108
 Бажанов В. Б. 17
 Базанке А. 33
 Базанов В. Г. 45, 271
 Базинер О. Ф. 111
 Баландин Т. В. 271—273
 Балухатый С. Д. 43
 Бальзак О. де 42, 278
 Балюра Т. И. 19
 Баранов В. В. 275
 Барсов Е. В. 272
 Басаргин Н. В. 189
 Басаргина (Менделеева) О. И. 190
 Батов В. И. 219
 Батюго А. И. 220
 Батюшков К. Н. 58
 Бахтин М. М. 45, 48, 53, 56, 129, 130,
 203
 Бекедин П. В. 232
 Бекман В. А. 196

 Белинский В. Г. 40, 43, 45, 50, 54, 56,
 94—99, 202—207, 221, 234, 275
 Белов Е. А. 140
 Белый А. 168, 169, 171, 172
 Бельтрами Э. 121
 Бельчиков Н. Ф. 45, 92, 93
 Бенедиктов В. Г. 202
 Беранже П. 111
 Бергман 25
 Берков П. Н. 45
 Бестужев-Рюмин К. Н. 25, 30
 Битюгова И. А. 241
 Благой Д. Д. 115
 Благоветлов Г. Е. 21
 Блинчевская М. Я. 201
 Блок А. А. 71, 168—173, 282
 Боград В. Э. 201, 248
 Боград Г. Л. 265
 Бойаи Я. 120
 Бокаччо Д. 73, 74
 Бокль Г.-Т. 118, 119
 Бондарев Ю. В. 33
 Бонди С. М. 115, 116
 Бородин А. П. 122
 Борщевский С. С. 137, 142
 Боткин В. П. 148
 Бочаров С. Г. 46, 115
 Браун М. 19
 Бретцель Я. Б. 13
 Бродский Н. Л. 95
 Брюсов В. Я. 221
 Будаевский Н. 15, 17
 Будапова Н. Ф. 92, 149
 Булгарин Ф. В. 202, 226
 Буняковский В. Я. 124
 Бушмин А. С. 44
 Бялик Б. А. 154, 166
 Бялый Г. А. 258

 Вагнер Н. П. 28, 30
 Вайнерман В. С. 174, 191
 Валиханов Ч. Ч. 185—187, 192
 Валуев П. А. 227
 Варшавский С. 188
 Васильев П. В. 22
 Васказ Корреа П. 33
 Вацак П. 209
 Вега Карпью Л.-Ф. де 112
 Веласкес Д. 107
 Вельтман А. Ф. 55—63, 231
 Веселовский Александр Н. 110
 Ветловская В. Е. 81, 91, 113, 114, 130
 Виднэс М. 256
 Викторович В. А. 115, 137
 Вильчинский В. П. 248
 Виноградов В. В. 45, 208—211, 213,
 221, 222
 Виппер Ю. 3

- Висковатов П. А. 247
 Вистемус 29
 Владимирцев В. П. 182, 228
 Владиславлев М. И. 23, 283
 Владиславлева М. М. см. Достоевская (Владиславлева) М. М.
 Вогюэ Э.-М. 264
 Володин Э. Ф. 73
 Володкой М. В. 279, 282, 284—286, 289, 291, 295
 Волынский А. Л. 163, 168
 Вольтер Ф.-М. 107, 225
 Воронов А. П. 272
 Воронский А. К. 155, 166
 Врангель А. Е. 192, 193—198, 200
 Вяземский П. А. 227, 282
 Вяткин Г. 181

 Гааз Ф. П. 87, 88
 Гаевский В. П. 22
 Галлуа Л. 118
 Гальберг С. И. 101
 Гаршин В. М. 258
 Гасфорт Г. X. 189
 Гаусс К.-Ф. 121, 124
 Гегель Г.-В.-Ф. 39, 40
 Гейбович А. И. 189
 Гельмгольц Г.-Л.-Ф. 122—125
 Генкель В. 264
 Генслер И. С. 213
 Гернгросс А. Р. 192, 194, 196, 198
 Гернгросс Е. И. 197, 198
 Герцен А. И. 5, 40, 45, 50, 66, 87, 226, 275
 Гершензон М. О. 117, 275, 277, 289
 Гете И.-В. 111
 Гиголов М. Г. 64
 Гин М. М. 201, 203
 Гиппиус В. В. 43
 Гиппиус З. Н. 170
 Глазенап С. П. 122
 Глазунов И. С. 32, 271
 Гливенко И. И. 289
 Глинка Ф. Н. 206
 Глушкова Т. 116
 Гнедич Н. И. 141
 Гоголь Н. В. 43, 46, 72, 78, 141, 226, 227, 263
 Голеновская А. М. см. Достоевская (Голеновская) А. М.
 Голеновская (Тушлевич) Е. Н. 11
 Голованев А. А. 215
 Головачев А. А. 17
 Гольд <...> А. О. 22
 Гончаров И. А. 103, 106, 205, 275
 Горбовский Г. Я. 33
 Горбунов И. Ф. 30
 Горбунов Н. П. 19
 Горский П. Н. 19
 Горчаков П. Д. 183
 Горчакова 190

 Горький М. 42, 110, 154—167, 170, 248
 Готье Т. 37
 Граве (Романова) А. А. де 185—187
 Граве А. Ф. де 182—187
 Грашин Д. А. 33
 Гриббе А. К. 268, 269
 Григорович Д. В. 202—203
 Григорьев А. А. 16, 48, 104, 138, 213, 218
 Гришаев В. Ф. 192
 Громыко М. М. 191
 Гроссман Л. П. 108, 201, 210, 212, 214, 215, 218, 221, 236, 237, 240, 263, 277
 Губкина (Капустина) Н. Я. 189
 Гюго В. 106, 107

 Давыдов Д. В. 25
 Давыдов Ю. Н. 52
 Даль В. И. 219, 226, 229, 263
 Данилевский Н. Я. 205
 Дарвин Ч. 122
 Дарский Д. 118
 Дебу И. М. 16
 Дебу К. М. 16
 Демидов А. Н. 192, 199
 Демчинский В. П. 198
 Денисова Л. Ф. 43
 Державин Г. Р. 253
 Десницкий В. А. 44
 Диккенс Ч. 86, 106, 234
 Дитмар Э. Ф. см. Достоевская (Дитмар) Э. Ф.
 Дмитриев М. А. 206
 Дмитрий Донской 137—148
 Добролюбов Н. А. 48, 143, 151, 204, 205, 215, 219, 275
 Долганова 15, 27
 Долгомостьев И. Г. 22
 Долгополов Л. К. 169
 Долинин А. С. 43—45, 137, 158, 252, 259, 266, 285
 Доротея Антоновна 21
 Досс Н. А. 12, 14
 Достоевская (Сниткина) А. Г. 5, 6, 8, 12, 14, 22, 31, 89, 126, 154, 157, 178, 210, 237, 238, 249, 251, 268—270, 273, 278, 284—288
 Достоевская (Голеновская) А. М. 11
 Достоевская Варв. М. см. Карепина (Достоевская) В. М.
 Достоевская Варв. М. (племянница) 287
 Достоевская Вера М. см. Иванова (Достоевская) В. М.
 Достоевская (Федорченко) Д. И. 19
 Достоевская (Шукина) Е. А. 281
 Достоевская Е. М. 284—286
 Достоевская Л. Ф. 268, 285
 Достоевская (Исаева) М. Д. 192, 196—200

- Достоевская (Владиславлева) М. М. 18, 287
 Достоевская М. Ф. 298
 Достоевская Т. Ф. 284
 Достоевская (Дитмар) Э. Ф. 24, 28, 283, 284, 286, 288
 Достоевский А. А. 8, 288—291
 Достоевский А. М. 7, 9, 50, 178, 276, 277, 288, 291
 Достоевский А. Ф. 45, 290
 Достоевский М. А. 293
 Достоевский М. М. (брат) 12, 37, 138, 139, 204, 214, 277, 281—284, 286—288, 292, 294
 Достоевский М. М. (племянник) 12
 Достоевский М. Ф. 279—281, 284
 Достоевский Н. М. 285
 Достоевский Ф. М. (племянник) 279
 Достоевский Ф. Ф. 269
 Дроздов А. 291, 292
 Дудкин А. А. 29, 263
 Дуров С. Ф. 178, 179, 183, 188
 Дюрер А. 107
 Дядьковский И. Е. 35, 36
- Евгенийев-Максимов В. Е. 201, 207
 Евнин Ф. И. 66, 201, 203
 Евсеев Е. 174
 Егоров Б. Ф. 213
 Еланская К. Н. 42
 Елисеев А. 27
 Елисеев Г. З. 207, 232—236
 Елисеева А. А. 25
 Елисеева М. 27
 Ермакова М. Я. 154—156, 166
 Ермилов В. В. 43
 Ершов Л. Ф. 155
- Жаклар А. В. см. Корвин-Круковская (Жаклар) А. В.**
 Ждан-Пушкин И. В. 179
 Жид А. 51, 52
 Житомирская С. В. 190
 Жоховский 184
 Жуковский В. А. 111, 113
- Зазубрин В. Я. 166
 Зайцев В. А. 142
 Замотин И. И. 55
 Засецкая Ю. Д. 25
 Заславский Д. Я. 43
 Засорина Л. Н. 223
 Земский А. М. 30
 Зименко А. В. 19
 Злобин Л. 24
 Знаменский М. С. 174
 Знаменский С. Я. 186, 187
 Золя Э. 263, 264
- Иванов А. И. 181, 228
 Ивандов В. А. 181
- Иванов В. В. 270—274
 Иванов Вяч. И. 168—170, 172
 Иванов И. И. 181
 Иванов К. И. 24, 28, 191
 Иванова (Достоевская) В. М. 237, 291
 Иванова М. А. 291—295
 Иванова Н. К. 195
 Иванова О. А. 295
 Иванова (Англенкова) О. И. 186, 191
 Иванова С. А. 284
 Иванов-Разумник 152, 154
 Ильин Я. 42
 Ионафан, епископ 271, 273
 Исаева М. Д. см. Достоевская (Исаева) М. Д.
 Исаков 88
- Казанова Ж. 100
 Казимирский Я. Д. 186, 189
 Кайдаш С. Н. 190
 Калачов Н. 229
 Калинин Б. Н. 44, 45
 Калинин В. С. 120
 Каломийцева А. К. 18
 Кальдерон 112
 Кант Г. 33
 Капнист П. И. 18
 Капустин М. Я. 188, 189
 Капустин С. Я. 188
 Капустин Ф. Я. 188
 Капустин Я. С. 187, 189
 Капустина А. Я. см. Смирнова (Капустина) А. Я.
 Капустина (Менделеева) Е. И. 187—191
 Капустина О. Я. 189
 Карамзин Н. М. 72, 100
 Карепин П. А. 284
 Карепина Ю. П. см. Померанцева (Карепина) Ю. П.
 Карнович 25
 Карцевский С. 168
 Карчевская С. В. см. Павлова (Карчевская) С. В.
 Карякин Ю. Ф. 39
 Касаткин 280
 Касьянов Н. 267
 Катков М. Н. 38, 142, 148, 154, 163, 205
 Кафка Ф. 52
 Качалов В. И. 41, 42
 Кеведо Ф. де 112
 Кетчер Н. Х. 263
 Кийко Е. И. 38, 39, 97, 98, 107, 120, 256
 Кин Ц. И. 53
 Киреевский И. В. 39
 Кириллин В. А. 45
 Кирпотин В. Я. 39, 46, 49
 Клейн Ф. 121
 Клодт П. К. 101

- Клушанцев Б. М. 293, 295
 Ключников В. П. 28, 149
 Князева Е. Н. 282, 283, 286
 Ковалевская (Корвин-Круковская)
 С. В. 27, 239, 240
 Ковалевский В. О. 27
 Ковалевский Е. П. 204, 205
 Ковригин Н. Н. 194—196, 200
 Коган Г. Ф. 24
 Коган П. С. 276
 Кожин В. В. 39, 53
 Кожуков С. Д. 20
 Козлов П. А. 251
 Козмин Н. К. 111, 266
 Колдуэлл Э. 33
 Комарович В. Л. 44, 45
 Комаровская А. Е. 31
 Копечный А. М. 225
 Кони А. Ф. 6, 25, 28
 Коврад Н. И. 45
 Константин В. Д. 187
 Константин С. Д. 29
 Константинов К. С. 250, 251
 Коптев А. Б. 196
 Коптев С. Б. 192, 194, 196
 Корвин-Круковская (Жаклар) А. В.
 151, 238, 240
 Корвин-Круковская С. В. см. Ко-
 валевская (Корвин-Круковская)
 С. В.
 Коренева Л. М. 42
 Корнилова Е. П. 29
 Коропчевский Д. А. 122
 Костицын А. 110
 Костомаров Н. И. 138—148, 229
 Котельницкий В. М. 35
 Котляревский С. А. 280
 Котомина 225
 Кохаповская Н. см. Соханская Н. С.
 Кошелев В. А. 55
 Кошлаков Д. И. 29
 Кравченко А. В. 41
 Красвский А. А. 232
 Крамская А. И. 6
 Крамской И. Н. 6, 8
 Красовский Ф. И. 24
 Кривцов В. 175, 178, 182—184
 Кронеберг С. 255
 Круковская 225
 Ксенофонт 48
 Кукапов 22
 Куканова 225
 Кукольник Н. В. 201, 202
 Кулешов В. И. 156
 Кумпан К. А. 137, 225
 Кусков П. А. 214
 Кюхельбекер В. К. 111, 113

 Лавров В. М. 3
 Ламанский В. И. 26
 Ланский Л. Р. 137, 142

 Лапшин И. И. 108
 Леббок Д. 122
 Лебедев К. 35, 36
 Лебедев Н. Е. 29
 Левин В. И. 69
 Левченко Е. Г. 27
 Лейфер А. 174, 182
 Ленау Н. 111
 Ленин В. И. 122, 123
 Леонидов Л. М. 41
 Леонов Л. М. 33
 Лермонтов М. Ю. 64—72, 247
 Лернер Н. О. 227
 Лесевич В. В. 118
 Лесков Н. С. 149—151, 210, 239
 Лихачев Д. С. 45
 Лобачевский Н. И. 120, 121, 123
 Ловчинский И. Я. 180
 Лосев А. Ф. 73, 172
 Лужский В. В. 41, 42
 Луначарский А. В. 41, 45, 274, 276
 Лурье А. Н. 201, 203
 Лурье С. Е. 27
 Лыжин Н. 20
 Люба В. А. 288
 Люстих В. И. 29
 Лютер М. 262
 Льюренте Х.-А. 118

 Мазина Л. М. 257
 Майков А. Н. 88, 107, 236, 241, 249
 Маймин Е. А. 115
 Макаров А. И. 295
 Манассеин В. А. 285, 288
 Манн Ю. 149
 Марков П. А. 275
 Маркс К. 258
 Мартыанов П. К. 178, 179, 184, 185
 Масанов И. Ф. 213
 Мей Л. А. 16
 Мейер Д. И. 188—191
 Мельник В. И. 230
 Менделеев Д. И. 187—189
 Менделеева Е. И. см. Капустина
 (Менделеева) Е. И.
 Менделеева М. Д. 190
 Менделеева О. И. см. Басаргина
 (Менделеева) О. И.
 Мердок А. 33
 Мережковский Д. С. 168, 169, 172
 Метьюрин Ч.-Р. 107
 Мещерский В. П. 6, 88, 210, 248
 Миллер О. Ф. 31, 140, 142, 276, 289
 Минина А. И. 20
 Минц З. Г. 169
 Мирецкий А. 189
 Миролюбов И. 271
 Михайловский Б. В. 170
 Михайловский Н. К. 147
 Момбелли Н. А. 24, 29
 Монтень М. 107

- Мопассан Г. де 42
 Москвин И. М. 41, 42
 Мошковский А. 128
 Мукарги С. 33
 Муравьев А. Н. 154
 Муравьев (Фаддей) А. 271—274
 Мясников А. С. 155
- Надеждин И. 273
 Назарьева К. В. 25, 26
 Назиров Р. Г. 81, 91
 Наполеон I 230, 231
 Нейшеллер 18
 Некрасов Н. А. 201—207, 227, 228, 250
 Немирович-Данченко Вас. И. 247—250
 Немшевич К. 216
 Нечаева В. С. 43, 45, 208, 213—216, 240, 274, 290, 292
 Николаев П. А. 233
 Николюкин А. Н. 257
 Нистрем К. 225
 Ницше Ф. 52, 168, 170
 Новикова О. А. 8
- Одовский В. Ф. 4, 5, 17
 Озерский А. Д. 196
 Озмидов Н. Л. 147
 Окампо Б. де 108, 112
 Окампо Ф. де 112
 Овчуков И. К. 26
 Опочинин Е. 64
 Орнатская Т. И. 3, 137, 151, 236
 Орнатский Ф. Н. 237
 Островский А. Н. 49, 205
 Отто А. Ф. 28
- Павлов И. П. 12
 Павлова (Карчевская) С. В. 12, 13
 Палашенков А. Ф. 174, 181
 Палиевский П. В. 46
 Пальм А. И. 210
 Пальмин Л. И. 261
 Папкова Л. 245—247
 Пассек Т. П. 262, 263
 Переверзев В. Ф. 55, 61, 276
 Перлов И. 295
 Перов В. Г. 23
 Песталоцци И.-Г. 87
 Петр I 146, 271, 272
 Петровский М. А. 278
 Пиксанов Н. К. 43, 211
 Пионтек Г. В. 45
 Писарев Д. И. 142
 Писемский А. Ф. 149, 150, 152, 213
 Пишке Н. Э. 192, 194
 Платон 48, 73
 Плещеев А. Н. 23, 24, 27, 205
 По Э. 256—262
 Погодин М. П. 138—148
 Погожева Л. П. 43
- Покровская И. А. 131
 Полевой Н. А. 111, 112
 Полевой П. Н. 26
 Полежаев А. И. 275
 Полетика В. А. 192, 197
 Поливанов Д. М. 23
 Полонская (Устюжская) Е. В. 266
 Полонский В. П. 158
 Полонский Я. П. 7, 27, 205, 214, 265—268, 284, 288
 Померанцева (Карепина) Ю. П. 283
 Попов Я. 199
 Поредкий А. У. 18, 21, 88, 216
 Потанин Г. Н. 188, 229
 Потоцкий Я. 74
 Починковская О. см. Тимофеева В. В.
 Правдин М. 272
 Прескотт В. 118
 Прибыткова В. И. 24
 Прокофьев А. А. 44
 Пропп В. Я. 98, 99
 Прохорова см. Алена Прохорова
 Прыжов И. Г. 229
 Пушкарева В. С. 81
 Пушкин А. С. 43, 46, 51, 66, 67, 69, 72, 78, 79, 106, 107, 111, 112, 116—118, 141—143, 147, 222, 228, 259, 282
 Пушкин С. М. 20, 22
 Пыпин А. Н. 151, 205
- Райс Д. 35
 Рак В. Д. 251
 Распутин В. Г. 33
 Ратынский Н. А. 3, 28, 30
 Раусен 16
 Ревякин А. И. 45
 Рейнус Л. М. 268
 Ремизов А. М. 169
 Рест Б. 188
 Ретунский В. Ф. 191
 Ризенкамф А. Е. 178, 180
 Риман Г.-Ф.-Б. 120, 121, 124, 126
 Робинсон А. М. 138
 Рождественская М. В. 272
 Розанов В. В. 168—171
 Розенблюм Л. М. 92, 105
 Розенкранц К. 39
 Розова 26
 Романова А. А. см. Граве (Романова) А. А. де
 Росси К. 199
 Россини Д. 215
 Ростопчин Ф. В. 227
 Рубинштейн А. Г. 279
 Рудин А. А. 24, 28
 Румянцев И. И. 7, 8, 269, 270
 Рыбников П. Н. 97
 Рылеев К. Ф. 51
- Сабашников М. В. 289
 Сабуров А. А. 30

- Сабурова Е. В. 30
 Савельев А. И. 30
 Савостьянов В. К. 13
 Савостьянова В. А. 13
 Сазанович А. П. 26
 Сазонов Н. Ф. 11
 Сазопова С. И. 11
 Сакулин П. Н. 275—277
 Салтыков-Щедрин М. Е. 221
 Самарин Ю. Ф. 55
 Самойлов В. В. 10, 194, 195
 Самойлов И. В. 194, 195
 Самойлов С. В. 194, 195
 Самойлова В. В. 194
 Самойлова Н. В. 194
 Сафиуллин Я. Г. 257
 Сахар Я. Ф. 14
 Сахаров В. И. 168
 Сведенцов Н. И. 219
 Светецкий 19
 Селезнев Ю. И. 48
 Семашко Н. А. 280
 Семенов Е. И. 81
 Семенов-Тянь-Шанский П. П. 192, 195—200
 Сервантес де Сааведра М. 42, 108, 112
 Сергеев-Ценский С. Н. 43
 Сизов А. А. 45
 Скотт В. 147, 231
 Слонимский С. М. 33
 Смирнов В. Я. 3
 Смирнов И. К. 188
 Смирнов Я. И. 188
 Смирнова (Капустина) А. Я. 188, 189
 Сниткина А. Г. см. Достоевская (Сниткина) А. Г.
 Соина О. С. 129
 Сократ 47, 48
 Соловьев Вл. С. 26, 168, 169
 Соловьев Вс. С. 6, 11, 27, 241—243, 247
 Соловьев Н. И. 20
 Соркина Д. Л. 257
 Сорокин Ю. А. 219
 Соханская (Кохановская Н.) Н. С. 17
 Спасович В. Д. 255
 Спенсер Г. 122
 Стендаль 42, 231
 Страхов Н. Н. 28, 48, 49, 123, 124, 142, 152, 284
 Стюар 17
 Сулоцкий А. И. 179, 180, 183
 Суслова А. П. 17, 18, 265—268
 Сучков Б. Л. 48
 Сю Э. 111, 113
 Тарасова А. К. 42
 Тереза де Хесус 113
 Тиблен Н. Л. 16
 Тизенгаузен Г. Ф. 207
 Тимофеев А. 229
 Тимофеев Л. И. 45
 Тимофеева В. В. (Починковская О.) 3, 4
 Тихомиров О. С. 31
 Толстая А. А. 15, 31
 Толстая (Бахметьева) С. А. 9, 10, 30
 Толстой А. К. 9, 10
 Толстой Л. Н. 31, 42, 46, 52, 53, 82, 86, 89, 93, 124, 131, 132, 162, 169, 264
 Томашевский Б. В. 44, 210, 213—215, 219
 Трифонов Ю. В. 33
 Троицкая М. Н. 180
 Троицкий И. И. 179—181
 Троицкий Н. И. 20
 Труайя А. 33
 Туманов Г. 271, 273
 Туниманов В. А. 38, 65, 107, 201, 213, 218, 237, 258
 Тур Е. 88
 Турбин И. М. 23
 Тургенев И. С. 2, 92—128, 148, 152, 196, 201, 205, 233, 248, 258, 265, 266, 275
 Тушлевич Е. Н. см. Голеновская (Тушлевич) Е. Н.
 Тынянов Ю. Н. 226
 Тюнькин К. И. 149
 Тютчев Ф. И. 241, 251
 Упамуно М. де 108
 Успенский Н. В. 215, 220
 Устюжская Е. В. см. Полонская (Устюжская) Е. В.
 Фаддей см. Муравьев (Фаддей) А.
 Федин К. А. 43
 Федоров-Чмыхов Е. С. 15
 Федорченко 19
 Федорченко Д. И. см. Достоевская (Федорченко) Д. И.
 Федотов П. А. 290
 Фермор П. Ф. 17
 Филиппов 21
 Филиппов О. С. 21
 Филиппов Т. И. 27
 Философов Д. В. 169, 171
 Философова А. П. 25
 Фишер К. 39
 Флобер Г. 42
 Фогт К. 122
 Фонвизин М. А. 179, 180
 Фонвизина Н. Д. 127, 183, 186, 190, 191
 Фонес И. 209
 Фонакова Н. Н. 45
 Францева М. Д. 190
 Фребель Ф. 87
 Фридлендер Г. М. 32, 45, 48, 52, 65,

66, 83, 106, 107, 120, 148, 214, 219,
220, 260, 271, 272
Фриче В. М. 276, 278

Х. Л. 235
Халевитская 26
Харузина В. Н. 229
Хватов А. И. 45
Хвостов Д. И. 252—256
Хельгакер Т.-Ц. 209
Хетсо Г. 207
Хитрово С. П. 10
Хлебников П. А. 122
Хохрякова Л. Х. 24, 26
Храпченко М. Б. 33, 48, 230
Хюбшер А. 172

Цейдлер П. М. 88
Цертелева Е. А. 15

Часв Н. А. 20
Черевин Н. Т. 184
Черенин М. М. 18
Черешнин Л. В. 137
Чернов А. В. 55
Чернова Н. 12
Черноусов 25
Чернышевский Н. Г. 118, 123, 124,
149, 150, 151, 205, 275
Чехов А. П. 43
Чирков Н. М. 270
Чосер Д. 73
Чуковский К. И. 201, 203
Чулков Г. И. 277, 278
Чумаков Ю. Н. 116

Шампесо А. 111
Шапиро К. А. 12—15
Шаша Л. 53
Шекспир В. 163, 212
Шелгунов Н. В. 257
Шелли П.-Б. 111
Шестов Л. 168, 169
Шиллер Ф. 107
Шкловский В. Б. 61
Слохов М. А. 216
Шостакович Д. Д. 282
Штакеншнейдер Б. В. 14
Штакеншнейдер В. А. 14
Штакеншнейдер Е. А. 11, 25, 30, 266
Штраус Д. 107
Шульц О. фон 210, 211, 213

Щелкова 267
Щукин А. 281
Щукина Е. А. см. Достоевская (Щу-
кина) Е. А.

Эвклид 120—128

Эджертон В. 108
Эйнштейн А. 128
Эль Греко Д. 107
Эльзон М. Д. 225
Энгельгардт Анна Н. 10, 11, 30
Энгельгардт А. Н. 11
Энгельс Ф. 258

Юзовский С. 154, 164
Юферов А. Н. 31

Языков Н. М. 39
Якобсон Р. О. 260
Яковлев 30
Якушкин Е. И. 191
Якушкин И. Д. 186, 187, 191
Яновский С. Д. 5, 13

Belzer G. 39

Carr E.-H. 39
Coley S. 112
Crome A.-L. 108

Delaney-Grossman J. 257

Jackson R.-L. 39
Jakobson R. см. Якобсон Р. О.

Helbig F. 111
Henckel W. см. Генкель В.

Glasener H. 111
Killen A.-M. 110

Magnin 111
Marmall Th. 108
Martinenche E. 112

Neuhäuser R. 39

Paris G. 110, 113

Rice J. L. см. Райс Дж.
Rice M. P. 39
Rosenkranz K. см. Розенкранц К.

Schobel Ch. 113
Schoultz O. von см. Шульц О. фон

Teodorescu L. 108

Vašak P. см. Вапак П.
Vogüé E. M. см. Вогюэ Э.-М.

Williams S.-T. 112

Zirus W. 110

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКСТЫ ДОСТОЕВСКОГО

Рукою Достоевского. Публикации Т. И. Орнатской	3
1. Дарственные надписи на книгах	4
2. Дарственные надписи на фотографиях	11
3. Записи адресов (из записных книжек и тетрадей)	15

СТАТЬИ

Г. М. Фридлендер. Достоевский: об итогах и перспективах изучения (вместо предисловия)	32
П. В. Палиевский (<i>Москва</i>). Место Достоевского в литературе XIX века	46
В. А. Кошелев, А. В. Чернов (<i>Череповец</i>). Человек в художественном мире А. Ф. Вельтмана и Ф. М. Достоевского	55
М. Г. Гиголов (<i>Тбилиси</i>). Лермонтовские мотивы в творчестве Достоевского	64
Э. Ф. Володин (<i>Москва</i>). Пети-жё в «Идиоте»	73
А. В. Архипова. «Сюжеты для романов» (неосуществленный замысел Достоевского)	81
Н. Ф. Буданова. «Спор» Достоевского с тургеневским Потугиным о прекрасном	92
В. Е. Багно. К источникам поэмы «Великий инквизитор»	107
Е. И. Кийко. Восприятие Достоевским неевклидовой геометрии	120
О. С. Соина (<i>Новосибирск</i>). Исповедь как наказание в романе «Братья Карамазовы»	129
В. А. Викторovich (<i>Коломна</i>). О двух историко-публицистических замыслах Достоевского	137
А. Н. Муравьев (<i>Казань</i>). Ставрогин Достоевского и Каразин М. Горького	154
В. И. Сахаров (<i>Москва</i>). Достоевский, символисты и Александр Блок	168

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. С. Вайнерман (<i>Омск</i>). Омское окружение Достоевского	174
В. Ф. Гришаев (<i>Барнаул</i>). К пребыванию Достоевского на Алтае	192
М. Я. Блинчевская (<i>Москва</i>). Заметки к теме «Некрасов и Достоевский» (40—60-е годы)	204

Т. Хетсо (<i>Осло, Норвегия</i>). Автор статьи — Ф. М. Достоевский? . . .	207
М. Д. Эльзон. Дополнения к комментарию Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского	225
В. П. Владимирцев (<i>Иркутск</i>). Сибирская тетрадь (Дополнение к комментарию)	228
В. И. Мельник (<i>Владивосток</i>). К теме: Раскольников и Наполеон («Преступление и наказание»)	230
П. В. Бекедин. Из первых откликов на роман «Преступление и наказание». (По страницам газеты «Голос»)	232
Т. И. Орнатская. Об одной главе февральского выпуска «Дневника писателя» за 1881 г.	236
Т. И. Орнатская. Достоевский и рассказы А. В. Корвин-Круковской (Жаклар)	238
1. Отклик Достоевского на рассказ А. В. Корвин-Круковской «Сон»	238
2. Герой повести А. В. Корвин-Круковской «Михаил» и Алеша Карамазов	240
И. А. Битюгова. Достоевский — редактор стихотворений в «Гражданине»	241
В. Д. Рак. К вопросу об авторстве четверостишия в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г.	251
Е. И. Кийко. К творческой истории «Братьев Карамазовых»	256
1. Реализм фантастического в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» и Эдгар По	256
2. Лексикологическая заметка: «пачкать» или «пичкать»?	262
В. В. Дудкин (<i>Петрозаводск</i>). Э. Золя о романе «Преступление и наказание»	263
Два письма А. П. Сусловой к Я. П. Полонскому (Публикация Г. Л. Боград)	265
Л. М. Рейнус. О реалиях дома Карамазова	268
П о л е м и к а	
1. Письмо в редакцию (<i>В. В. Иванов</i>)	270
2. Ответ оппоненту (<i>В. Д. Рак</i>)	272
В. С. Нечаева. Из воспоминаний об истории основания первого музея Ф. М. Достоевского	274
Указатель имен	298